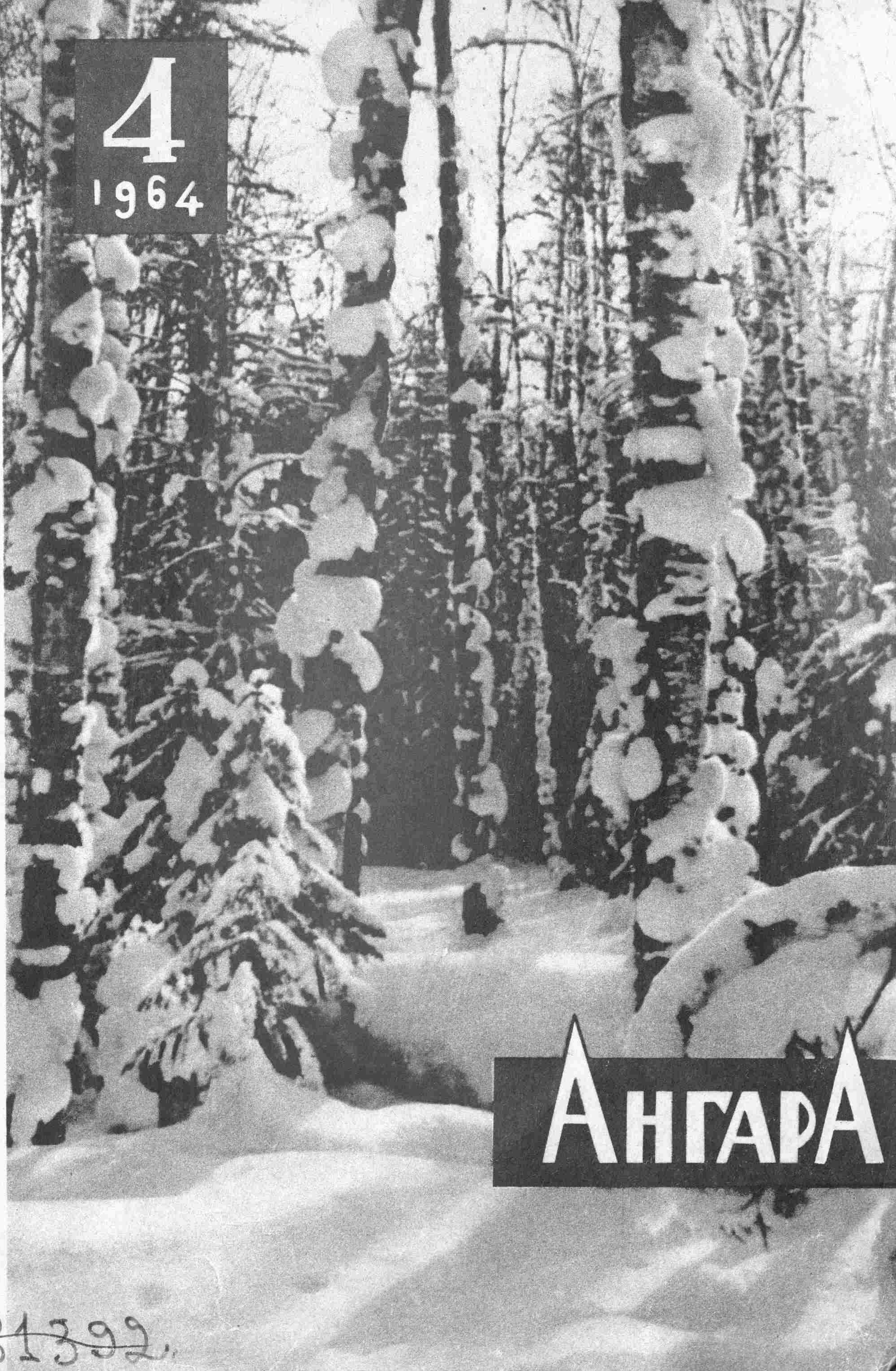


П. РЕУТСКИЙ
В. СОКОЛОВ
С. ГРЕБЕЛЬСКИЙ
И. ЛУГОВСКОЙ
В. МАРИНА

P2

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР

№ 4 (65)
ОКТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
1964

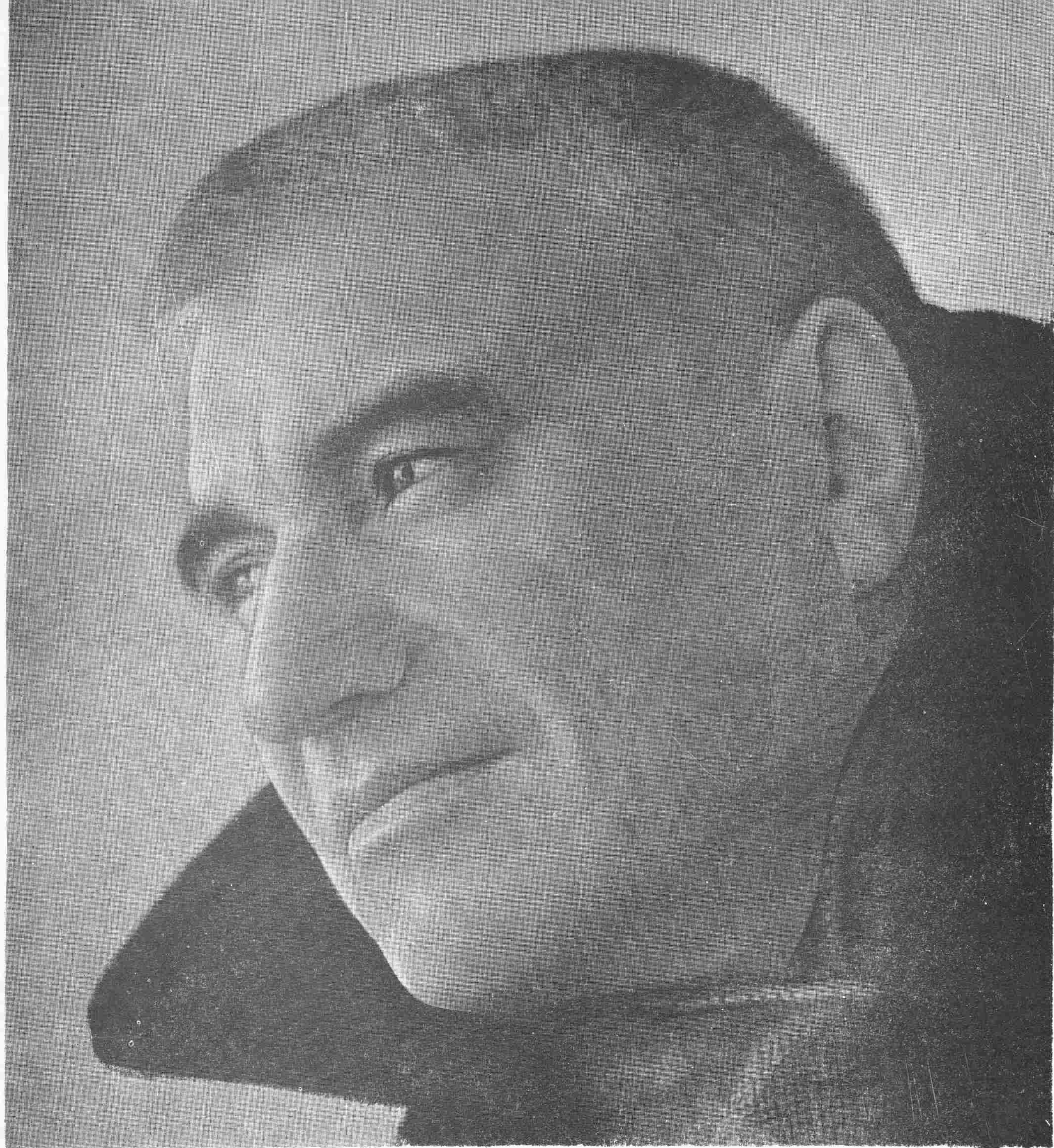
СОДЕРЖАНИЕ

В номере репродукции картин
А. И. Гутерзона
и фотографии *Э. Брюханенко*

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР

Телефон 56—76

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1964



Дорогой Иннокентий Степанович!
В день шестидесятилетия желаем Вам
здоровья и бодрости. Пусть хвойный ветер
поэзии всегда живет в Ваших стихах.
Редакция „Ангары“

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Иннокентий Луговской

Хвойный ветер

Зовет охотничий костер...
И вот,
Мускулистый, пробойный,
Мне в грудь ударил, как боксер,
Высокогорный ветер хвойный!

Но я на ветер не сержусь,
Хотя захлебываюсь ветром.
Волчком неистово кружусь
И прячусь под альпийским кедром.

И вновь звериною тропой
Иду и думаю:
Ведь это ж
Завет любой живой души —
Пока не превратился в ветошь,
Высоким воздухом дыши!

А я нет-нет да и срываюсь
С крутого берега ручья
И хворостью маленько маюсь,
И в руки не беру ружья.
И по зверью не бью дуплетом,
Как бил по молодости лет...
И все ж иду знакомым следом
И не теряю тонкий след.

Иду, а ветер штормовой
Сшибает с ног... Но встану, встану...
Высокогорный хвойный мой,
Дышать тобой я не устану!

1960

Расстрел Колчака

У холодной, у зеленой Ангары
Голоса неумирающей поры...
Хищных сабель вызывающий оскал,
Недоступный и надменный адмирал.

Он стоял, блестящим штабом окружен.
Снег перчаток. Изморозь погон.
Он перчаткой чуть дотрагивался лба,
И качались бронепоезды-гроба.
И горели села, станции дотла,
И свистели смертным боем шомпола.

Как шаман,
Хребет байкальский потемнел.
Шли отцы
Бесстрашным маршем на расстрел.
Шли и пели.
Выше смерти в смертный час
Эта песня боевая поднялась.

* *
*

У холодной, у зеленой Ангары
Ходят ветры героической поры.
Вижу: красное сияние знамен
Потушило блеск перчаток и погон.
Слышу: снежной, полуночною тропой
Грозным шагом приближается конвой.
Там лицом к лицу с рабочими стоял
Побледневший и поблекший адмирал.
Здравствуй, залп!
И нашей ненависти высь,
Миллионам утверждающая жизнь!

1937

В дни листопада

От тебя ли, друг мой, от тебя ли
Мне услышать ныне довелось,
Мол, с листвой, что ветры оборвали,
Что-то и в душе оборвалось?

Друг мой юный!
Это верно, верно,
Если ветры свищут, как хлысты,
Мы и впрямь немножко суеверно
Топчем облетевшие листы.

В листопаде есть свои печали.
Но с тобой поспорить я берусь:
Двадцать листопадов за плечами —
Это разве груз?
И это разве грусть?

1956

„Легкая" работа

Тигрятник знаменитый принял нас,
Корреспондентов центра областного.
— Фаддей Ефимович, два слова!
Охота редкая у вас!

— Два слова! Хм... О чем, случаем?
Смолил из трубки дед, а сам молчал.
И угощал густым, как деготь, чаем,
Рассказом же пока не угощал.

— Ефимыч! — распаляясь понемногу,
Взмолились мы тигрятнику, как богу:
— Ну хоть словцо!
— Словцо никак скажу,
А для начала лучше покажу...

Тигрятник встал, могуч и волосат,
И снял рубашку голубей лазури.
Мы ахнули: он сам был полосат,
Как полосат гроза лесов Уссури.
Рубцы цветами страшными цвели,
Цветами из сказанья-небылицы,
И огненные полосы легли
Наискосок — от плеч до поясницы.
— Тридцатый! — усмехнулся дед в усы,—
Тащил в зубах, да выручили псы.
Теперь — шабаш! Приметы я блюду:
От тридцать первого, ребятки, не уйду!
— Фаддей Ефимыч, бросил, что ль, охоту?
— Нет, не совсем,— прищурил глаз
Фаддей,—
Перехожу на легкую работу —
Бью, ребятишки, медведей...

1958

А вдруг проснется?

Плывем, плывем...
Гадать лишь можно,
Куда нас лодка унесла.
Байкал уснул. Неосторожно
Его тревожат два весла.

А вдруг проснется ночью лунной,
Тряхнет удалой стариной —
Своей кочующей, чугунной,
Всесокрушающей волной.
И рявкнет зыбкая громада:
Ходили б вы на берегу.
Ведь я такой... И если надо,
Без ветра вздыбиться могу.

И спросит грозно:
Как посмели
Гасить веслом луну-свечу?
Друг друга вы любить умели...
А вот возьму и разлучу!

И все ж на веслах наши руки,
И не зовут нас берега,
Пока уверенность друг в друге.
Как это море, глубока...

1959

Виктор Соколов

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Роман[1]

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Что-то рушилось в налаженной жизни Тамары Николаевны. Что-то рушилось. Привычное, твердое, надежное было с ней рядом. Звало к благоразумию, охлаждало кровь, заставляло сердце биться ровно. Она видела белесые облака. Видела, как они, разгоняемые ветром, таяли в голубом небе. И ей казалось — все то, что приводит ее сейчас в дрожь и трепет, растает в ее жизни так же, как эти облака. Едва она успевала подумать об этом, как откуда-то подступал другой зов. И она чувствовала, как губы, щеки, лоб начинают гореть. От его поцелуев. В эти минуты она не видела ни неба, ни облаков, ни земли... Все исчезало в каком-то хаосе мыслей, ощущений, воспоминаний... Хотелось плакать. Но не было слез. Хотелось смеяться. Но не было в душе радости.

— Любовь?.. — она тряхнула головой. — Нет-нет. Я не люблю его... — и повторила ожесточенно несколько раз подряд: — Я ненавижу его... Ненавижу... — И вдруг, как какое-то наваждение, почувствовала рядом его дыхание, услышала его голос, ощутила его большое и сильное тело. Испуганно оглянулась. Никого. Муж на работе. Дочь в школе. Да... У нее есть муж и дочь... и Арон... Откуда и зачем пришел Любецкий? Зачем... Зачем? Чем больше он открывал ей свое сердце, чем больше говорил, тем сильнее тянулась она к нему. Его имя звучало для нее, как музыка. Встречи с ним были трепетны.

Но трезвел помутившийся разум. И действительность требовала, чтобы о ней думали.

Любецкий умоляет, просит, требует от Тамары Николаевны невозможного. Он хочет, чтобы она оставила Георгия Степановича и, взяв дочь, уехала с ним.

И, едва представив, что это может случиться, Тамара Николаевна заметалась по комнате, как раненая птица.

— Нет-нет. Я не могу так сделать.— Она вытерла ладонью мокрые от слез щеки. — Не могу... Надо разобраться во всем... Надо... Надо... Я немедленно должна пойти к Арону Павловичу и объяснить ему все. Пусть он уезжает. У меня семья... Муж... Ребенок... Пойду скажу... Пусть уезжает...

— Что-нибудь случилось? — спросил он, когда Тамара Николаевна, окутанная облаком морозного воздуха, вбежала в комнату.

— Я больше не могу так, Арон. Тебе надо уехать... — она умоляюще взглянула ему в глаза. — Или я сойду с ума...

Любецкий ласково привлек ее к себе.

— Один я никуда не поеду. Едем, Тамара, сегодня, завтра. Но ради бога, едем! Я не могу без тебя жить. Не могу не видеть тебя.

— Но куда же мы, Арон, поедем? Куда?

— Хоть куда... Страна большая. Едем... Только едем!

— Ты обо всем подумал? У меня семья...

Арон Павлович глухо застонал.

---

[1] Окончание. Начало — в № 3.

— Я давно тебя искал. Всю жизнь... То, что происходит со мной сейчас, это выше меня... Это сильнее меня...

И в словах его была правда. Никогда, нигде, ни одну женщину не любил так Любецкий.

Он чувствовал, что должен сегодня, сейчас уговорить Тамару уехать с ним.

— Арон, я все понимаю.— Тамара Николаевна ласково посмотрела на Любецкого.— Но я не могу порвать с мужем... Мне страшно...

— Я сам пойду к нему и все скажу.

Тамара Николаевна покачала головой.

— Завтра мы уедем, — сказал решительно Любецкий, — на несколько дней остановимся в Покровске, а потом улетим в Москву...

— Не знаю... Не знаю, Арон, — упавшим голосом сказала она.

Домой Тамара Николаевна вернулась поздно вечером. Разбитая, почти больная, она устало поднялась на крыльцо и, не заботясь о том, что скажет Георгию Степановичу, открыла дверь. В доме тихо. Навстречу хозяйке выбежал черный котенок. Ласкаясь и мурлыча, он потерся о ее ноги. По висящей на вешалке дохе, небрежно брошенным в угол унтам Тамара Николаевна поняла: муж дома.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда Марина проснулась, постель рядом была пуста.

— Уже ушел, — лениво зевнула женщина. — Ну и хорошо...

Спать не хотелось. Не хотелось и вставать. Взглянув на измятую подушку, она заметила на ней несколько длинных седых волос и брезгливо сморщилась.

— Старый козел, — раздраженно прошептала она. Приподняв подушку за угол, сдула волосы на пол. Обхватив колени руками, долго сидела задумавшись. А потом, вздохнув, уткнулась в подушку, свернулась калачиком. Хорошо... Ах, как хорошо лежать вот так, одной... Не слышно стонов... Нет, все равно слышно... И сейчас, когда мужа нет в комнате, все равно, как далекое эхо, доносится его нудный, дребезжащий голос... И все-таки уже не так противно, как в первые дни.

— Наверное, привыкаю... — усмехнулась Марина. И вспомнила, как лихо она подкатила к этому домику впервые.

Через сутки после той памятной пьяной ночи, когда Джось так нахально сосватал ее за Рогулина, она собрала свои немудреные пожитки, взяла такси и подъехала к холостяцкой квартире Ануфрия Иннокентьевича. «Возьми, милый, вещи в машине. Я приехала к тебе жить», — заявила она Рогулину, очаровательно улыбаясь. Однако на душе скребли кошки. Она опасалась, что Рогулин посмеется над ее выходкой и отправит обратно. Но все тревоги оказались напрасными.

Ануфрий Иннокентьевич недоуменно похлопал глазами и как-то испуганно пробормотал:

«Ко мне жить?»

«Да, милый... — кокетливо улыбнулась она. — Тебе это не нравится?» — и рассмеялась в нос тем загадочным смехом, который, как она заметила, всегда нравился мужчинам, волновал их.

«Нет... Почему же... Очень хорошо, что ты приехала...» — засуетился Рогулин. Он принес из машины вещи. Неумело и торопливо стал прибираться в комнате.

«Это мы сделаем вместе...» — успокоила Марина. Не успел Ануфрий Иннокентьевич от ее нашествия прийти в себя, а новоиспеченная жена уже командовала:

«Стол сюда, милый... А тумбочку, дорогой, туда... Сбегай, родной, за водой... Вытряси, котик, дорожки...»

Она предприняла все, чтобы с первого же часа пребывания в квартире Ануфрия Иннокентьевича взять инициативу в свои руки. И, вступив в дом, она уже не сомневалась в успехе. На ее стороне были молодость и красота. У нее была цель — прибрать муженька к рукам.

— Что ж... жить можно, — усмехнулась она, подводя итог своей супружеской жизни. — Можно... — Хоть и не особенно приятно давить клопов с этим человеком. Ну, а что же делать?

Глядя на эту молодую, красивую женщину, трудно было поверить, что она когда-то сидела в тюрьме, жила распущенно и беспорядочно. Порой она и сама не верила в свое прошлое, в свое бессмысленное настоящее. Все казалось безобразным, кошмарным сном. Но когда Марина встречалась с Джосем или Ксенией, прошлое уже не представлялось ей далеким, канувшим в неизвестность. Оно ходило рядом с ней, напоминало ей о пережитом, отравляло жизнь и загораживало завтрашний день, который она иногда пыталась разглядеть...

Вот и сегодня, едва Марина отошла от зеркала, как сердце сжалось в тяжелой тоске. Хотелось снова уткнуться лицом в подушку и ни о чем не думать... Вспомнилась вчерашняя поездка в Покровск. Случайная

встреча в промтоварном магазине с Ксенией. Вроде бы и ничего не произошло. Поговорили о том, о сем. Но, прощаясь, Ксения как бы между прочим обронила:

«Ты уж, Марина, нас-то с Боренькой не забывай... Он как-то о тебе спрашивал... Надо, говорит, Маришку попроведовать, а то совсем зазналась, как за главного замуж выскочила...» Ксения глухо, не раскрывая рта, засмеялась, прищурила кошачьи глаза. И от ее слов, и от ее двусмысленного наглого смеха Марине стало не по себе...

Сейчас, стоя около окна, Марина вспомнила все подробности этой встречи, связь с компанией Джося и задумалась о своей жизни.

Мать ее была учительницей, отец — инженером. Жили дружно, в достатке, любя и уважая друг друга. Хорошо запомнились Марине дни, когда отец брал удочки, а мать наполняла провизией корзину и они садились в лодку, покачивающуюся на воде. По широкой реке плыли вниз по течению. Отец, засучив рукава, размашисто греб. Весело постукивали-поскрипывали весла. Мать, сидя на корме, правила. А Маринка, опустив руку за борт, смотрела в синюю, бегущую вдоль бортов глубину.

Они приставали к зеленому острову, заросшему тальником, купались, валялись на горячем песке, ловили малявок. Только поздно вечером возвращались домой.

Но однажды осенней, дождливой ночью в квартиру громко постучали. Вошли двое. Они показали отцу какую-то бумагу. Мать заплакала, отец побледнел и стал что-то громко говорить. Двое не слушали. Они перерыли всю квартиру, что-то разыскивали. Потом приказали отцу и матери собираться. Мать схватила Марину, но на нее прикрикнули и приказали идти вместе с отцом. Маринка, заливаясь слезами, выбежала на лестничную площадку. Но один из ночных пришельцев втолкнул ее обратно в комнату и сердито спросил:

«Кто у вас близкие?»

«Тетя Дуся, — сквозь слезы проговорила Маринка. — Мамина подруга...»

«У ней дома есть телефон?»

«Ага...»

Ночной гость подвел ее к телефону. Показал на аппарат.

«Позвони и скажи, что твоих родителей увели, а ты осталась одна... Скажи, что если она возьмет тебя к себе, то ей за это ничего не будет».

Маринка сняла трубку и дрожащим голосом назвала телефонистке номер. Услышав знакомый голос тети Дуси, захлебываясь слезами, крикнула:

«Тетя Дуся... Маму... и папу... Забрали... Один дядя сказал... Если вы меня возьмете... Да... Да... Если возьмете, то вам ничего не будет...»

Вспоминая прошлое, Марина подумала о том, как без лишних расспросов поняла ее тогда тетя Дуся...

После этой осенней ночи Марина больше никогда не видела ни матери, ни отца. Но они сохранились в ее памяти... В тяжелые дни невзгод и страданий их образы всегда приходили к ней и облегчали ей жизнь...

Семь лет прожила у тети Дуси Марина. Они занимали две хорошо обставленные комнаты. Подруга матери не имела детей, берегла Маринку и ухаживала за ней, как за родной дочерью. А потом в дом пришел третий человек. Муж тети Дуси был красивый, моложавый. Он хорошо относился к жене и к Маринке. Так было около года. За это время Маринка из девочки превратилась в красивую, стройную девушку. Она часто ловила на себе какие-то непонятные ей, долгие и пристальные взгляды мужа тети Дуси. Он делал ей дорогие подарки. Купил маленькие золотые часики, красивые туфли. Узнав, что она мечтает о серьгах — купил и их: прелестные, с голубыми сверкающими камешками. Отдавая Марине сережки, как бы между прочим сказал:

«Тете Дусе не говори».

«Почему?» — удивилась она.

Он ласково подтянул ее к себе за руку, посмотрел в глаза:

«Такие подарки дарят только таким красивым девушкам, как ты...»

И она, желая сохранить у себя сережки, не сказала о подарке никому. Тайком от тети Дуси она два раза успела пощеголять в городском парке. А потом... Потом случилось страшное...

Как-то тетя Дуся уехала в командировку. Марина, как обычно, спала в своей комнате. Глубокой ночью он пришел к ней. Она испуганно вскрикнула, забилась с головой под одеяло. Он сорвал его, дико, жадно стал целовать ее руки, плечи... А когда Марина оттолкнула его, большой и сильный, он, как зверь, бросился к ней и она уже ничего не могла сделать...

И потом он приходил к ней. Как-то тетя Дуся — она часто работала в ночную смену — вернулась с фабрики раньше обычного. Мужа не было. Встревоженная женщина прошла в комнату Марины. Включила свет. И обомлела...

В одном платьишке убежала тогда Марина от единственного близкого человека — и

больше никогда к ней не возвращалась. Покатилась жизнь Марины под откос. Немало попадалось на ее пути хороших людей, но, чувствуя себя ниже их, хуже, и, страдая от этого, Марина оставалась одинокой. Она бросила школу. Уехав в соседний город, устроилась работать судомойкой в столовую. Там подружилась с официанткой — бойкой, развязной бабенкой. Та оказалась связанной с шайкой воров. Вскоре вся компания угодила в тюрьму...

И вот тернистые пути-дороги привели Марину сюда, на север.

На жизнь с Рогулиным Марина смотрела, как на капризную шутку своей незадачливой судьбы. Она чувствовала себя гостьей не только вот здесь, в небольшой, незатейливо обставленной квартире, но и во всей этой тревожной и беспокойной жизни...

«Не все ли равно, как жить? Конец один... — часто думала она с глубоким равнодушием.— Конец один...»

Она понимала, что ее связь с Рогулиным непрочна, случайна и оскорбительна. Но ей все равно, что скажут, что подумают люди.

Марина тяжело вздохнула. Отошла от окна.

— Ну и пусть будет, как будет, — прошептала она и легла на диван. В трубе тоскливо подвывал ветер. Дико, неуютно, отвратительно казалось ей все вокруг. «Хоть бы действительно Ксюшка со своим хахалем заглянула...» — подумала она.

В дверь кто-то постучал. Торопливо поднялась с дивана, взглянув мельком в зеркало, поправила прическу и халат.

— Да... Войдите...

На кухню, впустив белесое облако, вошла пожилая женщина. Она деловито смела с валенок снег, неторопливо развязала под подбородком шерстяной платок.

— Ну, здравствуй, соседушка, — певуче сказала она, улыбнувшись. — Не ожидала небось гостью-то?

— Да, гости меня не балуют,—призналась Марина. — Спасибо, что зашли.

Она пригласила женщину пройти в комнату, хотя и не знала, кто это такая и зачем к ней пожаловала. Но гадать долго не пришлось.

— Ты не удивляйся, что я так запросто к тебе заскочила, — посмотрела на нее добродушно гостья. — Соседка я твоя... А зовут меня Анной Васильевной Блиновой. Вижу, живешь ты рядом, а никуда не вылазишь. Ну, думаю, дай сама к ней загляну. Может, что и надо молодухе помочь.

— Вот и хорошо, что зашли! — улыбнулась Марина. — Чай будем пить.

Она, не желая прослыть плохой хозяйкой, поставила на стол брусничное варенье, печенье, конфеты. Вскипятила чай. Усаживаясь за стол, усмехнулась про себя:

«Ну вот... И у меня, как у порядочной, все...»

К удовольствию Марины, соседка не приставала к ней с расспросами: откуда она приехала, где жила, чем занималась. Анна Васильевна, прихлебывая чай из блюдца, певуче, не торопясь говорила:

— Далеко, ой далеко, девонька, мы забрались... Как подумаю, так даже не верю, что в самую глухомань заехала... А ведь ничего... И здесь люди живут... И славные люди-то... Мой-то, Блинов его фамилия... Так не нахвалится... Народ, говорит, работящий, смышленый. С таким не только Тылтыкан, но и Витим перегородить можно... Да что Витим... — она наклонилась через стол к Марине и прошептала, словно поведав какую-то тайну: — Говорят, потом на Лену поедем. Там гидростанцию будут строить...

Марина усмехнулась, молча пожала плечами. Ну и что, мол... А мне какое дело...

Увидев, что собеседница восприняла новость совершенно равнодушно, Анна Васильевна поджала губы. Помолчав, сказала строго:

— А ты, девонька, не ухмыляйся... Нехорошо так... Спряталась вот за дорогими-то шторами... Вроде бы тебе и дела ни до чего нет... У нас здесь барынь да чистоплюек не любят... Сюда приехал народ работящий...

— А я ничьей любви не ищу, —повела бровью Марина. — А насчет работящих людей... Хм... Не слишком ли вы их расхваливаете... Видала сама: драки, пьянство... А на стройке что творится? План не выполняется. Рабочие просиживают без дела... Квартир не хватает...

— Сам, наверно, говорил? — наклонилась к ней Анна Васильевна.

— Да... Ануфрий Иннокентьевич рассказывал... — кивнула Марина.

— Э-э-э, девонька... Ты, однако, и сквозь шторы видишь, и через трубу слышишь... А ты, голубушка, на жизнь-то не только сквозь шторы смотри... Да и с чужих-то слов о ней тоже, поди, вредно судить-рядить... Ты, девонька, в корень заглядывай... В корень... Вот ведь ты взаправду говоришь — много непорядков у нас... Да отчего же они?

— Не знаю... — Марина с любопытством посмотрела на гостью.

— То-то, милая, — вытирая рот уголком платка, проговорила Анна Васильевна. — Часто много людей видят наши непорядки, да мало находится охотников устранять их... А стройка молодая... Здесь сейчас на все насмотришься... Но обожди... — она причмокнула губами, — обожди... Все перевернем по-своему... И план будем выполнять, и квартиры будут. — И неожиданно наставительно сказала: — Ты, девонька, своего Ануфрия-то Иннокентьевича не шибко слушай... Его самого надо в крепкие руки брать...

— Он же муж мне, — улыбнулась Марина. — Как же я его не буду слушать?

— Э-э-э...За ними, мужиками-то, тоже глаз да глаз нужен, — махнула рукой Анна Васильевна. — А то другой, так и смотри, чтобы с катушек не свалился... То за чужой юбкой потянется... То к бутылке, точно малый младенец, присосется — не оторвешь. То ему лень ноги подрубит — целыми днями валяется. Как шелудивый поросенок, щетиной обрастет... Твоего-то расшевелить надо... А то он какой-то квелый, точно горчицы объелся... — Она рассмеялась.

И Марина тоже рассмеялась. Ей почему-то стало весело от прямых и бесцеремонных суждений этой женщины.

Анна Васильевна, неожиданно прислушавшись, повернулась к двери.

— Кажись, кто-то царапается?

И действительно, дверь отворилась. На кухню боком ввалилась девушка в ватных брюках, телогрейке и сером шерстяном полушалке. Она отряхнулась от снега, торопливо развязала полушалок.

— Ох-ти мнешеньки, — всплеснула руками Анна Васильевна. — Да это, никак, Галинка...

— Я, тетя Аня... — отогревая ладонями замерзшие щеки, улыбнулась девушка. — Вас ищу... Вижу, следы сюда ведут — вот и пришла. — Она внимательно посмотрела на Марину. Марина на нее. Галина чуть улыбнулась, сняла с головы платок. На старенькую телогрейку упали, рассыпались густые золотистые волосы. Девушка каким-то едва заметным, но привычным и красивым движением головы поправила их.

— Что-нибудь случилось, Галя? — беспокойно поднялась со стула Анна Васильевна.

Галина подвинулась к ней.

— Случилось, тетя Аня. Ой, случилось... Весь котлован снегом завалило...

«Какая красивая... — подумала Марина, глядя на новую гостью. — Белокурые, не крашеные, свои волосы... Светло-голубые глаза... Чем же, интересно, она занимается на стройке? И неужели довольна жизнью?..»

Анна Васильевна облегченно вздохнула.

— Ну, какая же это беда? Я уж испугалась. Подумала, не захлестнуло ли где кого...

— Как не беда? — сверкнула глазами Галина. — А работа стоит. Бетон в блоки не идет.

— Ох... — махнула рукой Анна Васильевна. — Не знаете вы настоящих-то бед... Помню, девчонкой я еще была... В шахте отец работал... Так сразу однажды семьдесят человек захлестнуло... Вот это беда... Хорошо, что вы о таких бедах не знаете-не ведаете... Ну, а я-то тебе, милая, зачем понадобилась?—спросила она.

— Понадобились... Очень понадобились,— отозвалась Галина. — В комитете комсомола сказали, чтобы мы с девчатами обежали поселок и позвали всех, кто есть. Помощь нам нужна... Котлован, как пурга утихнет, от снега надо расчищать...

— Ну вот и без меня, старухи, стройке, оказывается, не обойтись, — улыбнулась Анна Васильевна. Она добродушно взглянула на Марину, оглядела ее крепкую фигуру и вдруг спросила: — Ну, а ты, девонька, неужто сидеть дома останешься? Может быть, пойдешь с нами? А?

Марина смутилась от такого неожиданного поворота дела. Поддавшись первому чувству, она хотела нагрубить этой бесцеремонно обращающейся с ней женщине, раз и навсегда поставить ее на свое место, напомнить, что она, Марина, не кто-нибудь, а жена главного инженера. Но промолчала. В глубине души у нее не было неприязни к Анне Васильевне. Да и голубоглазая не отводила от Марины взгляда. Марине даже показалось, что она хочет попросить ее идти в котлован.

— Пойти с вами? — переспросила Марина. — А что ж, можно.

— Вот хорошо, — радостно улыбнулась Анна Васильевна. — Гляди, и людей наших поближе увидишь и узнаешь...

— Приходите, — ласково попросила Марину и Галина. — Я вам даже свою лопату одолжу... Она у меня на кабель-кране... Хорошая такая... С новым черенком... — Девушка тихо, как-то мило и сердечно рассмеялась.

— А ты, колокольчик, беги дальше, — сказала ей Анна Васильевна. — Беги, милая... Всех зови.

Галина торопливо набросила на голову полушалок, толкнула плечом дверь и исчезла в белом морозном тумане.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Около полузанесенной снегом прорабской будки в нерешительности топтались рабочие.

— Не знаем, Григорий Иванович, с какого бока и начинать.

— Была наша стройка и нет ее, — указал рукой через плечо Пашка. — Вся спряталась.

Блинов огляделся. Стройку действительно трудно узнать. Под сугробами похоронены бетонные блоки, насыпи перемычек, многочисленные агрегаты и машины. Лишь на середине котлована кое-где торчат из-под снега стрелы кранов.

— Эх... Десяточек бы другой бульдозеров сюда, — вздохнул Пашка.

— Самой надежной машиной придется работать — совковой лопатой. Держи... — подал ему лопату Андрей. — Бульдозеры здесь бесполезны.

— Однако, пошто стоим... Работать надо. — Утельгин воткнул лопату в снег.

— Давайте, ребята, так сделаем, — распорядился Блинов. — Начнем от дороги. — Он по сугробам повел бригаду к месту, где когда-то проходила дорога, по которой подвозили бетон. — Вот отсюда начнем, — воткнул бригадир лопату в твердый снег. — Подберемся к блоку. А потом и его откопаем. Командуй здесь, Андрей, а я в управление сбегаю... К Прохорову... Пусть людей на подмогу подбрасывает. А то отстанешь на верстень, не догонишь и во весь день.

Но до управления Блинов не дошел. Из-за поворота вынырнула и, скрипнув тормозами, остановилась «победа».

— Ну что там, Блинов?—приоткрыл дверку кабины Позолотин.

— Дела как сажа бела, Георгий Степанович... — подошел к машине Блинов. — Все замело. Надо людей подбросить в котлован. Без подмоги скоро не управимся.

— Люди собираются около управления. Скоро подойдут. Садись. Поедем смотреть...— Позолотин кивнул Блинову на заднее сидение. — Да, дела как сажа бела... — глухо повторил он.

Машина медленно спустилась по серпантину в котлован и остановилась около прорабского домика.

Георгий Степанович, оглядев котлован, покачал головой. О том, чтобы сегодня приступить к укладке бетона — нечего было и думать.

— Да, положеньице... — огорченно вздохнул Позолотин. Он достал из кармана дохи портсигар, закурил.

Начальник строительства зашел в прорабскую и по телефону вызвал Ермолаева.

— Поторопи, пожалуйста, Андрей Андреевич, людей в котлован. Работы, тебе скажу, уйма... Выручай. Опыт у тебя есть. — Он едва заметно улыбнулся.

К прорабской подъехал и остановился рядом с машиной Позолотина газик. Из него вылез Рогулин. Он подозвал начальника участка Прохорова.

— Ну, чего раздумываете... — прикрикнул главный инженер. — Пускайте бульдозеры...

— Георгий Степанович запретил, — кивнул Прохоров на выходившего из прорабской Позолотина.

— Неужели весь котлован будем очищать вручную? — подошел к начальнику строительства Рогулин.

— Я не хочу, чтобы механизмы, которые засыпаны снегом, были изуродованы... — нахмурил лохматые брови Позолотин. — К тому же к кранам протянуты кабели... Может быть замыкание... Сами знаете, чем это грозит... — и добавил глухо: — Несмотря ни на что, сегодня мы должны приступить к бетонированию.

— Не успеем... — махнул рукой Рогулин.

Но Позолотин не дослушал главного инженера. Наблюдая за работой бригады Блинова, он увидел, что люди в нерешительности толпятся вокруг компрессора, не зная, с какой стороны ухватиться за него и куда его перекатить.

— Провозимся мы так до морковкиного заговенья, — сердито сказал Позолотин. Повернулся к Блинову. — Выдерите компрессор из снега кабель-краном.

— А ведь верно... — встрепенулся Блинов.

Через несколько минут взревела сирена. Видно было, как на берегах тронулись и покатились влево башни кабель-крана. С несущих канатов на тонком длинном тросе опустился в котлован гак.

— Вяжи его, ребята, крепче... — командовал Блинов.

Андрей и Пашка опоясали компрессор тросами, прицепили их к гаку.

— Порядок! — крикнул Андрей.

Блинов махнул рукавицей в сторону головной башни кабель-крана. Раздалась сирена. Трос натянулся, и компрессор, отворачивая глыбы снега, полез из-под сугроба.

— Урра... — закричал Пашка. И вдруг ему словно кто рот рукавицей заткнул. Выпучив глаза, Пашка в ужасе шарахнулся в сторону. Андрей за ним.

Затрещав, над их головами со свистом

оборвался трос. Компрессор перевернулся в воздухе и торчком воткнулся в снег.

Позолотин увидел, как освободившийся от груза гак кабель-крана сильно подбросило вверх. Несущие канаты, струнами натянутые над рекой, затрепетали вразнобой. Тележка, скользившая по ним, резко остановилась, перекосившись, завалилась набок.

Георгий Степанович не сразу понял всю серьезность случившегося.

Рогулин, стоявший сзади, хрипло сказал:

— Крышка, теперь крышка... Без кабель-крана мы как без рук.

Позолотину показалось, что народ в котловане замер в каком-то тревожном ожидании. И действительно, рабочий шум затих. Люди, отшвыривающие снег, разгибали спины. Задрав головы, смотрел на соскочившую с канатов тележку весь котлован. А до нее рукой не достанешь — от земли до тележки больше ста метров.

— Ну вот... Теперь об укладке бетона и толковать нечего... — хмуро проворчал Рогулин.

— Вы думаете, серьезная авария? — повернулся к нему Позолотин.

— Несущая тележка сошла с тросов, — пожал плечами Ануфрий Иннокентьевич.

— А нельзя быстро... Ну, скажем, часа через два-три кабель-кран ввести в действие?..

— Что вы! — Рогулин махнул рукой. — Надо вертолет вызывать. А в такой холодище ни один летчик ни за какие деньги не полетит. — Он шагнул навстречу Блинову. — Почему сорвался компрессор?—сердито спросил он у бригадира.

Блинов виновато развел руками.

— Плохо привязали...—и огорченно сплюнул: — Да и трос, видать, старый попался.

— Растяпы, — зло сказал Рогулин.

— Пробивайте дорогу дальше. Сегодня чтобы блок готов был к приемке бетона, — приказал Позолотин Блинову и повернулся к главному инженеру. — А мы, Ануфрий Иннокентьевич, проедем к кабель-крану.

Едва начальник строительства и главный инженер успели уехать из котлована, Блинов, чертыхаясь, насел на Андрея и Пашку:

— Руки-то у вас, видно, как крюки... Не могли путем увязать этот окаянный компрессор.

— Вроде и хорошо его прикрутили... — оправдывался Андрей.

— Вроде Володи, на манер Кузьмы, — передразнил его Блинов. — Теперь хлопот будет полон рот. Ишь, главный-то что говорит... Надо, мол, вертолет вызывать. Шутка ли, такую машину вывести из строя. — Блинов огорченно вздохнул. Вздохнул и Андрей. Он чувствовал себя виноватым в этой аварии. Рядом с ним сердито сопел Пашка.

А в это время к головной башне кабель-крана подкатили две автомашины.

Позолотин и Рогулин по крутой и скользкой лестнице поднялись в кабину машиниста. За пультом управления сидел Маратай. Он нервно двигал рычаги контроллера, пытаясь сдвинуть тележку с места. Но она словно примерзла к тросам.

— Выключите машину, — приказал Рогулин. — Моторы хотите сжечь?

— Где Коршун? — спросил Позолотин.

— В машинном отделении...

— Позовите.

Маратай стрелой выскочил из кабины и, грохоча по лестнице, полетел вниз.

Георгий Степанович внимательно оглядел кабину кабель-крана. В ней светло, тепло и как-то по-домашнему уютно. Елочными игрушками поблескивают натертые рабочими ладонями рукоятки управления. На подоконнике, перед сидением машиниста, пачка папирос. Между стеклом и рамой портрет известной актрисы.

— Недурной вкус у мальчишки, — усмехнулся Рогулин.

Позолотин промолчал. Он смотрел в окно. Из кабины далеко видно. Внизу две реки, обнявшись в устье, застыли в холодном, грустном молчании, словно долгожданная встреча не принесла им радости. Рядом, как на ладони, котлован. Там суетятся люди... А дальше за рекой громоздятся высокие хребты. В синей дымке дремлет тайга, отдыхая после непогоды. Все это отсюда, с высоты, выглядело грандиозно и очень красиво.

«Ей нравилось здесь», — вздохнул Георгий Степанович, но тотчас взял себя в руки.

— Да... Но что же будем делать с кабель-краном? — повернулся он к Рогулину.

— Ждать тепла, — дернул тот плечами. — А там приглашать вертолетчиков.

Хлопнула дверь. В кабину вошел Коршун. Старший машинист неторопливо вытер тряпкой измазанные солидолом руки.

— Напортачили, значит... Работать по-настоящему еще не работали, а авария уже есть... — напустился на него Рогулин.

— Что ж... Это техника... Все бывает... — Коршун взял с подоконника пачку папирос, закурил. — Будете?—предложил он Рогулину.

Главный инженер сердито посмотрел на него. И вдруг рявкнул:

— Вы бросьте мне очки втирать. — Лицо его покраснело от негодования.

— Чего вы кипятитесь, Ануфрий Иннокентьевич? Тележка сошла с канатов не по нашей вине, — спокойно сказал Коршун.

— Ага... Не по вашей вине... — Ануфрий Иннокентьевич прищурил глаза: — На бетонщиков хотите вину свалить. Не выйдет. — Он погрозил Коршуну пальцем. — Не выйдет. — Рогулин снял с телефонного аппарата трубку. — Прорабскую мне. Прохоров? Я с кабель-крана говорю. Срочно пошли ко мне Блинова и того высокого парня, который компрессор увязывал тросами... Романов, кажется, его фамилия... Да, срочно... Одно недоразумение хочу выяснить. — Он положил трубку и ехидно посмотрел на Коршуна. — Я, слава богу, понимаю в этом деле кое-что, — подвинулся вплотную к Коршуну: — Когда компрессор стал валиться, почему не включили обратный ход? А?

— Это бы не помогло, — возразил Коршун. — К тому же компрессор не валился, а оборвался. От резкого удара и подпрыгнула тележка.

— А я вам говорю, что при включении обратного хода тросы не стали бы прыгать и тележка осталась бы на месте.

— Я включил обратный ход, — вмешался Маратай. Но Рогулин даже не взглянул на него.

— Почему доверили молодому машинисту выполнять ответственную операцию? — повышая голос, наседал он на Коршуна.

Тот пожал плечами.

— Это наш лучший машинист, — и неожиданно вскипел: — А вообще, Ануфрий Иннокентьевич, я бы попросил вас повежливей с нами разговаривать. Надоели мне ваши крики...

— Вы что, всегда так между собой решаете вопросы? — спросил молчавший до этого Позолотин.

— Да, почти, — хмуро отозвался Коршун. — Между мной и главным инженером, вероятно, черная кошка пробежала. Он меня не понимает, а я его...

— В чем же причина? — спросил Позолотин.

— А в том, что главный инженер только требует, но не знает положения вещей, не вникает в производство и не руководит им квалифицированно, — решительно выпалил Коршун и рубанул по воздуху рукой.

— Вы считаете, что главный инженер необоснованно требователен к вам?

— Дело не во мне, а в производстве, — возразил Коршун. — Я считаю, что главный инженер не должен только требовать и брать, так сказать, за горло... Это старые методы руководства и, к счастью, забракованные жизнью. Главный инженер должен прежде всего много знать и, когда это требуется, применять знания на практике, помогать подчиненным, учить их... На то он и главный.

— Не вам судить, какой я инженер, — отрезал Рогулин и ехидно улыбнулся: — Уж не хотите ли вы сказать, чтобы я лез и ставил на канаты тележку?

— Мы сами ее поставим... Сегодня же... — улыбнулся Коршун.

Рогулин поднял брови, взглянул на него со смешанным чувством удивления и гнева.

— Интересуюсь, как же вы ее ухитритесь поставить? Уж не думаете ли вы ползти к ней по канатам?

— Вот именно... Так и сделаем.

— Вы спрашивали у кого-нибудь разрешения?

— Нет.

— Так вот я вам запрещаю это делать. Запрещаю как главный инженер.

— Почему?

— Тот, кто полезет по канатам, — обречен на верную гибель... Вы понимаете, что делаете? Ветер, мороз, стальные канаты, железная тележка... Нет, это безумие. Как хотите, Георгий Степанович, но я отказываюсь понимать этого человека. Отказываюсь... — Рогулин демонстративно отвернулся от Коршуна.

— Расскажите, что вы решили делать, — попросил Позолотин старшего машиниста.

— Дело вот в чем, Георгий Степанович, — подвинулся к начальнику строительства Коршун. — Лишь одно колесо тележки сошло с каната. Второе запуталось в тросе. Вот посмотрите. — Он протянул Позолотину бинокль. — Видите? Надо ломиком поставить это колесо на канат и распутать трос. Тогда все будет в порядке.

— И кто же намерен это сделать?

— Неисправность решил устранить машинист кабель-крана Домбаев. Вот он. — Коршун указал на Маратая, сердито сжавшего губы.

— Опасно. Вы не боитесь? — повернулся к Домбаеву Позолотин.

— Но ведь надо, — тихо ответил Маратай.

— Да... Надо...

— Мне летом при монтаже приходилось лазить по тросам, — попытался успокоить начальника строительства Маратай.

— Это же было летом. Сейчас, видите, какой мороз... Да и ветерок пошаливает... Не лучше ли будет, если мы попробуем вызвать вертолет и с него попытаемся установить те-

лежку... А ну-ка, разрешите, — Позолотин потянулся к телефонной трубке.

— Аэропорт... Аэропорт... — кричал он. — Нужен вертолет... Авария на стройке...

Георгий Степанович долго объяснял начальнику Покровского аэропорта, что произошло. Через несколько минут ожесточенно бросил трубку на аппарат.

— Не могут вертолетчики. Говорят: верховой электрокабель над несущими тросами мешает. Опасно... — Позолотин вздохнул.

— А я что говорю? — пожевал губами Рогулин.

Георгий Степанович всматривался в заполненный людьми и машинами котлован. Там уже начали очищать от снега блоки.

— К вечеру можно будет подавать бетон... — вздохнул он. — Но чем? Без кабель-крана этого нельзя сделать... Да... Выход один. Кто-то должен лезть по канатам. Рискованное, опасное, трудное дело, но необходимое.

Позолотин, словно пытаясь прощупать Домбаева, внимательно посмотрел на него:

— Выдержишь?

— Выдержу, Георгий Степанович, — твердо взглянул в глаза начальнику строительства Маратай.

И в его голосе Георгий Степанович уловил то очень понятное и близкое сердцу беспокойство за общее дело, которое и ему, Позолотину, часто не давало спокойно спать дома, поднимало в полночь, в темень, в непогоду, в стужу и вело в котлован, к трещавшим под напором воды ряжам и перемычкам, к застывающим бетонным блокам, к разгоряченным, возбужденным в работе людям. Он знал настоящую цену этому беспокойству, которое называется чувством ответственности, и он оценил его, почувствовав к черноглазому, не высокого роста парню уважение и дружеское расположение.

Позолотин вопросительно повернулся к Рогулину.

— Ваше мнение?

Рогулин нервно дернул узкими плечами:

— Как хотите, Георгий Степанович, но я умываю руки. Этот риск я считаю неоправданным. А всю затею, мягко говоря, безумной.

— Что же вы считаете самым умным? Сидеть сложа руки? — нахмурился Позолотин.

— Люди дороже бетона.

— Это я и без вас отлично знаю... — Он повернулся к Коршуну и Домбаеву: — Приступайте к выполнению своего плана... Я разрешаю...

В машинном отделении кабель-крана тесно. Здесь снаряжают в опасный путь Маратая. Весь экипаж суетился около него. В толстых ватных штанах, в телогрейке, в завязанной под подбородком шапке-ушанке Маратай чем-то похож сейчас на медвежонка. Но в эти минуты никто над ним не подшучивает.

— Ломик и ключи не забудь, — подал ему инструмент Коршун.

Маратай засунул их за пазуху.

— Возьми, Маратай, мои рукавицы. Теплые... Сама вязала, — сует ему варежки Галина.

— Они же мне малы, — смеется Маратай. — У меня свои теплые.

В это время Позолотин и Рогулин поднялись на самую верхнюю площадку башни кабель-крана. Отсюда Домбаев должен подняться по опоре до канатов и ползти по ним до середины реки.

«Высота больше ста метров», — вспомнил Позолотин. Глянул вниз, в котлован ... Заныло, похолодело под ложечкой...

— Мда... — многозначительно пожевал губами Рогулин и отошел подальше от края площадки.

Коршун примерил к тросам толстую сосновую доску. Два парня, помогавшие ему, вбили в ее края длинные гвозди. Доску положили на тросы. Сейчас ее можно двигать только вперед или назад.

— Порядок. — Коршун подошел к Домбаеву. — Значит, договорились, Маратай... Попробуешь... Но если ничего не получится — не задерживайся... Двигай обратно...

— Понятно. — Маратай натянул рукавицы.

Оттолкнув локтем Рогулина, к Домбаеву подошла Галина.

— Привяжись, Маратай, к тросам получше, — она поправила у него на поясе монтажный ремень. — Будешь перелезать через клеп-рейтеры — сначала перенеси одну цепь, а потом уж другую. Следи, чтобы все время был застрахован.

— Дальше земли не упаду, — засмеялся Маратай.

— Ну, как говорится, ни пуха ни пера, — пожал ему руку Позолотин.

— Шлепнется с тросов — вот и не останется ни пуха ни пера... — проворчал за спиной начальника строительства Рогулин.

Маратай оглядел всех. В глазах Коршуна и Позолотина, в глазах Галины и ребят тревога... Понял — никогда они не пустили бы его в этот опасный и трудный путь, если бы не большая необходимость.

Маратай, знавший о войне только по книгам и кинофильмам, подумал, что, вероятно,

солдаты на фронте перед боем чувствовали себя так же, как он сейчас. Прежде всего долг... Ответственность за общее дело... В эти минуты в душе его был и страх и затаенное желание отказаться от выполнения взятого на себя опасного задания. Все это было... Но он задавил сомнения и, стараясь приободрить себя и окружавших его людей, сказал просто:

— Ну... Поехали...

По поперечинам Домбаев быстро вскарабкался на верхушку башни. Поправил на канатах доску. Проверил за пазухой инструмент.

— К тросам прицепись! — донесся голос Галинки.

Маратай усмехнулся. Но монтажные цепи пристегнул. Помахав рукой Галинке, он лег грудью на доску и медленно пополз вперед.

Домбаев был уже метрах в пяти от башни кабель-крана, когда люди, стоявшие в тревожном молчании на верхней площадке, услышали внизу громкие голоса и грохот шагов по железной лестнице.

— Век бы я хотел сюда не подниматься, — недовольно кряхтел кто-то внизу. — Какого черта он нас сюда потащил. У нашей Палагеи свои затеи.

Позолотин и Рогулин по голосу узнали Блинова. И действительно, снизу показалось усатое, красное от мороза лицо бригадира бетонщиков. Отдуваясь, он забрался на верхнюю площадку. За ним поднялся Андрей.

— Старые умники вымерли, а молодые не нарождаются. Кому это мы здесь понадобились? — спросил недовольно Блинов и с опаской покосился на край площадки, за которым зияла пустота.

— Здесь, видать, совещание в верхах, — усмехнулся Андрей. — Неудачное место. Холодно. — Он поднял воротник куртки.

— Пришли... — сердито посмотрел на бетонщиков Рогулин. — Сейчас вы здесь не нужны. Бесполезно разбираться, кто виноват. Вон видите, из-за вашего растяпства что пришлось делать... — Он указал на ползущего по канатам человека.

— Едрить твое в корень! — всплеснул руками Блинов. — Это кто же на такой кондибобер решился?

Он и Андрей подвинулись к самому краю площадки.

— Да это, никак, Маратай ползет... Точно Маратай! — всмотревшись в человека на канатах, воскликнул Андрей.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

С начала строительства Северной гидростанции в котловане еще никогда не было так многолюдно. На расчистку снега вышли не только строители и монтажники. Сюда пришли те, кто работал на бетонном заводе, в гараже, в управлении строительства. А позже гурьбой привалили и домохозяйки.

— Иэх, — визгливо кричит шустрая, раскрасневшаяся бабенка, бойко отбрасывая снег. — Прощай, квашня, я гулять ушла!

С веселым хохотом нет-нет да и столкнут какого-нибудь в снежную яму. И тогда — несдобровать неудачнику. Сыпятся на него ворохи снега. Вылезет оттуда — сам на себя не похож.

— Не зевай... — с хохотом кричат вокруг.

Марина работает рядом с Анной Васильевной. Ее щеки порозовели, голубые глаза искрятся радостью. В руках мелькает большая совковая лопата. Анна Васильевна ловко орудует широким деревянным пихлом.

— Будя... Отдохнуть надо... А то с непривычки-то разболеемся, — выпрямила уставшую спину Анна Васильевна. Взглянув в веселые глаза Марины, она улыбнулась: — Ишь, голубка, как раскраснелась... Сидеть-то дома для души и тела проку мало...

— Хорошо здесь, — призналась Марина. Она подняла снежный ком. Тихо засмеявшись, озорно бросила его в работавшего невдалеке парня. Ком угодил ему по шее. Парень съежился и, повернувшись к Марине, погрозил ей пальцем.

— Зачем маленьких обижаете... — Он белозубо засмеялся.

— Мой-то муженек куда-то уперся, — Анна Васильевна огляделась по сторонам. — Здесь ведь только что вертелся... — повернулась к Марине: — А твой, кажись, вон, на берегу... Машинешка-то его у кабель-крана виднеется...

— А ну его... — Марина небрежно махнула рукой. Схватив лопату, торопливо начала отбрасывать снег. Ей не хочется сейчас среди этой горячей работы, среди этих веселых, радостных людей говорить о своем нелюбимом муже.

«Зачем... Дайте хоть один день, хоть один час отдохнуть, забыться...» Хотелось крикнуть: «Ведь хорошо мне с вами, люди! Хорошо!» Но крикнешь — разве поймут... — И улыбка сползла с красивого лица. В уголках рта появились темные печальные складки. «Ах, жизнь, жизнь... Почему же ты не балуешь меня веселым смехом и радостной

улыбкой. А я ведь молода... Я жить хочу... Жить... Жить я хочу...»

Рядом, угощая друг друга папиросами, переговаривались двое пожилых рабочих. Широкоплечий, бородатый говорил. Высокий сутулый, кивая головой, слушал. И Марина так, исподволь, тоже слушала.

— Я ведь, паря, Братскую ГЭС строил, — широкоплечий ухмыльнулся в бороду: — Здоровушшая, брат... Вот там, Кеха, я почувствовал, что такое наш рабочий класс. Силища у нас преогромная. Отродясь такой не было... Теперича нам ни одна мировая гидра не страшна. Ведь сам посуди, сколько уже этих электростанций отгрохали... В Иркутском-то красавица... В Братском ишо краше... А плотина-то какая. Ууу... Железо и бетон... На несколько километров протянулась. А Ангара-то, голубушка, морем разлилась.

У Марины при упоминании об Ангаре сжалось сердце... Заплескалась перед ее глазами зеленоватой волной родная река...

А рядом глухой голос доносит слова:

— Ток, значит, дали... Опосля митинг состоялся... С трибуны-то и кричат: «Покорили... Самая мощная в мире... Герои... Слава...» Ну, знаешь.., В такой момент люди охочи на крупноблочные словечки-то...

— Эй... — окрикнул бородатого парень, в которого Марина бросила комом снега. Он подошел к рабочим. — Рассказчики не годятся и в приказчики, так, кажется, Григорий Иванович говорит, — он усмехнулся.— Хватит байки рассказывать... работы много...

— Ну-ну, ты, Пашка, не шибко-то, — огрызнулся бородатый. Но папиросу бросил и придавил ее курносым валенком.

— Чего не шибко... — насел на него Пашка. — Я за бригадира остался... — Картошкин явно щеголял своей временной должностью. Он покосился на незнакомую женщину. Кто такая? Уж больно славно она работает... Весело, быстро... — Буду ходатайствовать, чтобы вам благодарность объявили, — важно сказал Пашка, подходя к Марине.

— Да ну! — Марина, запрокинув голову, весело рассмеялась. — Это будет первая благодарность в моей жизни...

Пашка повернулся к бородатому рабочему. Стараясь подражать Блинову, поторопил его басом:

— Шевелись, шевелись, Егорыч...

— Шевелюсь, шевелюсь, Павел... Не знаю, как тебя по батюшке, — в тон ему отозвался бородатый. — Не приведи господь, такую работенку. С ней, ядрена бабушка, провозишься до весны...

Подошел весь в снегу Утельгин.

— Однако, пошто до весны возиться... Мотри, скоро блок откопаем... Бетон класть будем... — Он улыбнулся Пашке, улыбнулся бородатому рабочему. С улыбкой посмотрел на Анну Васильевну и Марину. — Нет... Нельзя, однако, долго возиться...

Марина, вглядываясь в обветренное лицо эвенка, вслушиваясь в его гортанный голос, подумала о том, что, вероятно, много таежных троп исходил, много дум передумал этот лесной житель, прежде чем решился прийти вот сюда, на стройку. И, видно, не жалеет он о покинутых стойбищах... Видно, хорошо ему среди этих людей... И ей здесь хорошо... Так хорошо, что домой идти не хочется...

— Ты, Утельгин, правильно толкуешь, — поддержал эвенка Пашка. — До весны нам нет смысла со снегом возиться...

«Утельгин... Утельгин... — заплясало в памяти Марины незнакомое имя. — Где-то она слышала его... Но где же? Да... Кажется, Джось что-то про него рассказывал... Ага. Он говорил, что эвенк, который живет у него, видел много золота в гольцах и весной поведет его через тайгу в горы».

— Золото... Зо-ло-то... — вспомнила Марина о нем, и потемнело у ней на душе. Словно черная туча легла на сердце. И сразу чужой почувствовала она себя среди этих людей. Да, они честные, простые, счастливые... Они не замышляют ни о чем темном... А она? Она живет-то с Рогулиным ради того, чтобы прикрыть темные махинации Джося и его компании...

— Да ты, голубушка, никак занемогла, — ласково спросила Анна Васильевна, увидев, как вяло и бессильно опустились руки Марины.

— Нет... Нет... — встрепенулась Марина.

— Да ты не стыдись... Отдохни, коли умаялась... Дело-то, известно, непривычное...

Марина отошла в сторону. Чтобы переменить разговор, спросила работающего поблизости Пашку:

— Скажите, а что это такое? — Она указала на бревенчатые стены, поднимающиеся из-под снега.

— А вы разве не знаете? — выпрямился Пашка. — Ряжи это... Они защищают котлован от воды. А там за ними находятся земляные перемычки. Верховая и низовая. Тоже защищают котлован. Мы здесь как в крепости, — улыбнулся он. — Река не прорвется.

Пашка хотел рассказать этой красивой молодой женщине о том, как осенью вместе с другими строителями отстаивал котлован от паводка, как укладывал первый бетон. Но

подумал, что она сочтет его за хвастуна, и замолчал.

— А из бетона... Это что такое? — заинтересовавшись рассказом Картошкина, спросила Марина.

— Это основные сооружения будущей гидростанции. — Пашка подошел ближе. Объяснил подробно: — Сейчас мы укладываем бетон на двенадцатой секции. Потом начнем работы на тринадцатой и четырнадцатой. Между секциями будут оставлены большие каналы. Они называются донными отверстиями плотины. Когда закончим укладку бетона и подготовим подводящий и отводящий каналы — тогда сверху и снизу разберем земляные и ряжевые перемычки и пропустим реку в донные отверстия...

— Зачем? — удивилась Марина.

— А чтобы начать строить плотину там, где сейчас течет река. Ее теперешнее русло мы перегородим и сделаем такой же котлован, как этот. Когда построим плотину по намеченному проекту — установим агрегаты. Специальными затворами закроем донные отверстия и все... — Пашка засмеялся.

— Да-да, — кивнул Пашка. — Потом заполнится водохранилище. Оно, вероятно, будет называться Северным морем. И вода начнет вращать турбины. Река будет работать на людей... Все, как видите, просто...

— Для вас это просто, а для меня нет. — Марина опять взялась за лопату.

— Ничего. Почаще будете приходить... Все поймете. Это со всеми так бывает... Кто в первый раз в котлован спустится, ну ничего не понимает... Со мной такая же история была. А потом разобрался... И вы разберетесь...

— Значит, молодой человек просвещает Марину Александровну, — раздался сзади густой с хрипотцой голос. Услышав его, Марина вся вздрогнула, онемела. Оглянулась. Рядом стоял Джось. Ядовитая улыбка играла на его губах. — Прекрасно... Прекрасно... Но не думаю, чтобы из вас, Марина Александровна, гидростроитель получился... Таким красавицам здесь не место... — Джось засмеялся. — Как Ануфрий Иннокентьевич поживает? Давненько я его, Марина... Гм... Гм... Александровна, не видел... Надо как-то заглянуть к вам в гости. — Борис Игнатьевич прищурился.

— Да, да... Пожалуйста... — смутилась Марина и под тяжелым взглядом Джося опустила глаза.

Борис Игнатьевич взял ее лопату, ковырнул поставленную «на попа» глыбу снега.

— Туго, видно, дела на стройке идут, если жену главного инженера в котловане заставили работать, — усмехнулся он.

Пашка прикусил губу. «Так вот кто она, эта красивая женщина... Оказывается, жена главного инженера... — нахмурился. — Ну и что особенного... Работать все должны... Тем более на стройке такое тяжелое положение...» — Он повернулся к Джосю и сказал сердито:

— Никто никого и не заставляет работать.

— Да и то правда, — выдохнула Анна Васильевна и недружелюбно посмотрела на Джося.

— А ты чего, Павлик, такой сердитый? — вкрадчиво и наигранно добродушно спросил Борис Игнатьевич. — Я ведь так... Шуткую... Пришел посмотреть — скоро ли вы кончите возиться... Пора бетонный завод пускать... Мне уж дремать там надоело...

— А ты лопату в руки... Дремоту-то и разгонишь, — посоветовала ему Анна Васильевна.

Джось не ответил ей. Повернувшись к Пашке, спросил:

— Андрея что-то не вижу... Дело у меня к нему есть... Не знаешь, где он?

— Главный инженер Андрея вызвал, — хмуро сказал Пашка. — А до бетона вам придется еще подремать... Кабель-кран сломался... Вот Андрея туда и вызвали... Разбираются — кто виноват...

Картошкин задрал веснушчатое, курносое лицо и, прикрывшись рукавицей от бьющих сквозь морозную пыль лучей солнца, посмотрел на скалистый левый берег, где торчала высокая башня кабель-крана. И вдруг глаза его удивленно округлились, часто-часто заморгали.

— Что такое? — подвинулась к нему Марина.

— Ого... Вот это да...— выдохнул Пашка и заорал во всю глотку:

— Смотрите! Человек ползет по канатам!

Люди, бросив работу, подняли головы.

— Батюшки мои! Это что же такое! — выронив лопату, взмахнула руками, как крыльями, Анна Васильевна.

— Эх... Не стерпела душа молодецкая, — крикнул в бороду пожилой рабочий и полез в карман за папиросой. У Пашки из-под ног аж снежная пыль вьется. Бегает, суетится.

— Молодец... Честное слово, молодец... Но кто же это? Кто? — кричит Картошкин.

— Дурак какой-то... — словно ушатом холодной воды облил его Джось. — Я бы ни за какие деньги не полез...

А в синем морозном небе человек ползет.

По тонким, как паутина, тросам. Ползет медленно. Едва заметно. Позади него всего несколько метров. Впереди — еще почти двести. Двести метров над бездной...

— Да... — Марина, подняв голову, с удивлением и страхом смотрит вверх на тонкие струны канатов, по которым маленьким жучком ползет человек. — Кто же это? Может быть, действительно какой-нибудь безумец? А может, герой? Какая же сила бросила его туда? Нет... Ей, Марине, непонятно все это... Непонятно и страшно... Но почему же в груди ее млеет, ширится еще не осознанная горячая волна восторженной радости? Почему?

А по котловану, вплетаясь в шорох морозного ветра, гул шел. От человека к человеку передавалось имя смельчака.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

— Уххх... Уххх... — Маратай, тяжело дыша, на секунду замер на канатах. Вытер рукавицей холодный пот. Лизнул обветренные губы. И пополз дальше. Перехватив рукой канат, подтянул ногу... Рывок другой рукой... И вторая нога подвинута вперед... Но тяжело... Доска давит на грудь... Монтажные цепи путаются... Мешают ползти...

Еще до того, как лечь на канаты, Маратай знал: будет нелегко. А вот на деле все оказалось значительно труднее. Как только он отполз несколько метров от башни, почувствовал на рукавицах, на ватнике и брюках что-то липкое и вязкое. Посмотрел. Выругался. Этого он не предвидел. В суматохе забыл... Канаты смазаны толстым слоем графитного масла. Оно прилипает к одежде. Как магнитом, притягивает рукавицы. Руки при каждом движении приходится с силой отрывать от тросов. Через десяток метров тело покрылось испариной. А впереди еще двести метров... Двести метров!..

До первого клеп-рейтера, который соединял оба каната, чтобы они не расходились, Маратай добрался минут за десять. Перенес через него одну монтажную цепь. Застегнул ее на канате. Потом сам не торопясь перелез через клеп-рейтер. На несколько секунд остановился отдохнуть. Глянул вниз. Котлован лежит, как на блюдце. Люди, задрав головы, машут руками, что-то кричат ему. Но ничего не слышно... Лишь доносится какой-то глухой неясный шум... И в голове шум. Маратай ткнулся лицом в рукав. «Может, это ветер... Он ведь здесь хозяин... — вздохнул тяжело: — Эх, ветер-ветерок... Подожди злиться. Не толкай с канатов... Прибереги свою силушку для сизых облаков...»

А время идет. Клонится к закату короткий зимний день.

Чем дальше отползает Маратай от башни кабель-крана, тем сильнее чувствуется боковая качка. Пошаливает-таки ветерок... Канаты уходят вправо... Руки сжались в мертвой хватке. Канаты поплыли влево... «Несдобровать... Но нет... Вперед...» Сжав зубы, Маратай упорно ползет дальше, туда, где, скособочившись, стоит запутавшаяся в тросах тележка.

Первую половину опасного пути Домбаев прополз за полчаса. Но чем дальше, тем меньше оставалось сил. А ведь еще ничего не сделано. Все самое главное, самое трудное там, впереди...

Вот взят второй клеп-рейтер. Но около третьего замешкался Маратай. Зацепился штаниной за торчавший из правого каната клок тонкой колючей, как змеиное жало, проволоки. Проколола она насквозь штанину. И воткнулась в мякоть ноги.

— Ух, ты!... — взвыл от жгучей боли Маратай. Потемнело у него в глазах. Застонав, припал он к канату, чувствуя, как побежала по коленке горячая струйка крови.

Полежал минуту-две... Отдышался. «Да разве можно долго лежать... Нет... Надо забыть о боли... О пронизывающем насквозь ветре... Вперед. Только вперед».

В котловане облегченно вздохнули, когда увидели, что Маратай подполз к тележке. А он, вынув из-за пазухи ломик, уже заправляет катки тележки на несущие тросы. Передний каток — щелк — и встал на место. А вот с задним... Черт бы его побрал! Не получается... Не достает ломик... А тут еще вокруг катка тонкой лесной змеей захлестнут оборванный трос. «Выход один, — вздохнул Маратай. Грязной рукавицей под носом вытер. — Надо перелезть на другую сторону тележки... Оттуда можно поставить каток на место...»

Уже почти два часа находится на канатах Маратай. Хоть сильный и выносливый он, но усталость, а главное, большое нервное напряжение берут свое. Маратай чувствует в руках и ногах мелкую, противную дрожь. От большой высоты и сильной качки замирает сердце, кружится голова. Огнем горит обожженное ветром лицо. Во рту сухо... Кажется, что там вместо языка лежит грязная рукавица.

— Но все это ерунда... Ерунда... Один каток поставлен... И второй поставлю... — шепчет потрескавшимися губами Маратай.

На тележке есть маленькая деревянная площадка, огороженная барьером из стальных прутьев. Вот через эту площадку и надо перелезть Домбаеву.

Долго думать некогда. Маратай ухватился за стальной прут барьера. Приподнялся. На коленях стоять больно. Заныла расцарапанная проволокой нога. Встал во весь рост... И впервые, как тронулся в опасный и трудный путь, почувствовал, каждым нервом ощутил ту высоту, которая была под ним. Страшно... Сорвешься — смерть.

Внизу маятником качается котлован. Влево... Вправо... Влево... Налетел, толкнул в грудь ветер...

Сморщившись от боли, Маратай наклонился, отстегнул от правого каната монтажную цепь. И вдруг из-за пазухи, чиркнув его по подбородку, быстрой лаской выскользнул ломик. Он клинком сверкнул на солнце...

— А-а-а, черт! — Маратай резко, рывком выбросил руку, пытаясь поймать его. В тот же миг ноги соскользнули с канатов. Ветер с размаху хлестнул в лицо. В расплывшихся от страха черных зрачках мелькнуло белесое от мороза небо, качнулись лесистые горы, шарахнулся навстречу котлован...

— Аааа... — кажется, за дальними хребтами слышно.

— Аааа... — отозвалось диким криком в котловане и понеслось над заснеженной тайгой.

— Ну вот... Доигрались... — Рогулин вскочил, нервно хлопнул о колено кожаной перчаткой. — Я же говорил вам... Вот пожалуйста... — повернулся он к Позолотину.

— Что говорили? — поднялся и начальник строительства.

Кроме него и Рогулина, в кабине кабель-крана на месте машиниста сидит Коршун. Остальные все остались на верхней площадке.

— Я же говорил, что люди дороже бетона, — фальцетом прокричал Рогулин.

Позолотин шагнул к главному инженеру. Сказал в упор:

— Вы бы шли, Ануфрий Иннокентьевич, отдыхать... Нервы у вас шалят...

Рогулин покраснел, как рак. Натянул на трясущиеся руки перчатки.

— Вы ответите за это. За такие вещи по головке не погладят. — Он с треском хлопнул дверью. В окнах кабины, как после взрыва, зазвенели стекла. Грохоча по железной лестнице сапожищами, главный инженер спустился на землю, подбежал к своему газику. Шофер начеку:

— Куда?

— В партком, — откинулся на сиденье Рогулин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Маратай... Маратай... — Галина мечется по площадке кабель-крана. В эти страшные минуты она забыла обо всем на свете: — Маратай... Как же это... — подбежала к Романову: — Андрей, что же делать? — бросилась к Блинову: — Григорий Иванович... Где же Коршун... Где главный инженер... Где начальник... Зовите их...

Вцепившись голыми руками в заиндевевшие от мороза железные перила, она всматривается в тело, мешком покачивающееся над котлованом. Неожиданно вся встрепенулась:

— Жив Маратай... Жив! Смотрите... Тянется рукой к канату...

«Любит... — подумал некстати Андрей. — Любит...» — Он взглянул на заплаканное лицо девушки, и сердце его тоскливо сжалось.

— Да не паникуй ты, — сердито прикрикнул на Галину Коршун, только что вбежавший на верхнюю площадку. Но его никто не слышит. Вокруг крик, шум, суматоха.

И в котловане в это время стоит разноголосый, тревожный шум. Шутка ли... Человек у всех на глазах погибает...

— Ох-ти мнешеньки... Это что же такое... Как же теперича его оттуда снимут... — причитает Анна Васильевна. — Ох-ти мнешеньки... Ох-ти мнешеньки...

— Однако, худо дело... Шибко худо... Мороз... Как бы бойе не помер... — беспокойно топчется на снегу, тараща вверх черные глаза, Утельгин.

— Что же смотреть... Спасать надо человека... — тревожно оглядывается по сторонам Марина. — Спасать... Спасать надо...

— Как же до него дотянешься, голуба душа, — укоризненно качает головой бородатый. — Вот кабы крылья были — взлетел... А так-то... На корточках надо, поди, к нему ползти...

— И на какой хрен его туда нелегкая потащила... — всунулся в разговор сутулый рабочий, напарник бородатого.

— А ты разве не знаешь? — качнулся в его сторону Джось. — В герои все лезут, молокососы...

— Ну, это ты, паря, зря... — покосился сердито на Джося бородатый. — Мыслишка-

то у парня правильная была... Стройке хотел помочь... Да вот не подфартило... Сорвался...

— Не подфартило... — злобно фыркает на него Джось.

А по котловану мечется, суетится Картошкин.

— Маратааа... Держись... — орет во всю глотку Пашка. Но ветер швыряет его слова в снег, толкает в расщелины скалистых берегов. — Я полезу... Выручу его... — Выпучив глаза, Пашка, увязая в девственно белых сугробах, лезет на гору к кабель-крану...

— Картошкин! — рявкнул сзади голос Прохорова. — Вернитесь на свое место. — Пашка кубарем скатился с горы. Начальник участка к нему: — Вам, Картошкин, поручили временно руководить бригадой... Вот и делайте свое дело... Продолжайте работу...

Но людям в котловане не до работы. Уж какая там работа... Они глаз не сводят с человека, попавшего в беду. Неужели же вот так, на глазах у всех, он замерзнет?

На верхней площадке кабель-крана тигром мечется Коршун.

— А ну... Прошу посторонних освободить кабель-кран, — сердито подскочил он к Андрею и Блинову, явно стараясь на ком-нибудь излить свою злобу.

— Тут нет посторонних... Все свои... — отмахнулся от него Блинов.

В дальнем углу площадки нервно кусает губы Позолотин. Он лихорадочно перебирает в голове варианты спасения Домбаева. Но как на зло — ни одной путной мыслишки. Только в висках стучит набатом кровь: «Как-то надо выручать... Как-то надо выручать... Замерзнет...»

Дробно простучал в тайге по трухлявой сосне дятел.

На земле одна за другой утекают в вечность минуты... И не остановишь их...

— Тик-так... Тик-так... — отсчитывают время тяжелые настенные часы в кабинете парторга.

— Неужели нельзя спасти? — впился глазами в хмурое лицо собеседника Ермолаев.

— Нет, Андрей Андреевич. — Рогулин забросил ногу на ногу. Не спеша затянулся. Пустил облако дыма. — Погубили парня... А я ведь, Андрей Андреевич, предупреждал Позолотина... Крайне неблагоразумно было с его стороны посылать человека на такое дело... — и добавил раздраженно: — Эта бессмысленная жертва не сойдет ему безнаказанно... Я сообщу в областной комитет партии и министерство... А если потребуется, и в цека... Да... В цека...

— Так неужели нельзя его спасти? — Ермолаев торопливо сунул в карман пачку папирос.

— Нет. Это практически невозможно.

— Я еду туда. — Парторг вскочил, набросил на плечи пальто: — Вы тоже?

— Нет. Не я заварил эту кашу, не я буду ее и расхлебывать. — Рогулин взглянул на часы. Они показывали без пяти минут три.

В это время к старшему машинисту кабель-крана Коршуну подошел Андрей, тронул его за плечо:

— Послушай... Я хочу тебе что-то сказать...

— Пошел к черту, — огрызнулся тот. — Нашел время... Я же приказал освободить кабель-кран...

— Да я о деле, — дернул его за рукав Андрей.

— Ну, чего тебе? — повернулся Коршун.

— Разреши... Я его выручу...

— Ты что, спятил? — взметнул черные брови Коршун.

— Нет, серьезно, — подвинулся к нему Андрей. И, словно боясь, что ему не дадут договорить, зашептал горячо: — Серьезно, Коршун... По канатам мне приходилось лазить... Да и Маратай... Друг мне... Понимаешь, друг...

— А если повиснешь, как он? — прищурил левый глаз Коршун.

— Да нет... — махнул рукой Андрей. — Он ведь случайно сорвался... Я не сорвусь...

— Надо с начальником поговорить... Один я решить этого не могу... Коршун торопливо подошел к Позолотину. Наклонился к нему.

К Романову шагнула Галина. С надеждой глянула на него. В больших голубых глазах ее и удивление, и восхищение, и недоверие.

— Ты не шутишь, Андрей?

Он усмехнулся, пожал плечами.

— Какие же шутки сейчас... — отозвался за Романова Блинов и укоризненно посмотрел на Галину: — Тем не играют, от чего умирают...

— Где он? — Позолотин повернулся к людям, стоявшим на площадке.

— Вот. — Коршун указал на Андрея.

Георгий Степанович пытливым взглядом оглядел крепкого, сильного парня, сказал просто:

— Выручай, Романов.

Когда на тросах, натянутых между башнями кабель-крана, появился второй человек, котлован обрадованно встрепенулся.

— Слава богу... Выручат, поди, парня-то, — вздыхает Анна Васильевна.

— Однако, кто это такой смелый? — подбежал к Пашке Утельгин.

— Не знаю, Утельгин... Не знаю... — мечется Картошкин.

А человек все ближе и ближе подползает к Маратаю. И вдруг дощатая дверь прорабской — настежь.

— Это же Романов ползет! — козлом подпрыгивая, несется по котловану начальник участка Прохоров.

— Андрей! Наш Андрюха! — выпучил на него глаза Пашка. — Вот здорово. Молодец.

— Картошкин схватил в охапку Утельгина и завертел, закрутил его. Оттолкнув эвенка, подбежал к Марине: — Это же мой дружок... Понимаете, дружок...

Марина смеется. Лицо женщины светится. Ей понятен восторг парня. «Таким другом, как тот... наверху... можно гордиться...»

И вздыхает: а вот у нее нет таких друзей. Нет. Вокруг нее кружатся только волки. Разве можно положиться на Джося? Разве он выручит из беды? А Ксения? Как они не похожи вот на этих людей...

Пашка бегает по котловану. Заглядывает в лица. Хохочет.

— Давай, Андрей... Жми, родной... — вопит он, задрав курносое лицо.

— Да не шиньгайся ты... — одернула его Анна Васильевна.

— Дополз... — радостно выдохнула Марина.

Весь котлован замер в ожидании. Что же будет дальше?

Да, Андрей уже около тележки. Маратай не видит своего спасителя. Он уткнулся в воротник куртки. Задыхается. Морозный ветер холодными зубами грызет его коченеющее тело.

— Маратай... Ты жив? — тяжело дыша крикнул, свесившись с канатов, Андрей.

Маратай дернулся на цепи. Повернул почерневшее, искаженное болезненной гримасой лицо.

— Андрей! Неужели ты? — прошептал он опухшими губами. — Неужели ты? — Кого-кого, но Романова Маратай никак не ожидал увидеть.

— Ты не обморозился? — крикнул Романов.

— Не знаю...

— Держи... — Андрей протянул Маратаю руку. Но тот замешкался. Нет сил. Тело кажется чужим. Кровь в жилах будто застыла от мороза. «Ах, Андрей, Андрей... Спасибо тебе, дружище... Вовремя ты подоспел...»

— Давай, говорю, руку. Или тебе здесь понравилось болтаться, — сердито рявкнул Андрей.

Маратая как бичом подхлестнули. Он собрал последние силы, изогнувшись, бросил тело вверх, схватил протянутую Андреем руку. Романов сильно рванул его к себе. И Домбаев грузно шлепнулся на канаты. Закрыв глаза, он долго лежал молча, до конца еще не веря в свое спасение...

— Щеки и нос обморозил... Три снегом...— глянув в обмороженное лицо Домбаева, крикнул Андрей. — Да не рукавицей... Сдерешь кожу, не нос — картофелина будет... Кто тебя такого тогда полюбит...

Пока Маратай растирал побелевшее лицо, Андрей смотрел вниз. Оттуда приветливо махали ему руками, что-то кричали. Но тугой ледяной ветер проглатывал слова.

— Обратно, что ли, двинем? — Андрей поежился от холода. — Заворачивай оглобли... А то околеешь здесь... — Он начал перестегивать цепи.

— А тележка? — испуганно повернулся к нему Маратай. — Так ее и оставим?

— А что? — нахмурился Андрей.

— Зачем же я здесь болтался... Да и ты... Стоило ли всю эту заваруху заваривать... К черту... — Маратай сердито засопел: — Я не хочу ни с чем возвращаться... — Он трясущимися руками схватился за поручни, попытался подняться на тросах.

— Стой! — резко остановил его Андрей.— Лежи на месте. Ты же едва живой... — Романов приподнялся и полез через тележку.

— Спокойно... Не торопись... Только не торопись... — шептал Домбаев.

Через несколько минут Андрей перебрался на другую сторону тележки. Вынув из-за пазухи ломик, подтолкнул его под трос. Щелк! Колесо, сползшее с каната, встало на место.

— Порядок, — крикнул Андрей.

Маратай облегченно вздохнул. Вытерев с обмороженных щек слезы, всхлипывая то ли от радости, то ли от боли, он полез на маленькую площадку. Андрей уже там. Помог Маратаю перелезть через перила. А через минуту радостный рев сирены кабель-крана разорвал студеный воздух над стройкой. И хоть этот звук тысячи раз проносился над промороженным котлованом, над заснеженными крышами домов, над затуманенной тайгой, сейчас он звучал, как красивая, вдохновенная музыка. И дрогнули сердца людей... Загудел-зашумел от голосов котлован.

Все увидели — тележка двинулась с места и, плавно скользя по канатам, покатилась к головной башне кабель-крана.

С верхней площадки Маратая и Андрея вынесли почти на руках. Едва парни ступили на землю, как кто-то сунул им в руки фляжки со спиртом.

— Пейте... Пейте... — кричал Коршун.

Маратай сделал глоток-другой. Поперхнулся, отошел в сторону.

Андрей тоже отпил несколько глотков спирта. Вытерев ладонью губы, огляделся. Он искал глазами Галинку... Их глаза встретились. Он шагнул было к девушке. Но кто-то, положив на плечо тяжелую руку, остановил его. Андрей оглянулся. Рядом стоял Джось.

— Ну и молодец же ты, Андрей... Поздравляю... — Он поймал руку Андрея, пожал ее с притворной чувствительностью.

От этого поздравления у Андрея сжалось сердце. Праздничное, бодрое настроение словно ветром слизнуло.

— Обмыть это надо... Обмыть... — Джось, брызжа слюной, лез к Андрею: — Ведь подумать только... Этот Домбаев век должен в твоих ногах валяться... Околел бы, как заяц... Тоже герой... — Борис Игнатьевич взял Романова под руку, подмигнул хитро: — А посылочки-то наши дошли... Письмецо получил сегодня.

Андрею почему-то вдруг стало грустно и одиноко. Стыдно людей, Маратая, себя... Он помрачнел, нахмурился. Выбрав момент, улизнул от Джося. Проламываясь через лесную чащобу, переваливаясь через высокие сугробы, побежал в поселок.

А около кабель-крана шумел, переговаривался народ. К Домбаеву — не подступиться.

Вдруг рявкнул кто-то басом:

— Бетон, братцы, пошел.

— Бетон... Бетон пошел...

К Маратаю шагнул Позолотин.

— Ну, спасибо, Домбаев... — Он пожал ему руку. — И Романову спасибо... Выручили... А сейчас отдыхать... — Георгий Степанович подтолкнул Маратая к машине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Позолотин пришел утром в кабинет и сразу к телефону.

— Диспетчер? Как идет бетон? Почему так мало уложили?

— Подъемных механизмов не хватает, — захрипело в телефонной трубке.

— Не то, так это... — Позолотин резко положил трубку на аппарат. Да... Хотя зима переломилась — морозы пошли на убыль — дела на стройке подвигаются медленно. Если и дальше работа так пойдет — нечего и думать о перекрытии реки весной. Все это грозит тяжелыми последствиями. Не будет вовремя перекрыта река — строители не сумеют своевременно подготовить правобережный котлован. Результат — на год задержится пуск гидростанции.

Георгий Степанович постукивал карандашом по столу и в какой уж раз всматривался в чертежи плотины гидростанции. Что же делать? Оно, конечно, и так... На досрочном пуске ГЭС никто не настаивает. Правительство предусмотрело построить Северную ГЭС за пять лет. Еще осенью, побывав в министерстве, Позолотин выяснил, что сроки остаются прежними.

Министр тогда сказал: «Учитываем, что условия работы у вас тяжелые. Не торопим. Вечная мерзлота — это еще проблема в гидростроительстве. Так что, Георгий Степанович, стройте обстоятельно... Больше изучайте, анализируйте, приглядывайтесь. Ваш опыт будем применять на строительстве других гидроэлектростанций в северных широтах».

Тогда Позолотин ответил: «Есть у нас наметки на год раньше дать промышленный ток...»

Министр улыбнулся: «Чувствуете силу — дерзайте. Мы поможем. Ускорим поставку оборудования. Обеспечим в достаточном количестве стройматериалами... Но еще и еще раз все взвесьте, посоветуйтесь с коллективом. Если сумеете — честь и хвала вам. А вообще — рано или поздно все равно придется резко сокращать сроки строительства гидростанций. В этом направлении нам много предстоит работать».

Сейчас Позолотин сидел и думал о последних словах министра. Трещали телефонные аппараты. На селекторе тревожно вспыхивали лампочки.

«Нехорошо получается... — Георгий Степанович тяжело вздохнул: — Как бы не сорвать выполнение обязательств. Опозоримся тогда...»

Позолотин подошел к аппарату. Нажал клавиш и взял телефонную трубку.

— Андрей Андреевич? Ты у себя... Я к тебе сейчас зайду.

Ермолаев был один. Взглянув на Позолотина, он хитро улыбнулся и повертел в руках какую-то бумажку.

— Вот чудеса, Георгий Степанович. Заявление сегодня принесли, послушай: «Терещенко Сергей Иванович живет в поселке Арктика, дом 20. Работает на лесокомбинате. Вчера бегал совершенно голый по поселку днем. Он просил у жены три рубля денег на водку — она ему сказала: разденься догола и пройди по поселку, тогда дам...»

Позолотин громко захохотал.

— Нет, ты послушай дальше, — Ермолаев потряс бумажкой.

— Читай... — смеясь сказал Позолотин.

— Дальше в заявлении приписано: «Он так и сделал. Целый час бегал по поселку голый. Видела его и я — Иванова».

Позолотин схватился за живот.

— Значит, бегал... Голый... Выпить захотел... ха... ха... Деньги-то получил?

— Сомневаюсь, — махнул рукой улыбающийся Ермолаев. Что, по-твоему, мне с этим заявлением делать? Какие меры принимать?

— Поздно. Надо было принимать меры, когда он бегал. Взять бы лозовый прут да по голому-то заду его огреть пару раз... Живо побежал бы штаны надевать...

— Да... Придется вызывать обоих, и мужа и жену. Надо прочистить им мозги. — Ермолаев отложил бумажку в сторону, указал на лежащую на столе газету:

— Читал?

— Читал... — помрачнел Позолотин.—Шуму мы много наделали...

— Волнуешься?

— Волнуюсь.

— Я тоже. — Ермолаев взял газету. Развернул ее. — Как ни говори наши социалистические обязательства опубликованы в центральных газетах... А вот на деле выходит — в калошу садимся. Хоть в ладонях таскай этот проклятый бетон в центральные секции...

— В ладонях не в ладонях, но выход надо искать... Посоветоваться к тебе пришел... Бродит у меня в голове одна идейка... — Позолотин склонил крупную лохматую голову над листом бумаги.

Ермолаев вышел из-за своего стола, сел рядом с Георгием Степановичем.

— Понимаешь, Андрей Андреевич, дело-то такое... — Карандаш Позолотина уперся в листок бумаги: — По проекту мы должны пропустить реку после перекрытия вот в эти три донных отверстия. Сечение каждого пять метров высоты и шесть ширины. При скорости течения пять метров в секунду через каждое донное отверстие будет проходить в секунду сто пятьдесят кубометров воды. Значит, донные отверстия рассчитаны на прием паводка до четырехсот пятидесяти кубометров воды в секунду. Но ведь на нашей реке такого паводка не бывает. Я вот недавно просмотрел сводку гидрометеорологов... За последние двадцать лет максимальный расход воды в реке был четыреста кубометров в секунду. И то было в июле, когда, по всем признакам, лили непрерывные дожди и шло таяние горных снегов... Мы же будем перекрывать реку весной... Воды будет мало...

— Постой-постой, Георгий Степанович... Я, кажется, начинаю понимать, куда ты клонишь... — Ермолаев взял у Позолотина исчерченный лист бумаги. — Ты предлагаешь после перекрытия пропустить реку в два донных отверстия?

— Совершенно верно. — Позолотин кивнул головой и тревожно взглянул на парторга.

В глазах Ермолаева загорелись огоньки.

— Это идея. Это мысль. Надо ее обмозговать. С Рогулиным советовался? — спросил он быстро.

— Нет.

— Я позвоню ему?

— Звони.

Ермолаев снял телефонную трубку. Через несколько минут в партком пришел главный инженер. Поздоровавшись, он сказал глухо:

— Слушаю вас.

— Садись, Ануфрий Иннокентьевич, к нам поближе... Дело есть к тебе...

Рогулин сел напротив Ермолаева и Позолотина. Небрежно откинулся на спинку стула.

— Ты понимаешь, Ануфрий Иннокентьевич, нужна твоя инженерская голова, — сказал Ермолаев. — Мы вот тут с Георгием Степановичем разговаривали о будущем перекрытии. По всем признакам, не успеем к паводку уложить необходимое количество бетона. А это, знаешь сам, чем грозит...

— Ну-с?

— Так вот Георгий Степанович высказал мысль пропустить реку после перекрытия не в три, а в два донных отверстия...

После столкновения на кабель-кране Рогулин относился к Позолотину с подчеркнутой официальностью. Позолотин старался этого не замечать:

— Ты понимаешь, Ануфрий Иннокентьевич, как было бы здорово пропустить реку не в три, а в два донных отверстия. Третье донное отверстие сделаем позже, после перекрытия. Когда портально-стреловые краны установим... А сейчас все силы бросим на пятнадцатую и шестнадцатую секции... — Георгий Степанович показал главному инженеру чертеж. Рогулин молча пожевал губами и вдруг рассмеялся. Он смеялся тихо и оскорбительно.

Недоуменно поднял брови Ермолаев.

Позолотин, наоборот, нахмурил лохматые брови, смял бумажку.

Рогулин встал и, свысока взглянув на Позолотина, сказал:

— От вас-то я не ожидал, Георгий Степанович, такой технической наивности, — главный инженер укоризненно покачал головой.

— В чем? — удивился Позолотин.

— Как в чем? Мы же не пруд колхозный строим, а гидростанцию. Проект ее строительства утвержден центральным, повторяю, центральным институтом Мосгидэп. До нас здесь несколько лет люди работали, изучали режим реки. Если бы они нашли нужным, то запроектировали бы одно отверстие. А сейчас их три запроектировано. И нечего мудрить, дорогой мой Георгий Степанович. Мы же инженеры, а не дилетанты... Я понимаю, Андрей Андреевич человек мало компетентный в тонкостях гидростроительства. Он, естественно, мог... э-э-э... согласиться на подобное. — Рогулин щелкнул портсигаром, закурил. — Но вы-то... Вы...

Позолотин на какой-то миг растерялся. Как и всякий человек, предлагающий что-то новое и необычное, он чувствовал в глубине души опасение за свою идею. Все ли продумано, все ли взвешено, нет ли какой ошибки, промаха? Сомнение — родная сестра всякого творческого дела. И когда эту скрытую в глубине души неуверенность открыто поддержал и стал обосновывать Рогулин, Георгий Степанович заколебался. Действительно, может быть, наивно предлагать такой вариант перекрытия? «Черт... Наверное, не все взвесил...»— подумал он.

Но Позолотина неприятно удивило и поразило то, что Рогулин — интонацией, жестом, выражением лица — старался оскорбить, унизить и подчеркнуть несостоятельность его, Позолотина, как инженера. В глубоко запавших, зеленоватых глазах Ануфрия Иннокентьевича горел злой, недобрый огонек.

— Давайте по существу, — резко сказал Позолотин.

Рогулин, удивленно посмотрев на начальника строительства, пожал плечами:

— Я, кажется, по существу и говорю. — Тонкие губы надменно и презрительно изогнулись.

— Вы, значит, против?—Позолотин встал.

— Я говорю, что такая солидная проектная организация, как Мосгидэп, предусмотрела три донных отверстия. Я согласен с проектировщиками. При трех донных отверстиях мы гарантированы от всяких случайностей. Это главное. Я уверен, что проектировщики не будут менять проекта пропуска паводка, даже если вы и будете настаивать на этом. Никто не возьмет на себя такую ответственность. И еще одно обстоятельство само собой напрашивающееся... Зачем торопиться? У нас есть установленные правительственные сроки. У нас есть план. Зачем спешить?

— Но ведь мы приняли социалистическое обязательство по досрочному пуску гидростанции... — вмешался Ермолаев. — Перед всем народом слово дали...

— Ах, боже мой, — устало махнул рукой Рогулин.— Ну, поспешили, ну, не выполним их... Судить, что ли, за это будут... Ведь эти обязательства чисто... э-э-э... как вам сказать, носят такой отвлеченный, психологический, что ли, характер... Да и согласитесь, Андрей Андреевич, мало ли мы на своем веку принимали обязательств, которые не выполняли... Много, знаете ли, объективных причин. Сначала погорячишься, пообещаешь, а потом глядишь — сорвался... У нас такая объективная причина налицо. Разве мы думали, когда брали обязательства, что портально-стреловые краны не придут вовремя к нам на стройку? Так вот... Всегда можно сослаться на эту причину... И не на нее одну... — Он повернулся к Позолотину. — А разве сами вы, Георгий Степанович, не рассказывали о том, что министр говорил? Насколько мне запомнилось, он сказал: досрочный пуск нашей гидростанции должен быть не самоцелью, а следствием всей работы коллектива... Я глубоко согласен с ним...

«Хитер», — подумал Позолотин.

— Где же выход из создавшегося положения? — спросил Ермолаев.

— Я считаю, нет смысла мудрствовать лукаво. В проекте три донных отверстия — значит, все ясно... Их должно быть три.

— Вы боитесь риска. Боитесь ответственности, — резко бросил Позолотин.

— Не боятся только дураки.

— Возможно. Но я считаю, наш разговор на этом не закончен. — Позолотин пошел к двери.

— Постой, Георгий Степанович, — остановил его Ермолаев. — Я вижу, дело тут серьезное. Давайте договоримся так. В ближайшие дни проект перекрытия реки с пропуском воды через два донных отверстия мы предложим на рассмотрение техническому совету. Ты не против, Ануфрий Иннокентьевич?

— Что ж, пожалуйста, — дернул плечами Рогулин. — Как говорится, одна голова — это голова, ну, а две головы — это две головы...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Борис Игнатьевич Джось зачастил в гости к Рогулину. Приходил, прихватывая с собой бутылку коньяка, чтобы не вводить хозяина в расходы, и садился на свое излюбленное место у разукрашенного тропическими узорами замерзшего окна.

Сегодня он пришел не один. С шумом и громким хохотом вбежала в комнату Ксения. Сверкнув частоколом золотых зубов, она сморщила хорошенький носик, зажмурилась от яркого электрического света. Стряхивая с шубы хлопья снега, скороговоркой стрекотала:

— Ой... Борька совсем сдурел. Всю в снегу вывалял.

Ксения смеялась, но ее кошачьи серые глаза уже успели заметить, что в доме Рогулина не все в порядке. Марина выглядела бледной и усталой. В ее больших голубых глазах стояли слезы. Ануфрий Иннокентьевич, помятый и небритый, валялся с газетой на диване и был мрачнее тучи.

— Подъем, товарищ Рогулин. — Ксения как была в шубке, припорошенной снегом, так и навалилась на Ануфрия Иннокентьевича.

— Ну вот, нашла мальчика. Этого мне только не хватало... В кошки-мышки играть... — пробурчал хмуро Рогулин. Попытался подняться. Но не тут-то было. Не пускает баба... Большая, грузная, она навалилась на Ануфрия Иннокентьевича грудью, защекотала его под костлявые бока. Ну, не нахальная ли...

— Смотри-ка... Не ревнивый... — Ксения залилась смехом. — Вот бы мне такого...

На какой-то миг Марина позавидовала этой веселой, беззаботной женщине. Все-то ей трын-трава.

Марина отправилась на кухню — приготовить закуску. За ней, каблучками топ-топ, Ксения. Плечиком к хозяйке прижимается, голубкой воркует. А кошачьи глаза в лицо Марины впились. Любопытство раздирает: как Мариночка с Ануфрием Иннокентьевичем живет.

Борис Игнатьевич сел на диван, положил руку на плечо Рогулину.

— Чего это ты, Ануфрий Иннокентьевич, кислый такой, будто тебя неделю одной горчицей кормят?

— Будешь кислый, когда ни на работе, ни дома покоя нет.

— А что дома? — тревожно спросил Борис Игнатьевич. — Марина что-нибудь не того? Да? Я могу с ней поговорить.

От участливого голоса и теплой руки на плече размяк Рогулин.

— Знаешь, Борис, не думал я, что так к Марине привяжусь. А она вот... — Он огорченно вздохнул. — Мне уж сейчас нечего искать. Пятый десяток землю щупаю ногами. Первую жену и детей потерял по своей глупости. Любил я в молодости с каждой встречной бабенкой путаться. А жена у меня была женщина самостоятельная и строгая. Смотрела, смотрела на мои фокусы и дала мне отходную. Двое парней — сейчас уже в институтах учатся — и разговаривать со мной не хотят. За мать обижаются... — Покачал головой: — Старое отрублено навсегда.

— А что Марина? — нетерпеливо спросил Борис Игнатьевич.

— Уходить собирается...

Джось крякнул и зашагал — руки в брюки — по комнате.

— Поговорю... Поговорю... — начал было он, но умолк. В комнату вошла Ксения.

— Не скучаете? — сверкнула она золотозубо. — Мы сейчас, мигом.

Она убрала с круглого стола газеты. С тарелками в руках вошла Марина. Через несколько минут все сидели за столом.

— Предлагают тост за нашу семейную дружбу, — поднял рюмку Борис Игнатьевич.

Чокнулись. Выпили. Ксения и Марина сидели рядом. Рогулин смотрел на них и удивлялся, как могла жизнь свести и посадить рядом этих двух совершенно непохожих, неподходящих друг для друга женщин. Ксения, развязная, резкая, со своими вызывающе сверкающими золотыми зубами и хитрой улыбкой, казалась вульгарной рядом с изящной, голубоглазой Мариной. Близкой и бесконечно далекой Мариной...

За разговорами время шло незаметно. Бутылки коньяка хватало только на два круга. После второй рюмки Рогулин взглянул на часы.

— Ух, ты... Скоро девять... Я сейчас... Пока магазин не закрыли...

Едва закрылась дверь, Джось неторопливо повернулся к Марине, прищурился.

— Так ты что, детка, решила, значит, всех нас завалить? — От улыбающегося, добродушного человека в нем ничего не осталось. В больших бараньих глазах Джося угроза.

— Нет. Откуда это ты взял... — опешила Марина. Догадалась: Рогулин все рассказал Джосю.

— Ты что, Борис, сдурел? Зачем клеишь девке разную ерунду? — заступилась Ксения и потянулась вилкой к маринованному огурчику.

— Заткнись... С тобой не разговаривают, — отрезал Джось. — А ты знаешь, Марина Александровна, о том, что твой муженек, как никогда, сейчас нам нужен? — Он наклонился к Марине. — Да, как никогда... Только вчера застопорили при выходе из шахты одного нашего человека... Поймали с поличным... Золото было в пустотелом корпусе часов... Если начнется колоться на следствии,

то продаст всех нас... Остался еще один в шахте... Но и за эту рябую тварь я не ручаюсь. Там, гляди, очередь и за нами... Только прикрываясь твоим главным инженером, можем мы сохранить свои шкуры... Я не хочу последние двадцать лет своей жизни прозябать за колючей проволокой. Понятно?

— Кому охота... — прожевывая огурец, дернула плечом Ксения.

— Не путай нам карты, — глухо сказал Джось.

— А ты мне не угрожай, — поднялась Марина. — Я не боюсь тебя.

— Сядь, — дернул ее за руки Джось, — не визжи... Никто тебя еще не режет...

— Ты так! — неожиданно вспылила Марина. — Я помогу тебе получить то, что заслужил... Ты не хочешь, бандитская твоя рожа, отсидеть положенный тебе срок и затолкал для этого меня в постель к человеку, которого я не люблю...

— Ха-ха-ха, — захохотал Борис Игнатьевич, — она, видите ли, не любит его...— и, грозно сдвинув брови, выдохнул: — Молчи, дура.

— Да, я дура... Сейчас только поняла это... Вокруг столько хороших людей. Жизнь вокруг кипит открытая, честная, светлая... А я связалась с вами — змеями ползучими... Нег. Хватит. — Марина стукнула кулаком по столу. Рюмка скатилась со стола и дзинь! — вдребезги. — Хватит!

Марина упала на диван и зарыдала. Все тяжелое и мрачное, что скопилось на душе за эти несколько месяцев жизни с нелюбимым человеком, за время связи с шайкой воров и авантюристов, вырвалось наружу. Мелко тряслись и вздрагивали от рыданий плечи женщины.

— Я всех вас продам... Завтра же... Мне не страшна тюрьма... Пусть лучше она, чем так жить... И Рогулину все расскажу про вас... Расскажу...

— Ты что, Маришка, сдурела, — бросилась к ней Ксения. — Опомнись. Подумай, о чем язык-то треплешь...

— Ну ладно, Марина. Успокойся, — примирительно сказал Джось. — Сейчас не время, да и не место об этом разговаривать. Приберись, а то вот-вот Рогулин придет.

И действительно, в сенях стукнула задвижка.

— Никак снег повалил? — выглянул на кухню Джось...

— И снег идет, да и ветер разыгрывается, — отозвался Рогулин.

— Хорошо... — крякнул Джось и покосился на Марину, — хорошо...

А та — не хватало, чтобы Ануфрий Иннокентьевич ее заплаканную увидел — прибрала волосы, подкрасила припухшие губы. Но Рогулин все же заметил, что гости и Марина встревожены. Ага... Значит, был какой-то неприятный разговорчик.

«Наверное, Борис Игнатьевич Марине внушение делал, — подумал он. — И правильно... Может, поможет... Ну, а слезы не беда... Высохнут...»

Потирая холодные руки, Ануфрий Иннокентьевич сел за стол.

— Что ж, повторим тост за семейную дружбу, — предложил он.

— Конечно, за семейную дружбу, — промурлыкала Ксения и тоже к столу, к маринованным огурчикам—уж больно они вкусны.

Вина и водки на столе — пей — не хочу... За окном буран.

— Люблю в такую погоду у мирного очага сидеть, — в глазах Джося мороз, а язык свое треплет. Откинулся на спинку стула. Почему бы и не пофилософствовать. — Где-то, кто-то сейчас мерзнет, преодолевает, как любят выражаться умные люди, трудности, борется с опасностями, а тут сидишь и наслаждаешься радостью бытия. Чертовски замечательная штука эта жизнь-то наша человеческая? А?

— Не всегда, — закряхтел Рогулин и потянулся к бутылке «столичной». Буль-буль водочка по рюмкам. Хорошо. И закусочка рядом. Протяни руку — и, пожалуйста, — балычок осетровый. Не хочешь — кушай на здоровье колбаску, а вот селедочка, не какая-нибудь — тихоокеанская. Не нравится — вот баночка шпрот в масле. Вкуснота-а. И вдруг вспомнил Ануфрий Иннокентьевич — глаза загорелись. Ээ, раз такая пьянка — режь последний огурец:

— Сюрпризик у меня для вас, дорогие гостеньки....

— Ну-у-у-у... — вытянул губы Борис Игнатьевич.

— От любопытства умираю, — засмеялась Ксения и тихо-тихо Марине: — Зря ты на своего обижаешься... Славный он...

А Рогулин быстро в сени. Оттуда бегом. Холодно. Запнулся о порог — фу ты, старая кочерга. Поднялся — в руках свежемороженая, здоровущая, килограмма на три, рыбина.

— О-о-о... — застонал от удовольствия Борис Игнатьевич: — рыбку свежую обожаю...

— Да это не просто рыба... — засуетился хозяин: — Это же омулек. Байкальский...

— Да ну... — приподнялся Джось.

— Друзья на днях подбросили... Сейчас я расколоточку мигом соображу...

И они пили. И Марина, и Ксения, пил и Рогулин. Только Борис Игнатьевич, зажав рюмку в большой кулак, нет-нет и опрокидывал незаметно ее содержимое на пол. Ему нельзя было много пить... Ему надо сохранить ясность ума и свежие силы... Надо.

Гости собрались уходить около полуночи. Рогулин, пошатываясь, помог Ксении одеться. Проводил ее и Джося на крыльцо. На улице юлой крутилась, бросалась снегом пурга. Черный мрак придавил поселок.

— Ну вот, мы опять с тобой вдвоем, — закрыв двери, подошел Рогулин к Марине. Она отстранилась, отодвинулась.

Ануфрий Иннокентьевич обиженно поджал губы.

— А не пора ли нам объясниться до конца?

— Говори, — равнодушно пожала плечами Марина.

— За что ты меня мучаешь? Я же люблю тебя... Хочешь, уедем отсюда.

— Нет, — отошла Марина к окну.

— Я все брошу... И стройку, и работу, и всех этих опостылевших мне людей. — И громко на всю комнату закричал: — Я устал от жизни... От борьбы... От страданий... Без тебя я не проживу...

Марина печально улыбнулась.

— А мне... — тихо проговорила она, и в глубоких глазах ее загорелся живой огонек.— Мне сейчас нужен весь белый свет... Все люди... Я как будто выхожу из мрака... Еще немного, и я увижу свет и вздохну чистым, свежим воздухом... — Она обхватила голову руками. — Какой страшной и тяжелой жизнью я жила... О, боже мой... Боже мой...

— Ну, чего тебе не хватает? — нервно спросил Рогулин.

— Прости меня, Ануфрий, но ты мне не помощник и не друг в жизни. Тебе нужна моя красота. Тебе нужен под старость человек, который берег бы твой покой. И нисколечко тебя не смущает, что я намного моложе. Ведь ты губишь мою и так исковерканную жизнь...

Рогулин, скривив губы, усмехнулся. Лицо его стало злым:

— Странно. Почему же я гублю твою жизнь? Насколько мне помнится, ты сама ко мне пришла... — Пьяные, мутные глаза налились кровью. — Женщина, которая сама ложится в постель мужчины, не имеет права обижаться на него...

Марина укоризненно покачала головой:

— Зря ты, Ануфрий, стараешься оскорбить меня... Это сделать трудно после того, сколько мне пришлось пережить... Но если ты уж затеял разговор, я тебе все скажу. Правду скажу...— Она подошла к Рогулину и взглянула ему прямо в глаза.— Да, не люблю я тебя... Завтра ухожу из этого дома. Я чувствую, что во мне есть сила и желание жить другой жизнью — честной и чистой.. Я хочу жить так же, как живут сотни и тысячи людей вот здесь, на этой стройке... Я хочу работать рядом с ними. Я вот приглядываюсь к тебе с первых дней нашей жизни и удивляюсь твоей беспомощности и инертности. Ты плывешь по жизни, как бревно по реке. Ты весь в старом. Все лучшее ты растерял в прошлом. Тебя ругают — ты обижаешься на людей, брюзжишь на них. Требуют работать лучше — ты отмалчиваешься и ничего не делаешь. Тебя обманывают — ты и этого не замечаешь. А жизнь... Посмотри внимательно вокруг, и ты увидишь многое. Даже я, простая женщина, запутавшаяся и тоже опустившаяся, сейчас понимаю, что жить так дальше нельзя. Нельзя... Новая жизнь на земле утверждается. И смотреть на нее со стороны — это обречь себя на гибель. Идти против нее — тоже гибель.

— У меня своя дорога...— хмуро сказал Рогулин.

— Может быть. Но мне с тобой не по пути... И с такими, как Борис Игнатьевич, тоже. Хоть вы и разного поля ягоды, но у вас много общего... Оба вы мешаете жить людям, путаетесь у них под ногами...

— Ерунда. Все это ерунда,— перебил ее Рогулин.— По-твоему выходит, что я инженером стал по ошибке...

— Не знаю, ошибка это была или нет. Но для меня слово инженер сочетается с понятием культурный, умный, передовой человек. Может быть, ты и был таким когда-то. Сейчас ты тряпка как человек, а как инженер ты просто несостоятелен. Водка и женщины — вот твой смысл жизни. Это им ты обязан тем, кем стал...— Марина устало опустилась на стул.— Ты и сейчас даже не знаешь, в каком омуте, в каком ужасном болоте находишься...

— Ерунда. Никакого болота нет. Ты просто несешь разную чепуху. Ты пьяна... Зачем ты приплела Бориса Игнатьевича? Я чихал на Джося. Он цыпленок против меня...

— Цыпленок? — глаза женщины сверкнули. «Сказать или нет?» Но то ли выпитое вино, то ли желание одним ударом разрубить наметившийся разрыв, бросили ее вперед. Она резко поднялась, подошла к Рогулину.

— Слушай, Ануфрий. Я тебе скажу сейчас ужасную правду. Я обязана это сделать... И делаю это только для тебя... Ты мужчина и мужественно выслушай все и реши, как

поступить. Этот Борис Игнатьевич никакой мне не дядя. Это крупный государственный преступник и авантюрист.

Рогулин отшатнулся, побледнел. На пьяном его лице выступили капельки пота, руки задрожали.

— Ты врешь!

— Нет. Первой попала в его сети я, а потом меня он использовал как приманку и поймал тебя...

— Чем... Чем он занимается? — прохрипел Рогулин.

— Он скупает на приисках золото и через своих людей сплавляет его за границу.

— При чем здесь я?

— Часть этого золота отправил ты.

— Лжешь. Я не делал этого...

Марина взяла со стола пачку папирос и закурила.

— Вспомни, сколько раз мы ходили с тобой на почту и от твоего имени посылали посылки моим братьям.

— Кажется, раза три или четыре... — промямлил Рогулин.

— Так вот... У меня нет братьев. Это посылки Джося. Они с золотом и отправлены его друзьям.

— Черт... — схватился за голову Ануфрий Иннокентьевич. — Но зачем... — его кадык судорожно вздрогнул, дрожащие губы прошептали:

— Зачем же понадобился ему именно я?

Марина пожала плечами:

— Он считает, что ты на стройке и вообще здесь на севере заметная фигура. Дружба с тобой спасет его от лишних подозрений. А сейчас, когда ты уже сам втянут по существу в хищение золота, он будет этим шантажировать тебя. По его планам, ты обязан спасать его в случае провала. Иначе он выдаст тебя и скажет, что ты его соучастник.

— Ты шутишь,— по лицу Рогулина пошли лиловые пятна. — Как же мне теперь быть, Марина? Я погиб... Что делать?.. Помоги мне... Помоги...

Марина улыбнулась.

— Что делать? В таком положении надо только бороться. Завтра я ухожу от тебя. Завтра же я пойду в милицию и обо всем расскажу.

— Но ведь с ним заберут и меня?

— Не только тебя, и меня тоже, Ксению и еще кой-кого.

— Нет, нет... Ты не должна идти в милицию... Я буду скомпрометирован... Я лучше уеду отсюда... Нет, нет... Ты не ходи в милицию... Ты погубишь меня... Я уеду...

Марина с отвращением посмотрела на человека, который несколько минут назад объяснялся ей в любви. Не сожалея ни о чем, она швырнула ему в лицо резко и жестоко:

— Жалкий ты трус...

— Помоги мне, Марина... Я погибну...

— Нет.

Понял Ануфрий Иннокентьевич — она сделает то, что решила. Упрашивать, умолять — бесполезно. Он налил полный стакан водки и, судорожно глотая, выпил. Марина ушла в другую комнату. Слышно было, как щелкнул в двери замок.

Рогулин сел за неубранный стол. Черт... Мысли бились, как птицы в клетке, судорожно цыпляясь друг за друга, ища спасения. Плохи, ах, как плохи дела... В эти минуты вспомнил Ануфрий Иннокентьевич все, что произошло с ним за последние годы. Да... Сейчас обстоятельства сложились так, что казалось, жизнь загнала его в угол и последним ударом готовится нокаутировать... Проснувшаяся — не поздно ли!— совесть напоминала о прошлых далеких грехах. Доносил из зависти на своих товарищей? Доносил. Знал, что они честные? Знал. Ломился, работая обоими локтями, к высокому посту? Ломился. И не брезговал ничем... Обманывал всех, от детей и жены до власти? Обманывал. Считал, что время такое — не обманешь, не проживешь. И вот, пожалуйста... Рамол, не разоблачили, а как-то сам собой попался... Жизнь, что ли, такая стала... Черт. Тут не выпутаешься...

Рогулин поднялся, выдвинул ящик письменного стола, достал пистолет. Грозно уставилась в глаза черная дырка ствола... По спине побежали мурашки. Бросил пистолет на стол. Да... Для этого тоже нужна смелость.

Ануфрий Иннокентьевич налил в стакан водки.

«Может, вывернусь из этой паршивой истории. Вот Марину... Ее надо уговорить молчать...» Он выпил водку и упал на диван, уткнувшись лицом в подушку...

...Было около трех часов ночи. С теплой постели тихо и осторожно встал человек. Он торопливо оделся. Прислушался к тяжелому дыханию спящей женщины... «До утра, кокрова, не шелохнется». Неслышно выскользнул на улицу. Огляделся. Поселок спал. Пурга, попробовав свои силы с вечера, сейчас разыгралась не на шутку. Ветер хлестал прижатые к земле дома, гнал тучи мелкого, колючего снега. Призрачной тенью вдоль заборов, между сугробами, подкрался человек к дому Рогулина. Высоко до окна... Нука на завалинку... Стукнулся головой обо что-

то... Черт! И припал к щели между ставнями. Ага. Сам на диване... Она закрылась... Пистолет на столе.. Понятно.

«Рассказала, значит, сука... Ну что же...» — Теперь Борис Игнатьевич знает, как поступить и что делать. Надо спасать свою шкуру». Джось постоял, прижавшись к шершавой стене дома, прислушался — ни звука. Оглянулся — пустынно. Пора! Он подошел к сеням и набросил на петлю наружный крючок.

Торопливо обошел дом.

«Спите, милые... И о госте плохо не вспоминайте...» — Достал из бокового кармана дохи бутылку. Раскупорил ее. Дернул носом: бензином завоняло... Быстро-быстро выплеснул бензин на сухие стены. Вот и спички в руках. Головой туда-сюда. Никого. Помоги, ветер-ветерок...

...Через несколько минут он лежал рядом с теплой, чуть похрапывавшей Ксенией. Прикрыв глаза, напряженно вслушивался в подвывание ветра. Одного желал Борис Игнатьевич в эти минуты: чтобы как можно дольше не завыла, раздирая ночную тишину, пожарная сирена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

К дому номер три по улице Чехова Георгий Степанович подошел под вечер. Обыкновенный двухэтажный, восьмиквартирный дом из не успевших еще потемнеть брусьев. Рядом гудят, качаются от ветра с редкими метелками веток на кронах сосны. У крыльца возятся ребятишки.

— Вы к кому, дяденька?— подбежал и уставился на Позолотина сопливый, забрызганный веснушками мальчуган.

— Любецкий... Художник где-то тут живет?

— Ааа... Это на втором этаже. Вторая дверь направо. У них еще девочка Иринка... Да? Эй, Мишка, подожди,— завопил вдруг, не договорив, мальчуган и скрылся между сосен.

Тревожно, неспокойно на сердце у Позолотина. Никогда он не думал, что вот так придется свидеться со своей семьей. Скверно... Как все сложилось скверно...

Позолотин постучал в квартиру номер шесть. Легонько толкнул дверь.

— Да. Войдите...

Он узнал ее голос. Она стояла спиной к двери и, перебросив через плечо полотенце, вытирала вымытую посуду. Дверь скрипнула. Тамара оглянулась и, увидев на пороге Георгия Степановича, вздрогнула. Тарелка выпала из ее рук.

— Здравствуй... Тамара...

— Здравствуй...

— Не ждала... Приехал вот... Решил попроведать...

Тамара Николаевна растерянно засуетилась.

— Раздевайся. Садись.

Они не виделись полгода. Противоречивые мысли терзали женщину все это время. Тамара то плакала безутешно, жалея о случившемся, то успокаивалась и жила, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Любецкий относился к ней и к ребенку хорошо. И все же она часто вспоминала о Георгии Степановиче. Неясное, но упорное сомнение грызло ее душу. Кто знает настоящую правду жизни? Никто. Любецкий ли ее счастье? Она его любит. Любит? Уж не внушила ли она это себе... Ведь бывает так... Но почему же так забилось сердце, когда она увидела Георгия Степановича? О чем говорить с ним, как держать себя? Выручила дочка. Едва успел Позолотин снять пальто и присесть на стул, в комнату вбежала Иринка.

— Папочка. Миленький... Родненький... — Она повисла у него на шее и забилась в глухих рыданиях. Он гладил ее белокурую, в лентах головку и целовал заплаканное лицо. Горький непрошеный комок подкатил к горлу.

— Ну, успокойся... Успокойся, детка... Расскажи, где была, с кем играла?

Иринка вытерла кулачками глазки, засмеялась:

— А я в школу хожу. В первый класс. Там хорошо. Только Валерка Воробьев за косички дергает. Ты совсем приехал, папочка? А мы с дядей Ароном в лес ходили. Кролика там поймали. Беленький такой, пушистый...

— Не кролика, а зайчика,— поправила ее мать.

Георгий Степанович смотрел то на Тамару, то на дочь.

«Как начать... Как спросить Тамару о ее жизни. Не жалеет ли о случившемся?»

— Папочка,— теребила отца за рукав Иринка.— А у нас сегодня в школе какой-то смешной урок труда был.

— Почему смешной?— улыбнулся Георгий Степанович.

— Да мы ничего не делали.

«Зачем, зачем он пришел? Ведь уж забывать стали и я и дочка. Скорей бы ушел, не мучил. Ведь все уж... Навсегда расстались. А жалко Георгия. Похудел, осунулся...

И глаза грустные, тоскливые». Тамара с болью и тревогой смотрела на Георгия Степановича.

— Папочка, а от тебя одеколоном пахнет. Покатай меня на спинке, как дядя Арон,— лопотала Иринка. И вдруг, сделав круглые глаза, зашептала:

— Папочка, а у нас во дворе есть собака. Мы все ее любим.

— Как же ее звать?— погладил Иринку по головке отец. Девочка задумалась.

— Ой... А я забыла, какая у собачки фамилия.— И, перескакивая с одного на другое, торопливо затараторила:

— Папочка. А мы вчера концерт великого мальчика слушали. Как, мамочка, его звать?

— Робертино Лоретти.

— Да... Ой, как хорошо пел. Папа, папа... По радио передавали, что в Москву король приехал. Это правда?

— Правда.

— Папулька, а Бетховен за нас?

— За кого?

— За нас? За русских?

Георгий Степанович рассмеялся.

— Бетховен умер давно... Он был за людей... За всех хороших людей на земле...

Георгий Степанович решился. Повернулся к Тамаре и прямо взглянул ей в глаза:

— Домой не собираешься?

Тамара Николаевна вздрогнула. Тонкие черные брови взлетели вверх. В глазах мелькнуло смятение. Она не успела ответить. На кухне хлопнула дверь.

— Томочка, ты дома?

— Дома, Арон. Я не одна...— и покраснела.

Вошел Арон Павлович. Увидев Позолотина, смутился...

— Добрый вечер.

Георгий Степанович кивнул головой.

Наступило тяжелое молчание. Ничего не оставалось Георгию Степановичу, как одеться и уйти. Чужой и бесконечно далекой сразу стала для него Тамара, как вошел в комнату этот высокий, красивый мужчина. Куда только исчезли ее смущение и натянутость. Да... Видно, действительно, ей с ним хорошо...

— Ну что ж... Будем ужинать.— Арон Павлович посмотрел на Тамару. Георгий Степанович встал. Взял на руки дочь. Поцеловал ее и бережно опустил на пол.

— Пойду, — а сам темнее ночи. Надел пальто.

— Может быть, останешься... Покушаем...— нерешительно предложила Тамара. Но в глазах другое: «Уходи... Только быстрее уходи... Так лучше...»

— Папочка, ты скоро к нам опять приедешь? А?

— Не знаю, Ириночка. Не знаю...

— Возьми меня с собой...— и заплакала горько, навзрыд, вцепившись руками в полу отцовской дохи. Эх... Знал бы Георгий Степанович, какая беда случится вскоре... Схватил бы свою родную Иринку, увез — умчал бы подальше и глаз не сводил... Но кто проникнет в день грядущий? Кто предскажет его беды и радости.

— Тебя с собой взять?— переспросил он Иринку.— Ты же доченька, учишься... Школу пропустишь...— А у самого на сердце кошки скребут. Эх... Ребенка жалко. Он-то при чем....

— Вы бы, Георгий Степанович, почаще бывали у нас... И ребенок бы не скучал...— сказал Любецкий.

Георгий Степанович глянул на него исподлобья тяжело, недобро. И завертелись на языке готовые сорваться злые, оскорбительные слова.

«Негодяй... Еще советы даешь... Сволочь...» — От всепожирающей ненависти к этому выхоленному, приглаженному человеку потемнело в глазах. Убил бы... И рука не дрогнула... Змеей ползучей вполз в дом... Обокрал... На всю жизнь обокрал.. И хоть бы что... Сидит улыбается... Ух, негодяй... Но сдержался. Промолчал. Да и что слова...

Осторожно отодвинул Иринку от себя. Мать взяла дочь на руки и тоже вся в слезах, всхлипывая, унесла ее в другую комнату.

Позолотин вышел на улицу. В горячее лицо пахнул тугой, холодный ветер с Витима. Было уже темно. Мела поземка.

Георгий Степанович закурил. Руки дрожат. Черт. Нервы... Не спеша пошел по узенькой, вихляющей вправо-влево тропинке к гостинице. Пусто на душе. Но здесь, под черным небом, среди пахнувшего хвоей сосняка и мерцающих вокруг огней, все показалось проще. Успокоил сам себя.

«За работу... Скорей домой, на стройку... Там в делах забудется все...»

— Плохо-плохо... Плохо-плохо...— скрипел под ногами снег.

«Почему же Тамара плакала?— подумал Георгий Степанович. — Кажется, радоваться ей надо... Да... — вспомнились слова Ермолаева:— «Не была, значит, она тебе никогда настоящей женой». А, пожалуй, прав старик. Надо кончать думать об этом. Надо кончать...»

Домой в этот вечер Георгий Степанович не уехал.

— Дорогу перемело,— сказал шофер.

А чуть свет Позолотина разбудила дежурная гостиницы. Сказала шепотом:

— Вас к телефону.

Торопливо оделся. Вышел в коридор. В трубке хрипела, стонала непогода. Донесся далекий глухой голос Ермолаева:

— Срочно возвращайся... Погиб Рогулин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Покойника некому было оплакивать. Ни родных, ни близких. Гроб стоял в клубе — в большом зрительном зале. Вынос тела отсюда. Приторно сладко пахло оттаявшей пихтой — тонким смолистым ароматом тайги. Крышка гроба плотно заколочена — тело обгорело, обезображено огнем. Среди венков большой портрет покойника. Рогулин на нем молодой, красивый. Совсем не похож на того, что три дня назад, сутулясь и волоча ноги, ходил по котловану...

Смерть многое прощает. Люди проходили мимо гроба, склонив головы. Мужчины молчали. Женщины тяжело вздыхали и украдкой вытирали набежавшую слезу.

По поселку шепот, шепот...

— Марина-то Александровна жива?

— Ханула красавица-то... Обгорела, говорят, сильно. До сих пор в память не пришла... Ай... яй... яй...

Люди ахают, охают и сокрушенно качают головами...

Марину вытащили из огня. Она была без сознания. Днем, после ночного пожара, из больницы позвонили в партком строительства.

— Пострадавшей нужна кровь... Да... много крови... Но подойдет только от тех людей, которые когда-то имели ожоги...

Об этом срочно объявили по местному радио. А через час к больнице подкатил автобус. В нем полтора десятка людей — желающих отдать свою кровь...

Тело Рогулина вынесли после полудня. Улицу затопила многолюдная толпа. Лица скорбные. Стонет траурной мелодией оркестр. Похоронная процессия вытянулась на километр. Она медленно, как змея, заползает по извилистой дороге на Мам-гору. Там кладбище.

Каждый идущий за гробом думает о своем...

«Странно,— размышляет Маратай.— Сейчас вот все опечалены. Лица людей траурны. Кто искренне, кто так — формы ради, но все жалеют Ануфрия Иннокентьевича. И так всегда... Покойникам много внимания... Даже слишком много. Но почему же, живя и здравствуя, люди часто равнодушны друг к другу, а нередко непростительно грубы и жестоки? Не лучше ли для всех нас быть внимательней, добрее друг к другу при жизни... А мертвый есть мертвый... Ему и почет и поругание — все одно». И Маратаю хочется, чтобы то, о чем он думает, поняли все люди. Да... Как бы они тогда были счастливы...

Кладбище в заиндевевшем, запорошенном снегом, густом березняке. Могил здесь немного — десятка полтора. Среди березняка черным провалом зияет свежая, только вчера выкопанная яма...

А в сорока километрах, в районной больнице, на широкой койке стонет, мечется Марина.

— Нет, нет. Я не хочу умирать... Пить... Дайте пить... Жить... Мама, мамочка, спаси меня... Жарко... Пить...

Около пострадавшей суетится медсестра Дора. Еще, кажется, совсем недавно выхаживала она Маратая, спасала его от беды, а сама не убереглась — влюбилась в быстроглазого, добросердечного парня. Да и он нежно привязался к девушке. Марину Александровну Дора тоже хорошо знала, а в последнее время даже подружилась с ней. Но как помочь ей... Пить-то она даст... А жить...

— Успокойся, милая... Тебе надо лежать тихо...— ласково шепчет Дора.

Приходят врачи. Их двое. Они осторожно смазывают мазью пузырьки ожогов. И снова корчится, вздрагивает от страшной боли измученное, истерзанное тело женщины.

Отойдя в сторону, старшая из врачей говорит своей напарнице:

— Не нравится мне состояние больной. Вот уже три дня она не приходит в сознание. Вы, Мария Ивановна, останьтесь сегодня на ночь дежурить около нее.

— А ведь, гляди, и скончается, так мучаясь...— шепчет, всхлипывая, Дора.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В общежитие ввалились гурьбой. И сразу стало шумно. Кричат, смеются... Хорошо пробежались по тайге! Хорошо. Застучали в коридоре мерзлыми ботинками, лыжами, палками... Крайняя дверь приоткрылась. Из нее выглянула взлохмаченная голова.

— Вы, идиоты. Нельзя ли потише...

— Опять дрыхнешь, дядя Прокопий. Сейчас мы тебя расшевелим,— засмеялся Андрей и взялся за дверную ручку.— Братцы, давайте снега... За воротник ему...

— Брысь,— зло толкнул его дверью Прокопий.

— Чего злишься... Шуток не понимаешь...

— Шуточки-прибауточки... А в рыло не хочешь? — набычился Прокопий и лютой ненавистью взглянул на Андрея.

— Конечно, нет.

— Можешь схлопотать...

Прокопий выругался и захлопнул дверь.

Парни недоуменно поглядели друг на друга, пожали плечами. Не желая ссориться с невыспавшимся пожилым рабочим, они молча разошлись по комнатам. Но настроение им Прокопий все же испортил.

Андрей пока умывался, ходил с ребятами в столовую и переодевался, думал о Прокопии. Этот рабочий в бригаде человек новый. С приисков пришел. Уже около месяца на стройке, а все особняком держится. Что за человек... Странный какой-то...

А Прокопий в это время тоже собирался на работу. Он, кряхтя, натягивал поверх ватных штанов брезентовые шаровары и, брызжа слюной, матерился.

— Дотянуть бы только до тепла. Рвану отсюда... Только меня и видели... Сволочи... А этот красавчик играть вздумал...— и заскрипел от злобы зубами.— Я ему поиграю...

— Кто тэбя обижает, Проня,— выглянул из-под одеяла его сосед, черный, как головешка, Турсунбай Куламбеков — арматурщик с четвертого участка.

— Меня обидишь... Не родился еще тот... Сам глотку порву...

— Зачем сэрдиться... Скоро вэсна... Лэто... Ташкэнт поэдэм... Урук кушат будэм. Аллапала... — защелкал языком Турсунбай.

— А деньги где? — насупился Граненый.

— Дэнги мэлочь... Будем работать — дэнги будут...

— Держи карман шире... Тут, кажется, заработаешь.

— Зачем зра болташь... Я двэсти — трисга рублэй получаю... Плохо? Да?.. Большой дэнги...

— Эх, ты, Турсунбай Балбесович,— усмехнулся Прокопий.— Две сотняги — большие деньги... Гляжу я на тебя... Ты вот пожрал, выспался и — доволен. А у меня душа размаха просит. Простор ей нужен.

— Зачэм здэсь живэшь... — хитро прищурился Турсунбай.— Амэрику лэти... Большой бандит будэшь — большой дэнги получэшь.

— Дурак,— зло плюнул Прокопий.— Я и без Америки деньги достану... Большие деньги...

Он сердито хлопнул дверью, вышел на улицу. Разговор с Куламбековым растревожил сердце Прокопия. Еще мрачнее, отвратительнее, противнее показалась ему стройка, люди в серых брезентовых робах и заснеженные крутые горы. Мимо со смехом пробежала группа девчат. Торопились в столовую. Смех этот еще сильнее разозлил Прокопия.

— Им смешно...— плюнул он.— Патриоты...

И хотелось ему от злой, зеленой тоски, от бессилия понять, что происходит вокруг, — завопить на всю эту промерзлую, простуженную землю. Завопить так, чтобы качнулись горы и треснуло небо. Но голос его тих и слаб. Нельзя ему кричать... Нельзя. Да и кто услышит? Кто поможет? Кто поймет? И еще круче нависли над глубоко запавшими, выцветшими глазами лохматые брови. Так и шел он на работу, понуро опустив голову. Никто не видел у него на лице улыбки. Но заметили люди — недобро, ох, недобро катаются по небритым, изрытым оспой щекам этого человека желваки... И стороной его обходят... Черт с ним...

Прокопий остановился на берегу, глянул в котлован.

«Надо сегодня вечером зайти к Джосю. Пусть подбросит деньжат. Душа чешется... Выпить просит»,— подумал он.

И вдруг сзади голос:

— Чего это ты, дядя Прокопий, такой мрачный? Неприятности, что ли какие?

Оглянулся: «Ах, опять этот бригадир».

— Что ты, дорогой,— зло прищурился на него Прокопий.— Неприятности давно миновали... Еще в восемнадцатом году... Остались одни приятности...

— Зря ты злишься,— добродушно усмехнулся Андрей.— Я ведь к тебе по-человечески... Тяжело на душе — приди запросто, расскажи. Бригада у нас дружная — поможем. Нечего ссориться, наследства не делить...

— Уже разделили, значит...— тяжело дыша, сказал Прокопий.

— Вот наше наследство,— указал Андрей на котлован и потрепал Прокопия по плечу. Тот резко отбросил руку Андрея.

— А ты ко мне в душу не лезь. Не лезь, говорю.

Глаза Прокопия налились кровью. Ему захотелось ударить кулаком этого розовощекого, высокого парня. Захотелось в кровь выхлестать его полные, обветренные губы, выбить зубы, исцарапать до крови, до безобра-

зия... Эх, попадись где-нибудь на таежной тропе...

— Держись подальше от меня, Романов.— Прокопий оттолкнул парня плечом и быстро пошел в котлован. Андрей не стал его догонять. Он с недоумением смотрел на крутую, как коромысло, спину рабочего.

— Отколол, значит, тебя рябой,— с издевкой спросил догнавший Андрея Иннокентий Соболев.

— Отколол,— откровенно признался Андрей.— Зверюга какой-то, не человек.

— Вот и попробуй с такими жить по-коммунистически. — Соболев ехидно посмотрел на бригадира.

— Вот и попробуем, — словно принимая его вызов, твердо сказал Романов.

— Ну-ну, попробуйте. Не вы его, он вас сломает. Знаю я эту породу. Приходилось сталкиваться.

— Нам его ломать не надо. Он и так сломан. Нам его отремонтировать надо.

— Эээ... Фантазеры,— махнул рукой Соболев.— На вот лучше, закури... Ленинградский «Беломор».

— Благодарю,— сердито сказал Андрей.— Пользуюсь только «Севером»... Покрепче...— Он опередил Соболева и торопливо стал спускаться в котлован.

Около бетонизированных блоков суетился Блинов, расставляя звенья своей обширной комплексной бригады.

— Ставь, Андрюха, свое звено на второй блок шестнадцатой секции,— крикнул он Романову.— И смотри... Сегодня чтобы блок был забетонирован... Полчаса назад здесь был начальник строительства. Недоволен. говорит, медленно работаем... И правда — сколько можно возиться с этой секцией.

Шестнадцатая секция плотины находилась на середине реки. Это было именно то сооружение, от которого зависело перекрытие реки и пропуск ее в два донных отверстия. Андрей знал о предложенном начальником строительства плане перекрытия реки и старался сделать все, чтобы его выполнить. Но нелегко давалась эта шестнадцатая секция, черт бы ее побрал... Нелегко. Первый ее блок, тот, что выходил к верхнему бьефу, уже поднялся высоко над рекой. Второй блок был ярусом ниже. А третий — только-только еще оторвался от скалы. Вся секция походила на ступеньки огромной лестницы. По такой богатырям-великанам ходить — не бетонщикам. Но ходили именно они... Словно акробаты, ловко карабкались по длинным деревянным лестницам до верхних отметок. Держись, не зевай... Лестницы хоть и крепко накрепко привязаны веревками к торчавшим повсюду прутьям арматуры, но осторожность никогда не лишняя. Тем более если до земли где двадцать, а где и тридцать метров...

Блок, где сегодня работала бригада, был почти готов к бетонированию. Осталось притащить вибраторы и подвести электропроводку. Пашка Картошкин схватился за шнур.

— Ай-момент! — крикнул он и стрелой по лестнице вниз.

— Куда ты? — остановил его поднимавшийся навстречу Блинов.

— Подключать проводку к электросети.

— Зачем же ты, голова садовая, туда-то побег? — укоризненно покачал головой Блинов.

— У меня мыслишка — к экскаватору подключиться,— заморгал Пашка.

— Мыслишка, говоришь.— Глаза Блинова заискрились смехом.— А ты знаешь, что мысль мысли разница... Одному она приходит в голову, а другому в задницу...

Ребята дружно захохотали.

— А что...— заерепенился Пашка.

— Ты бы лучше к кобыле, которая воду в столовую возит, подключился,— сказал Блинов.

Снова загоготали бетонщики.

— Дай-ка... Я слажу на верхний ярус. Там и подключу.— Андрей взял у Пашки тонкий электрический шнур и по лестнице быстро полез на верхний блок.

С полдороги крикнул:

— Эй, дядя Прокопий. Сходи-ка из патерны притащи лом... Бетон пойдет — пригодится. Вон там он лежит...— Андрей указал на зияющую в массивном теле плотины огромную дыру и торопливо полез дальше.

— Катился бы ты от меня...— проворчал Прокопий, но все же вылез из огражденного опалубкой блока и пошел к патерне. Остальные рабочие присели прикурить. Как всегда, чудил Пашка. То и дело слышались взрывы смеха.

Прокопий сунулся в патерну и вытащил из-под досок лом. Между блоками было тихо и темно. Куда ему торопиться... Работа не волк — в лес не убежит. Прокопий сел на сваленные кучей брусья, закурил. Вокруг серый-серый бетон. Поднял голову: по небу плывут серые-серые тучи. И на душе серым-серо... И опять навалились на сердце тоска и злоба. Вот сейчас потащится бадья с бетоном... Кабель-кран застонет... Загромыхает, вываливаясь в блок, серая масса... Затарахтят вибраторы... И тогда — берись, Прокопий, вкалывай.

— Ух, гады... Надоели вы все... И ваша

стройка, и ваши довольные морды...— И потекли по привычному руслу мысли.— Скорей бы весна... Уйти с Джосем в тайгу... А там золото... Деньги... Деньги...

И вдруг просвистел перед носом камень и бух по валенку. Прокопий поднял голову. Наверху как ни в чем не бывало сидит Андрей и, посвистывая, прикрепляет к столбу электропроводку.

— Опять этот гаденыш глаза мозолит... — прошипел Прокопий.— Эй, ты! — крикнул он.— Я тебе позаигрываю... В рыло захотел?

Но бабахнуло где-то рядом. Взрывники лед в проране рвали. В грохоте взрыва потонули слова. Да и не до них Андрею. Закоченевшими пальцами торопился он соединить концы проводов. Бригада ведь внизу сидит... Ждет.

Прокопий встал, задавил валенком дымящуюся папиросу. Оглядевшись, не спеша натянул рукавицы и собрался было идти к блоку, как в него ударил камень. Вскрикнул Прокопий резко:

— Ух ты, черт...

Другой камень больно царапнул по щеке.

— Ах ты, сволочь. Издеваться...— и рванулся к лестнице медведем. Дикая злоба, кипевшая в сердце, нашла себе выход.

— Ты чего сюда? — удивленно повернулся Андрей, увидев рядом изрытое оспой лицо. И отшатнулся от занесенного над головой кулака.

— Я тебе покажу, как швыряться камнями,— запрыгали глаза Прокопия.

— Ты что...— крикнул Андрей и не успел защититься.

Прокопий размахнулся и ударил его в лицо. Схватился Андрей за столб, но пинок в живот отбросил его назад. Он взмахнул руками, полетел вниз на острые, торчавшие штыками железные прутья арматуры...

Прокопий на секунду оцепенел. И вдруг боком-боком попятился назад. Озираясь, полез, как таракан, в щель между блоками. И будто ветром его сдунуло с площадки. У края бетонированной стенки испуганно затоптался. Метров семь высота... Не шутка. И все же прыгнул. Ударился о лед, сморщился от боли. Застонал. Но поднялся. И, прихрамывая, побежал по узенькой тропинке к поселку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

А дни летели, мелькали, как быстрые птицы. И чем ближе к лету, тем шире распластывали они свои голубые крылья. С обеда до позднего вечера под окном больницы говорливо журчали апрельские ручьи. На подоконник, обитый жестью, падали крупные капли. Тук... Тук... Тук... Стучат они и разлетаются на мелкие брызги. Не так ли и жизнь человека... Тук! И одни только брызги... Шла запоздалая северная весна. Она ощущалась во всем: и в буйных, но ласковых порывах ветра, залетающих в форточку, и в смолистых запахах хвои, приносимых из тайги, и в той теплоте, что согревает душу, волнует кровь...

Днем ничего... Солнце лезет прямо в палату. И журчание вешних ручейков радует, и стук капель согревает душу... Ничего... Но в немых потемках бессонных ночей тяжело Андрею Романову. Тяжело. Думы, горькие думы терзают его воспаленную голову. Днем к нему приходят товарищи — Пашка, Утельгин, Маратай... Он слышит голоса Галины и Доры... До него доходит веселый с шутками-прибаутками сибирский говорок Блинова... Он чувствует дыхание стройки, ее беспокойную, полную тревог и забот жизнь... Но странно. Все это мало волнует Андрея. Он замкнулся, ушел в себя... Мысли, мысли... Ночами, черными, бессонными ночами они не дают покоя парню... Для них нет ни расстояния, ни времени... То он забывается и думает об Иркутске, о знакомых и милых сердцу улицах... В такие минуты вспоминаются бывшие друзья. А чаще всего — Женька... Джека... Почему? Неизвестно. Все это было— из жизни не вычеркнешь. Может быть, не стоило на север ехать... Устроился бы на работу. Женился на Джеке. Наплодил кучу ребятишек... Отрастил бы брюхо... И кривится в злой усмешке лицо. А через минуту грызет другая мысль. А что здесь ты нашел? Зачем сюда приехал... За счастьем... Смысл жизни ищешь... Нет его, как нет и не было того философского камня, который разыскивали когда-то чудаки... Нет его... Послушал Маратая... Оценил привязанность Пашки... Подружился с Утельгиным... Верил Блинову... Хотел помочь этому Прокопию... А что получилось? Изувечили. Чуть жизни не лишили. И за что? За что? Нет, не верит он никому. Никому. Понятно? Как не верит? А Пашка, а Маратай, а Утельгин, Джагда, Дора, Блинов... И Галинка... Любимая, родная... Разве они не его друзья? Разве они виноваты, что с ним стряслась беда? Путаются мысли, путаются лица, события...

Уже под утро он чувствует, как падает в какую-то глубокую, черную яму. Непонятно: это или обморок или сон. Он длится недолго. Приходит рассвет. Он прилетает с тихими ме-

лодичными звуками, льющимися из маленького репродуктора. В эти минуты Андрей чувствует себя почти счастливым. Ночь прошла...

А за окном бушевала весна. Весело чирикали воробьи. Издалека доносились звонкие голоса ребятишек. Весна чувствовалась во всем. Даже сквозь устойчивые больничные запахи в открытую форточку доходил терпкий, смолистый аромат пробуждающейся тайги...

Андрею захотелось на стройку. До боли. До слез... Там сейчас горячая пора... Там жизнь... Он вспомнил про Маратая... Черт... Как это он забыл... Ведь у него свадьба скоро... У Маратая свадьба.

И улыбнулся Андрей, представив счастливое лицо друга...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Они встретились за высокой, похожей на верблюжий горб горой. У ног билась о камни, яростно прыгала разбухшая от весеннего половодья речушка. Увалами уходила вдаль черная тайга. На колючем кусте боярки беззаботно попискивал красногрудый чечеток.

Огляделись. Не спеша закурили. Тот, что повыше, с изрытым оспой лицом, наклонился, взял круглый, обкатанный временем камень.

— Иэх... — выдохнул он и со всего размаха пустил камень в боярышник. Беззаботная птаха жалобно пискнула, маленьким, пушистым комочком свалилась в воду. Взбесившаяся речушка подхватила ее, закрутила-завертела, понесла вниз по течению...

— Метко бьешь, Проня, — сказал Джось.

— Да уж кого надо — не промажу, — усмехнулся рябой. Он сел на плоский, шершавый камень. Снял сапог и перемотал дырявую вонючую портянку.

— Ну и дух у тебя от ног, — брезгливо отвернулся Джось.

— Дойдем до места, как-нито постираюсь... Вот и гача сопрела... — Он сокрушенно потряс штаниной. — Считай, месяц в тайге жил.

— Так ты, говоришь, со стройки-то совсем смотался, — спросил его Джось.

— Совсем. Ну ее к лешему. — Прокопий наклонился к воде. Гулко глотая, стал пить.— Холодная... — вытирая губы, выдохнул он. Посмотрел на Джося: — Теперича мне на стройку хода нету... Амба. Тебя-то там не хватятся?

— Нет. Там не до меня. У них перекрытие реки скоро. Эти дни мечутся, как наскипидаренные.

— Ну что, двинем? К вечеру до зимовьюшки надо добраться, — бросив окурок в речку, сказал Прокопий.

— Пошли.

Они встали. Забросили за плечи ружья и мешки. Тронулись в путь. Глухая лесная тропа, щедро усыпанная прошлогодними сосновыми шишками, извиваясь, круто полезла в гору. Ноги, обутые в тяжелые сапоги, скользили на хвое. Шли молча. Слышно было лишь тяжелое дыхание да позвякивание котелков. Изредка вертлявую тропу перебегали желтые бурундуки. Любопытствуя, они взбирались на трухлявые колоды, на почерневшие пни и, уставясь глазами-бусинками на людей, смотрели не моргая, словно спрашивая: кто такие, откуда и зачем?

Прокопий, шедший впереди, шикал на них, и зверьки, взмахнув рыжими пушистыми хвостиками, скрывались в чаще.

План у Джося был простой. Вверх по речушке дойти до водораздела. Перевалив через него, найти сопку с разрушенной вершиной. Около нее должен течь ключ. Добраться до его истока. Вот здесь-то, если не наврал Утельгин, и притаилось золото.

Все Борис Игнатьевич продумал. Все. И Прокопия он взял с собой не зря. Вон как грозно шумит под вечер тайга. С ней шутки плохи. Ох, плохи...

«Тропа-тропиночка вьется — и ни отдохнуть, ни остановиться... Да есть ли у нее конец?» — думает Джось. Есть... есть. Чем дальше, тем уже тропинка, все плотнее сжимают ее с обеих сторон высокие темные стволы.

Уже на закате дня, когда, запутавшись в ветвях, волчьим глазом сверкнула в небе вечерняя звезда, тропка уперлась в маленький почерневший сруб. Рядом с ним стояла расщепленная молнией лесина. Шарахнулся из-под крыльца какой-то зверек — и в кусты.

Прокопий быстро наломал сухих веток, разжег костер у порога зимовья.

Через несколько минут закипела вода в котелке.

Густо, по-сибирски, заварив чай, Прокопий крикнул приткнувшемуся на нарах Джосю:

— Тащи харчишки... Опосля валяться будешь...

Борис Игнатьевич вышел, прихрамывая. Без привычки от ходьбы поламывает ноги.

— На... Доставай жратву, — бросил он под ноги Прокопия мешок с продуктами.

Тот вынул хлеб, колбасу, головку чеснока.

— Выпьем с устатку-то?

— Ну, а как же...

Прокопий достал фляжку. Налил полные

кружки водки. В черном мраке тайги глухо треснула ветка. Оба вздрогнули и притихли, вслушиваясь в темноту.

— Как бы на зверя не наткнуться. — Прокопий потянул к себе ружье.

— Случается? — озираясь, спросил Джось.

— Тут медведь хозяин... Мотри в оба... Тайга... — Прокопий поднял кружку с водкой. — Ну, ладно... Бог не выдаст — свинья не съест...

— За удачу... Чтоб с золотишком вернуться... — чокнулся с ним, косясь по сторонам, Борис Игнатьевич.

Ели молча, каждый думал о своем. Почуяв запах хлеба и колбасы, в жухлой старой траве около зимовья шуршали мыши.

После ужина, ворочаясь на старых — из дранья — нарах, Прокопий тяжело вздохнул:

— Ох, жизнь наша грешная.

— Чего это ты разохался? — спросил из темноты Джось.

— Кажется мне, черт тя дери, зазря мы тащимся в такую-то даль...

Джось, успевший фанатически поверить в осуществимость задуманного им дела, резко повернулся к Прокопию. Затрещали старые нары. Мыши на полу врассыпную бросились по углам.

— Дурак. Джось никогда впустую не работает.

— Посмотрим, — проворчал Прокопий. Он встал и, шаря в темноте, поднял с пола вещевые мешки, подвесил их на гвозди. Потом снова лег.

— А чего смотреть... Дело верное... — Джось чиркнул спичкой и закурил.

Прокопий спросил:

— Ну, а если и взаправду намоем золотишка, куда опосля думаешь девать-то его?

— Куда? — переспросил Джось, и голос его потеплел. Откинувшись на лежанку и рыгнув, он мечтательно сказал:

— Ооо... Джось знает, куда сбыть золото. У Джося есть великая мечта. Хочешь, я расскажу тебе о ней?

— Давай... Спать что-то неохота.

— Так вот, слушай. Ты видел когда-нибудь море? Да, южное море. Нет? А... Да и откуда тебе, челдону, его видеть. А я видел. Море — это хорошо... Это великолепно. Представляешь, этакая громадина голубая. Сверкает, блещет, дышит. Вдали белый парус, дымок одинокий. А у ног твоих, точно пес ворчит, лижет песок волна. Сидишь ты на теплом песочке и ни о чем не думаешь. Море за тебя думает и разговаривает. А зачем тебе думать? Ты наслаждаешься. А там, на высокой горе, за твоей спиной белеет домик. Но подойди поближе. Э-э-э... это, брат, не зимовье и не изба, в каких вы, черти, живете. Это хороший под железной крышей дом. С крепкими воротами, с высоким забором, за которым рычит Джек. Зачем? Ааа... Дурак. Мало ли разной сволочи бродит. И дом этот мой. Понимаешь — мой, а не ко-мму-наль-ный. Вокруг сад... — захмелевший Джось щелкнул языком. — Ты знаешь, Прокопий, что такое хороший фруктовый сад? Ба! Откуда же тебе знать, когда ничего, кроме черемши, ты не едал.

Джось усмехнулся. Приподнявшись, сплюнул на пол, повернулся к Прокопию.

— Да, хороший фруктовый сад — это моя мечта. Весной, когда он окутывается белой пеленой, — это сказка, Проня. Это сказка... Да. И вот я захожу в дом и встречает меня на пороге фея, богиня...

Э-э-э... Дурак. Ты думаешь, нынче по любви замуж выходят? Ты тысячу раз болван, если так думаешь. Большие деньги надо за них заплатить. Красивая баба всегда знает себе цену. И если она не дура — она дешево себя не продаст. Любовь — это для сопляков. Это слякоть. Или, как говорят интеллигентные люди, сен-ти-мен-таль-ность. Баба, я тебе скажу, Проня, любит три вещи: силу, лесть и деньги. Но нет у тебя силы — дело сделают лесть и деньги. А надо, и одни деньги все состряпают. Дай вот ты мне полста тысяч рублев. Куплю любую красавицу. У мужа из постели вырву. С юга увезу на север, с востока на запад. Э-э-э... Деньги. Великая вещь! Я, Прокопий, иду не просто за золотом... Я иду за своим счастьем. Будешь хорошо служить мне — не забуду. Тебе, наверно, тоже надоело здесь шляться? Тоже не лишне золотишка с пудик иметь... А? Ну, скажи?

Прокопий усмехнулся, достал папиросу и, не поднимаясь, чиркнул спичку. Темнота шарахнулась прочь и забилась в углы. Прикуривая, покосился на соседа. Джось, возбужденный, взбудораженный, лежал на спине, подложив под голову руки, и, широко открыв глаза, смотрел в черный, прокопченный дымом потолок.

Прокопий потушил спичку. Затянувшись дымом, сказал глухо:

— Ты вот говоришь, не забудешь меня...— В голосе его тоска свирепая. — А ведь мне, брат, ни золото, ни деньги не нужны. Ты вот толковал сейчас о море, о избе, о бабах. На кой хрен они мне нужны... Стар уж я...

«Рассказывай басни...» — подумал Джось, вспомнив, с какой жадностью хватался всегда Прокопий за деньги, которые он ему давал.

А Прокопий, медленно ворочая языком, говорил:

— Водочка-то языки развязывает... Послушай и ты меня... Я, Борис Игнатьевич, пока жил у твоей Ксении в стайке, о многом передумал... Невеселые итоги подвел... Паршивую, никудышную жизнь прожил. Эх... — вздохнул он. — Волки люди... Я вот золотишко для тебя воровал, да и сейчас на сурьезное дело идем. А ты, черт тя дери, ни хрена обо мне не знаешь. Черемшу, говоришь, я жрал. Голодал.... Что верно, то верно, — хриплым басом пробубнил Прокопий. — А ты не изгаляйся, посочувствуй лучше... Да не об этом речь... Хочу я тебе о своей жизни рассказать... Раз уж у тебя душа нараспашку, послушай и ты меня....

Житуха-то моя, Игнатьич, другая, непохожая на твою. А вот, кажись, отпеты-то мы с тобой жизнью обои одинаково. Как вот эта у зимовьюшки лиственница... Расхлестала ее молонья-то, и не оправится уж... Так и мы с тобой.

— Ну, это ты брось, — приподнялся Джось.

— А чего... Зачем самих себя обманывать, да еще здесь, в тайге... Ну вот, я и говорю,— помолчав продолжал Прокопий. — Жизнь-то моя оказалась никудышная. А началось все с тех пор, как колхозы начали создавать. Была у меня в деревне изба хорошая... Заплотом добротным огорожена. Работников несколько держал... Ну и, конечно, коровенки-лошаденки... Потом раскулачили... Тут-то и зашлось мое сердце от обиды. Как это я, мол, свое кому-то отдать? Молодой-то горячий был. Подговорил дружка, да и ухлопали председателя колхоза, а за одно и его жинку. Думали, коли его со свету сживем, так и опять все по-старому пойдет. Дураки большие были. Ну и с тех пор покатился... Ты не спишь, Игнатьич?

— Нет.

— Так вот. Председателя назначили нового. А нам пришлось уносить свои ноги подальше, чтобы головы свои сохранить. Напарник мой отстал где-то... А я двинулся на Алдан. Там робил. Хотел уже было навсегда там осесть. И бабенку подсмотрел славную. Да не подфартило. Земляка встретил. Косо он что-то поглядывал на меня. Я от греха подальше и смотался. Двинул было в Иркутск. Думал, затеряюсь среди людишек-то. Грузчиком на пристани работал. Хотел на шофера уж поступить учиться. Но тут опять какой-то человек стал моей житухой интересоваться. Где, мол, раньше жил, чем занимался. Может быть, он так, по простоте душевной. Ну, а я сам стал бояться... Ноги в руки, да и дальше...

Пока бегал — озлился на весь белый свет. А тут война. Надо бы на фронт попроситься... Если бы не кокнули фашисты, то свои бы простили. А я плюнул, да и ушел в тайгу. Орехи добывал, за зверем охотился... Сбывал помаленьку.

Надоело все... Ведь человек же я... Опять пошел к людям. Война уже кончилась. По стройкам начал ездить. Но чувствую — лишний я человек промеж них, — голос Прокопия дрогнул.

— Лишнего, видно, ты, Прокопий, выпил... — прохрипел в темноте Джось. — Вот и валяешь дурака...

— Может быть,—согласился Прокопий.— Но душа высказаться хочет. Не будь тебя, я, наверно, сейчас разговаривал бы с мышами, которые под нарами возятся... Однако дело не в этом. Главного-то я тебе, Игнатьич, еще и не рассказал. Встреча тут у меня намеднись случилась.

Прокопий полез в карман за папиросой. Зажег спичку и вновь стал прикуривать. Джось смотрел на него из-под прищуренных век с презрением и любопытством. Рябое, изрытое оспой лицо Прокопия нервно подергивалось.

— Да... — потушив спичку, проговорил Прокопий. — Встреча знаменитая произошла. Ты думал, почему я бригадира-то тогда по морде хлобыснул?

— На стройке?

— Угу, там.

— А черт тебя знает.

— Понимаешь... — Прокопий заворочался, судорожно вздохнул. — Понимаешь, Андрей этот — сын того председателя, которого я в молодости ухлопал.

— Да ну? — подскочил Джось.

— Вот тебе и «ну». Получилось это так. Когда ты дал команду с прииска сматываться... Чтобы не погореть... Я приехал на строчтельство гидростанции и устроился бетонщиком. Работаю, значит, как все. Силенка у меня еще, слава богу, есть. Как-то разговорились мы с этим парнем. Он и рассказал мне, откуда родом, где его родители. Как он сказал, что его отца и мать кулаки убили, я и вспомнил всю эту прошлую историю до самых что ни есть подробностей. Ведь председатель-то тогда свою жинку из родильного дома вез. Ну, их-то мы и угробили. А малец, ишь... Жив остался...

— Дела-а-а... — протянул Джось и опять повалился на нары. — Ну, а за что все же ты его с блока-то свалил?

— Понимаешь... Как узнал я, что этот

Романов сын того председателя... Места себе не находил. Хотел уж было ему во всем...

— Дурак, — процедил сквозь зубы Джось.

— Может, и верно ты говоришь... Да вот... Признаться не признался, а возненавидел его. Маячит, бывало, этот бригадиришка передо мной целый день. Нет-нет да и на меня посмотрит. А для меня его взгляд — похлеще прокурорского. И взяла меня лютая злоба на него... Вот, думаю, какая окаянная несправедливость... Мать и отца ухлопал, а их племя все равно хозяином на земле живет. А я, головушка бедовая, прячусь всю жизнь, как захудалая сучонка по канавам. Ну и как-то уронил он на меня с блока камешек небольшой. Во мне и поднялось все...

Спасибо, спрятала меня твоя Ксения... А то бы несдобровать... Ты не знаешь, умер или жив Андрей-то? — осторожно спросил Прокопий.

— Жив,— хмуро пробурчал Джось.— Зря ты его получше не стукнул.

— А ты на него за что зуб имеешь? — удивился Прокопий.

— Доверился тоже щенку... Подружились было мы с ним... Ну, я его и подставил вместо себя посылки с золотишком куда надо переправлять. Сначала ничего дело шло. А потом расчухал он. В милицию было собрался идти заявлять. Да вот ты помешал.

— Продать, значит, тебя хотел?

— Выходит, так. А ты что этим интересуешься?

— Да так спросил, — кряхтел, удобней устраиваясь на лежанке, Прокопий. — Обо мне ты, Игнатьич, не беспокойся. Тебе я буду служить верой и правдой. Куда же мне теперь податься.

— Ну, ладно. Спим. Хватит языком трепать. Завтра до места надо добраться...

Джось отвернулся к стене. Натянув фуфайку на голову, он еще долго думал о рассказе Прокопия, о своей жизни, о завтрашнем дне. Хорошо, если бы он выдался удачным... Хорошо.

Сон... Какой странный сон приснился Джосю в эту весеннюю ночь. Шли они, шли с Прокопием и пришли в глухой, темный бор. Землю начали копать... Перышками валуны в сторону отбрасывать... И улыбнулась фортуна Борису Игнатьевичу. Обдирая ногти, вытащил он из-под огромного валуна самородок золота. С пуд будет. Никак не меньше. Вытащил и обмер от счастья... Прижал его к груди. Затрясся. И стал гладить. Нежно так, словно малого ребенка... И вдруг из-за кустов высунулась рябая рожа Прокопия. «Отдай!» — рявкнул он и протянул к самородку волосатые руки. «А это не хочешь?» Борис Игнатьевич выхватил из-за пояса нож. Но Прокопий схватил его за руку. Они долго и яростно боролись. И ослабел Борис Игнатьевич... Почувствовав смертельный холодок под ребрами, он понял, что ему не удержать самородок и не одолеть Прокопия. А тот уже железными пальцами сжимал ему горло. Задыхаясь, почти теряя сознание, Джось разжал пальцы... Выронил из рук золото. Ударился самородок о камни... И дзинь! Разлетелся вдребезги. Упал Джось, рядом с ним и Прокопий. Зубами землю грызли... Но золота как не бывало. Только ухал и хохотал дико в тайге филин...

Проснулся Борис Игнатьевич весь в поту. Ныла шея. «А-а-а... Черт». Приподнявшись, он выбросил из-под головы пук старой жухлой травы. В маленькое оконце зимовья пробивался чуть заметный рассвет. Между сосен тихо, исподволь крался новый день. Рядом, тяжело дыша и всхрапывая, спал Прокопий. Джось сел и, растирая занемевшую шею, долго смотрел на него. «Ничего не скажешь. Рожа — ребятишек только пугать». С какой-то смутной тревогой вспомнил вчерашний разговор. И сон. Странный сон. Тревожное предчувствие сжало сердце Бориса Игнатьевича. Он встал, толкнул дверь зимовья. Свежий, холодный воздух ударил в лицо. Около зимовья, в кустах, радуясь утру, новому дню, пела весеннюю песню иволга. Хорошо. Оглянулся на Прокопия. Надо будет с ним поосторожнее. Эта рябая сволочь на все способна».

Сквозь лохматые ветки кедра стальным клинком прорвался и воткнулся острым жалом в грязный пол зимовья яркий луч утреннего солнца. Легкий парок пошел от прогнивших досок... Джось заторопился.

— Вставай, — толкнул он Прокопия. — Пора в дорогу.

Наскоро умылись. Пожевали хлеба с колбасой, запивая вчерашним чаем. И снова таежная вертлявая тропа ползет перед глазами. К полудню, шарахаясь то влево, то вправо, путники потеряли и ее. Преградив дорогу в горы, стеной встала тайга. Кажется — сунься в чащобу и как в воду канешь. Но делать нечего. Идти надо. Вошли в зеленый полумрак. Слева журчала речушка — единственный ориентир. Старались не потерять его. Ноги тонули в размокшем, похожем на растрепанные бабьи космы, мху. Через каждые пятнадцать — двадцать шагов останавливались и, тяжело дыша, вслушивались в мертвящую сердце тишину. Ни птичьего гомона, ни озорной мельтешни бурундуков. Даже солнце и то будто отказалось обогревать это гиблое место.

Его лучи не могли прорвать вековую путаницу веток. Справа рявкнул медведь. Оба словно сговорились: хлоп плашмя за трухлявую колоду. Сердчишки в пятках колотятся. Притаились. Нет... Тихо... Может, послышалось... Лучше от греха подальше. Взяли левее. Вошли в речку и, пугая быстрых, отливающих сизой синевой хариусов, побрели дальше. К полудню из-за макушек деревьев выглянули черные лбы гольцов. А вскоре, разбегаясь маленькими ручейками, исчезла из-под ног и речушка. Джось и Прокопий остановились, вглядываясь в гольцы.

— Водораздел, — сказал глухо Прокопий.

— Да, — повеселел Борис Игнатьевич, — Отсюда уже недалеко.

Обогнув гольцы, долго петляли между скатившихся с гор гранитных глыб. Нет-нет да и останавливались около них, колупая черными ногтями красноватые блестки. Не золото ли в прожилках кварца?

Все ближе и ближе продвигались к подножью горы. Джось нервничал. Он, запинаясь и падая, почти бежал.

— Жадный, черт... И куда торопится... Расшиперивай руки — ждут тя там, — усмехнулся Прокопий.

Уже смеркалось, когда Джось наткнулся на маленький, бесшумно скользящий по черным гранитным камням ключ.

— Он... — выдохнул Борис Игнатьевич и торопясь пошел вверх по течению. Прокопий за ним. Ключ резко повернулся вправо и, извиваясь, потянул путников к огромному гольцу.

Неподалеку от гольца остановились они на ночлег.

За ужином, тяжело ворочая языком, Прокопий пробубнил:

— Ты, паря, не шиньгайся зря... Золото — металл благородный... Не любит оно на виду лежать... Так что ты не набрасывайся на каждую блестку, как курица на зерно... Господь даст, переночуем... А утрось и попытаем фарт... Поглубже землю-матушку ковырнем...

— Надо бы лотки сейчас сделать, — отозвался Джось.

— Можно и сейчас, — откусив пол-луковицы, прохрипел Прокопий.

Поужинав, они подбросили в огонь смолистых, набухших весенним соком веток. Полетели к звездам искры. Отодвинулась тьма в глубь тайги.

Прокопий поплевал на соскучившиеся по работе руки, взял топор, стукнул обушком по стройной, тонкой сосне. На голову посыпались прошлогодние шишки.

— В самый раз, красавица. Эх...

Топор смаху пошел в тугой, упругий ствол.

— Хык... Хык... — полетели в разные стороны щепки.

Качнулась, вздрогнула сосенка и, застонав, повалилась на сырую землю.

Долго стучали топорами в эту звездную ночь люди у нахохлившегося черным вороном гольца. Вот уж и готовы дощатые лотки. К их дну прибиты суконные лохматины. Поперек лотка планки наколочены. Драгоценные песчинки сядут на сукно. Самородки около планок застрянут.

— Будет золотишко. — Прокопий сгреб в охапку лотки и, бросив их в ручей, придавил камнями. — Пусть мокнут... — Он лег на пахучие пихтовые ветки и быстро уснул.

А Джось не спал... Мог ли он уснуть в эту ночь. Джось купался в своих мечтах. Вокруг него было золото. Золотом блестели звезды. Как расплавленный металл, пылал костер...

Джось отодрал от сосновой чурки, на которой сидел, кусочек коры. Взглянул и вздрогнул: тоже золото? Нет. Деревяшка так блестит. Бросил ее в костер. Огонь не поморщился — равнодушно сожрал. Ну и пусть... Золото никто не тронет. Никто. Здесь. Вот здесь оно... Борис Игнатьевич топнул ногой. Вдруг вдали кто-то ухнул и захохотал дико. У Джося волосы на голове зашевелились. Оглянулся. Гигантским черным сфинксом стоял голец. Грозно и хмуро смотрел на пришельца.

Джось в эту ночь не спал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

И на стройке в эту ночь не спали. Здесь многим тоже было не до сна: через три дня перекрытие.

Больше всего забот у Позолотина. То и дело звонят из Москвы. Как и что? Недобрым словом помянул сейчас начальник строительства покойного Рогулина. Это он своей докладной, написанной после техсовета, посеял в министерстве сомнение и недоверие к Позолотину и плану перекрытия реки. Сколько объяснительных записок Георгию Степановичу пришлось писать. Сколько комиссий на стройке побывало. Вроде всем ясно — продуманы все детали. Эффект налицо. Расчеты грамотны. Ну, а вдруг...

Издергался Георгий Степанович. Это «вдруг» и его уже стало грызть. А если, действительно, что-нибудь случится несуразное? Он знает, кое-кто покачает тогда головой и скажет: «Мы говорили... Мы предупреждали вас...»

В Москве сейчас шесть часов вечера. Здесь

уже ночь. Звездная весенняя ночь. Одиннадцать часов. Георгий Степанович смотрит на часы, а сам думает — все ли он сегодня сделал, что намечал? Кажется, все... График сброса в проран бетонных кубов, скальных пород и грунта — разработан. Список шоферов, принимающих участие в перекрытии, утвержден. Дежурные инженеры назначены. Связь, электроснабжение, транспорт, гидрологическая служба проверены и готовы к штурму реки. И все же где-то внутри сосет беспокойный червячок.

На перемычке нос к носу Позолотин столкнулся с Ермолаевым. Припадая на левую ногу, парторг торопился к бетонщикам.

— Не смотрел, Андрей Андреевич, как идет отсыпка банкета? — спросил Позолотин.

— Нет еще.

— Пойдем туда.

Банкет, отсыпанный от продольной перемычки, полуостровом вклинивался в бурлящую черноту реки. Один за другим к нему подходили самосвалы, разворачивались с ревом и опрокидывали кузова с галькой. Бульдозер грудью наваливался на кучи гравия и толкал их в реку. С каждым их движением банкет чуть расширялся, но большую часть гальки слизывала вода.

Постояли несколько минут на краю обрыва. Подошел прораб, низенький, с заплывшими глазками толстяк. Он руководил отсыпкой банкета.

Позолотин посмотрел на него и вдруг сказал строго:

— Давно такой хреновиной занимаетесь?

— Какой? — испуганно заморгал глазами прораб.

— Бесполезно гравий в реку валите?

— А я что сделаю... — всплеснул короткими руками прораб, — скорость течения увеличилась... Видите, как вода прет...

— Через каждые три машины, груженные гравием, приказываю подавать пару машин со скалой. Тогда не будет уносить гальку. Понятно?

— Так точно, — по-военному ответил прораб и, семеня короткими ножками, побежал в прорабскую.

Еще раз внимательно оглядели банкет. Это плацдарм, с которого через три дня начнется штурм реки. Надо сделать так, чтобы он был надежным...

Направились к бетонщикам.

А над котлованом, перемигиваясь с электрическими огнями, весело блестели звезды. Там, вверху, — звезды, здесь, внизу — огни. Но в реке все перемешивалось. Не разберешь, где — огни, где — звезды.

У бетонщиков горячая работа. А все же Пашка нет-нет да и взглянет на реку. Красотища! Бригада бетонирует верхние бычки. Работать приходится над самой водой. Идет последний перед перекрытием и самый трудный бетон. Его надо уложить в длинные, затканные паутиной арматуры, глубокие блоки.

Пашка таскает тяжелый вибратор и мурлычет под нос песенку.

В короткое затишье между подачей бетона Утельгин тронул Пашку за плечо:

— Однако, плохо дело, Пашка...

— Что такое, Утельгин?

— Джось, паря, исчез... Куда, холера, ушел — не знаю... — развел он руками.

— А тебе-то не все ли равно? Пусть хоть совсем отсюда испарится.

Пашка ненавидит Джося. Он даже разговаривать о нем не хочет.

— Однако, не все равно... — вздыхает Утельгин. — В тайгу он, паря, однако, ушел... К Талым ключам... За золотишком...

— За каким золотишком? — недоуменно дернул плечами Пашка.

— Понимаешь... В тайге я охотился... Золотишка много видел... Пришел сюда — Джосю рассказал... Пьяный был... Дурак был... Думал, хороший человек он... Третий день, однако, Джося не вижу... Ох, в тайгу ушел он...

— Стоп. — Пашка положил тяжелую руку на плечо эвенка. — Не волнуйся. Завтра Маратаю расскажем обо всем. Надо к геологам сходить. Вон там на краю поселка их экспедиция расположилась. Они приберут это золото к рукам. А Джосю вот... — Пашка сделал кукиш.

Утельгин рассмеялся.

— Однако, верно ты говоришь...

— Только бы какую шутку он не выкинул. Хитрый, черт. А далеко до золота, Утельгин?

— Верст сто, однако.

— Да...

К бетонщикам подошло начальство.

— Как дела, Григорий Иванович? — спросил Позолотин у Блинова.

— Да ничего. Ничего... Вот последнего бычка прирезать осталось. Да велик больно. Ну, да завтра к ночи бетонировать закончим... Пожалуйста, перекрывайте реку.

— Все будем перекрывать, — улыбнулся Ермолаев.

Позолотин щупал ногой провибрированный бетон.

— Молодцы. Хорошо прорабатываете, — похвалил он бетонщиков. Те, довольные похвалой, разулыбались. Закурили.

— Как же иначе, — важно сказал Пашка.

Позолотин и Ермолаев улыбнулись.

— Правильно, иначе нельзя, — похлопал Картошкина по плечу парторг.

— Андрея Романова проведываете? — спросил Георгий Степанович.

— Через день да каждый день бегают. — Блинов помусолил козью ножку и сунул ее в рот. — Скоро уж, наверно, выпишется.

— Майна! — закричала снизу сигнальщица.

— Едрить твою в кочережку... Поговорить не дадут, — выругался Блинов.

Бетонщики встрепенулись. Наскоро докуривая папиросы, надели рукавицы и — кто за лопату, кто за вибратор. Сверху огромным черным вороном снижалась бадья с бетоном.

— Ну, пойдемте. Здесь не до нас. — Позолотин спрыгнул на насыпь и зашагал к прорабской будке.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Борису Игнатьевичу не терпится. Ведь золото под ногами. Золото. Чуть забрезжил рассвет — разбудил Прокопия. Тот, зевая, лязгал от утренней свежести зубами, закутался в фуфайку и, нахохлившись, подвинулся к огню. Джось подал ему большую кружку черного, как деготь, чая.

— Встряхнись.

Прокопий, с шумом прихлебывая чефир, повеселел.

— Какой у нас с тобой, паря, денек сегодня будет, — заканителил он заплетающимся языком. — День фартовый иль день хреновый...

— С золотишком уйдем отсюда. Чует мое сердце. Есть оно здесь... Есть...— весело пропел Джось.

— Где-нито есть...

Небо на востоке стало пурпурным. Вершины дальних хребтов озарились солнечными лучами. Лучи все ниже, ниже к земле сползают... И вдруг золотой свет брызнул. Засмеялась тайга, посветлела.

— Пора,— встал Джось. Взял лоток. Под мышку лопату с коротким черенком сунул. Повернулся к гольцу. Что за черт! Зрачки расширились. Брови на лоб полезли.

Оглянувшись, поперхнулся недопитым чаем Прокопий.

Гигантский сфинкс-голец, озаренный солнцем, сиял кровавым светом. Да так зловеще, что казалось, вот-вот кровь из него брызнет...

— Чудной камень,— прохрипел Прокопий.

— Странный...— согласился Джось.

Они медленно пошли вверх по ключу. Через час выбрали песчаный, пересыпанный мелкой галькой берег. Здесь решили попытать счастье.

— Господи, благослови. Дай бог удачи.— Прокопий размашисто перекрестился. Джось не верит ни в бога, ни в черта, а только в свою фортуну. Но сейчас тоже что-то шепчет посиневшими толстыми губами.

— Эх...

Лопаты рвали землю на куски. Остервенело расшвыривали ее по сторонам. Туда, в глубину...

Уж оба хищника по пояс ушли в шурф.

— Теперича стой.— Прокопий на карачках лезет. Песок руками мнет.— Давай, паря, лоток.

Джось козлом выскочил из шурфа. Притащил.

Прокопий, покряхтывая, аккуратно достал со дна шурфа несколько лопат песка, положил их на лоток.

— Плесни водицы, Игнатьич.

Джось, черпая котелком воду из ключа, осторожно поливал грунт.

— Смелее, смелее...— растирая куски земли, приговаривал Прокопий.

Вот заскользил песок. За ним потащились неохотно кусочки глины, обломки пустой породы.

Прокопий еще чуть накренил ящик.

— Лей, лей...

Когда вода посветлела, на прибитой суконной лохматине остались лишь белые, как сахар, обломки кварца да крохотные камушки тяжелого, темного гранита.

— Ишь... Кварц пошел... Спутник золота.

Прокопий склонился над лотком. Плечо к плечу с ним тяжело дышит Джось. Оба на корточках ползают. Колени промокли. Штаны в глине вымазаны.

Прокопий соскреб с лотка кусочки кварца и гранита. Сам чуток из котелка воды плеснул и хихикнул гундосо.

— Что? Есть? Где? — отталкивая напарника, Джось рвал из его рук лоток.

— Да не шиперься ты... Вот, вот золотишко-то,— улыбается Прокопий и смотрит на чуть приметные золотинки.

— Есть...— рычит Джось.— Е-е-есть...

Он дрожащими пальцами ловит маленькую, со спичечную головку, крупинку золота. Она крутится, ускользает... Ага... Вон она... В горле перехватывает дыхание. Это счастье... Это море... Жди, богиня, своего повелителя... Золото у него в руках. Бульдожьей хваткой вцепился Джось в эту землю.

— Кажись, не набрехал твой Утельгин,—

усмехается Прокопий. Но Джось не слышит его. У него в руке лупа. Все предусмотрел, черт. Он через сильное увеличительное стекло рассматривает золото. Настоящее... Не обманное... Хранящее мертвый холод и огнедышащий жар земли...

И вот уже в его руках маленький совочек. Чуть дыша, собрал им золотой песок и высыпал в кожаный, наподобие кисета, мешочек.

— Фартовый ты, паря,— смотрит на него Прокопий.

— А как же... Губами не надо шлепать,— сверкает пучеглазыми очами Джось.— Жизнь надо за глотку брать. Чтобы она у тебя в руках храпела, а не ты у нее. Понял?

— Понять-то понял. А вот здесь нам, паря, ковыряться-то не стоит...

— Почему? — нахмурил лохматые брови Джось.

— Выше надо идти... Ближе к гольцу... Там где-то должно быть настоящее золотишко...

Прокопий — лоток под руку, лопату на плечо — хлюпая по воде сапогами, пошел вверх по течению. За годы скитаний ему не раз приходилось работать в тайге старателем. Много он переворочал своими руками песка и гальки, много избороздил рек и речушек. Нюхом понял он, случайно ли, не случайно, но нашли они хорошее россыпное золото. Если даже здесь, далеко от истока, почти на поверхности песчаной косы его осталось в лотке столько, то выше должно быть ого-го сколько! Что и говорить — фартовый, ох, фартовый этот Джось. Ведь будет у окаянного и дом под железной крышей, и Джек этот самый, и богиня раскрасавица... Скрипнул Прокопий завистливо зубами. Желваки на скулах заиграли. Через плечо покосился на шедшего впереди Джося. «Доволен, сволочь...»

Подошли к маленькому плесу.

— Здесь попробовать надо,— сунулся к песчанному берегу Джось.

— Пробуй... А я вон в той старице поковыряюсь,— кивнул Прокопий на старое, заросшее тальниками, русло ключа.

Не теряя друг друга из вида, они проработали до обеда. В полдень развели костер, сварили похлебку с картошкой. Оба уже обросли щетиной, осунулись. Лицо Джося возбужденное, радостное. Прокопий хмур и сердит. Что он будет иметь от этого золота? Джось молчит — ничего не обещает. Злится Прокопий.

После обеда завалились на мягкие пихтовые ветки. Грелись на солнышке. Тайга полна птичьего гомона. Где-то пискнула белка. Крался к добыче соболь, изогнув упругое тело. Проламываясь через чащобы, пробежали два сохатых.

Прокопий вскинул ружье. Может, свежее мяско будет... Пальнул вслед сохатым. Только фыркнули лесные звери. Треск и шум по тайге пошел. Гулко эхо от выстрела в голец ударилось.

— Винтовочку бы... Тогда не ушли бы. Обоих уложить можно,— злится Прокопий.

— За золотом пришли охотиться... Не за зверьем,— встал Джось.

Взялись снова за лотки и лопаты. Солнце медленно катилось к горизонту. Голец темнел и хмурился. Обкрадывали его на глазах хищники.

— Много намыл? — спросил вечером Джось.

— Да вот,— показал Прокопий, развернув грязный носовой платок. На тряпке горсть золотого песка.

— Неплохо,— облизал губы Джось.— Давай вытряхивай его сюда...— подставил он свой кожаный мешочек.

Прокопий чуть замешкался.

— Давай-давай,— прикрикнул Джось.

Пришлось Прокопию отдать золото.

Ложась спать, Прокопий спросил:

— По какой цене золотишко-то сбываешь?

— По разной, Проня... По разной... Смотря кому толкаешь... Вот это...— Он подбросил в руке мешочек: — По пятерке грамм пойдет... Сам из рук в руки передам... Эх, много человеческих рук к этому металлу еще прикоснется.— Джось задумался.— Не одну глотку перегрызут друг другу... Я верным людям его по пятерке за грамм продам. Они продадут его по шесть-семь целковых... А за границу оно пойдет по десяточке... По красненькой каждый грамм... Вот, Проня.

Прикинул Прокопий в уме. Ого! Рубликов пятьсот, если верить Джосю, он сегодня заработал... А дырявые карманы как были пусты, так и остались пустыми... Эх, видно век сопли на кулак мотать, а счастья не видать в жизни...

На другой день чуть свет опять взялись за работу. И снова нашли хорошие россыпи.

Судьба изменчива, как погода. Напрасно вечор Прокопий на свою судьбу роптал. И ему улыбнулось счастье. Да какое.

Новый шурф он копал. Зачерпнул лопатой грунт поглубже. Бросил его на лоток. А когда плеснул водицы — обомлел. Сердце в горле забилось. Самородок перед ним... Этак килограмма на два кусок золота... Края его неровны, будто обкусаны... Весь в бородавках да

морщинках... Еще бы... Сколько тысяч лет в земле пролежал...

Оглянулся Прокопий — недалеко, за спиной, Джось пыхтел. Усмехнулся радостно рябой. Усмехнулся и самородок в костлявой его лапе. Только хмуро так, недовольно... На какой, дескать, черт вы меня потревожили. И вдруг засверкал ослепительно и зловеще... Обождите, я уже понаделаю вам бед...

А Борис Игнатьевич тут как тут:

— Пронечка! Да ты, никак, самородок нашел!

И хотел, да не успел Прокопий спрятать кусок золота. Вырвал Джось у него самородок. Нет, не самородок. Пять тысяч рублей, сволочуга, из рук хапнул. Эх, Прокопий, Прокопий... Знать, по судьбе твоей бороной прошлись. Видно, не в том счастье, чтобы найти, а в том, чтобы потерять.

И снова за лопату взялся Прокопий. Около Джося сопел. Копай, копай, рябая сволочь... Может, на жилу золотую наткнешься... Дергался нервно у Бориса Игнатьевича левый глаз. Вот бы на жилу напасть. Эх...

Вечером Прокопий рябчика подстрелил. Постноватая получилась похлебка, но вкусная. По стакашку водки хлопнули. Разомлел Прокопий. Разную чушь языком мелет. Джось не слушает. О своем думает. Грязными пальцами мешочек с золотом то и дело в кармане щупает. Как бы не выронить... Вот он вытащил его, подержав на ладони, сунул во внутренний карман телогрейки. Ага. Что это Прокопий умолк? Поднял голову Борис Игнатьевич — и поймал тяжелый, недобрый взгляд напарника.

«Так. Следишь — куда золото прячу...»

Бешено застучало сердце Бориса Игнатьевича, предчувствуя опасность. Шевельнулись старые подозрения. Вспомнился сон, тот окаянный, что в зимовьюшке приснился. Проньке убивать не привыкать... Как бы и меня не ухлопал... У него рука не дрогнет...

С этой минуты Джось старался держать ухо востро. Норовил подальше от Прокопия сесть, под рукой ружьишко иметь на всякий случай.

Прокопий по-своему Джося понял.

«Золотишко у него в кармане. Делиться им, по морде вижу, и не думает. Как бы, варнак, не решил меня... Нашто я ему теперь». В обиде сердце кровью зашлось. И жизнь-житуха вся перед глазами вывернутой рукавицей представилась. Обида сменилась жестокой злобой.

«Ишь, как волком смотрит. Не стукнуть ли мне его первым»,— думал Джось, потряхивая сырые портянки над костром.

Прокопий мысли его будто читает.

— Ну нет. Уж ты подыхай здесь, а не я,— бурчит он, искоса поглядывая на Джося.

А тайга шумит грозно. К гольцу ветвями тянется. Наплевать ей на этих людишек. Захочет — все на пути загородит, все тропы перепутает.

Джосю не до тайги. Золотишко все щупает. Его уже намыто килограммчика три-четыре. Не меньше... Надо хлопнуть рябого. Тогда он, Джось, может спокойно, без лишних свидетелей смотаться из этого проклятого края. А там... Море... Домик на горе... Она...

Рука тянется к старому ружьишку. И у Прокопия в руках ружье. И вдруг обоих будто кто остановил. А если промах? А если не успеешь выстрелить? Да просто осечка может случиться. Не-е-ет... Шалишь. Надо действовать наверняка. На карту поставлен дорогой выигрыш — жизнь.

Тихо положили оба ружья. В сумерках голец улыбается. Бурундучок в корягах издевательски свистит.

Кое-как перехитрили ночь у костра. Спать не спали, дремать не дремали. Не зверья — друг друга боялись. А утром снова лопаты в руки — в землю вгрызлись. Как нарочно — золото идет все богаче да тяжельше. Молчит Прокопий, а знает — где-то рядом золотоносная жила. Там, может быть, самородки один к одному лежат. А что? Ничего.

Джось тоже, как крот, в земле копается. Молчит и копается. Мыслишка черная покоя ему не дает. Надо, надо разделаться с Прокопием. Потом он намоет еще золотишка и двинется в обратный путь.

Полдень. Первые мухи ожили в эту самую весну. Вьются, жужжат над головой. Солнышко припекает спины. Лето идет, катится...

Двое недалеко друг от друга сели перекусить. И вдруг бабахнуло рядом. Эхо прошуршало над вершинами деревьев, загрохотало по горам.

Джось и Прокопий вскочили, друг к другу бросились.

— Из винтовки кто-то пальнул? — прохрипел, почти не разжимая толстых губ, Борис Игнатьевич.

— Геологи, поди,— повернулся к нему Прокопий.

— Геологи, говоришь? — Джось насторожился. Не Утельгин ли направил их сюда? Ведь эвенк давно грозился пойти в экспедицию и сделать заявку. Черт. Жалко попускаться местом. Чего доброго, потом и не найдешь его. Да... И свиданьице не хотелось бы с геологами на этом ключике устраивать.

Надвигающаяся опасность заставила Джо-

ся и Прокопия на время забыть взаимные подозрения. Борис Игнатьевич собрал свой немудреный скарб.

— Надо сматываться.

Прокопий забросил в кусты лотки. Хищники воровато огляделись и быстро пошли в сторону от гольца.

Прокопий, перепрыгивая через опутанные старой травой ямы, ломая ветки молодого сосняка, лез напролом. Джось едва успевал за ним. Бежит, торопится. А мысль в голове надоедливой мошкарой вьется.

«Может, отстать... В другую сторону податься... Золотишко-то при мне».

— Поторапливайся... Эвот через косогор перевалим... Там, кажись, река недалеко,— прохрипел почти рядом Прокопий.

«Не отходит далеко, рябая сволочь. Ну, ничего. За косогором влеплю тебе пулю в затылок. Здесь нельзя. Геологи рядом. Еще услышат». И шлепает Борис Игнатьевич за Прокопием. Хлещут по лицу колючие сосновые ветки, рвет и без того рваную одежонку молодой осинник. Цепляется, не пускает вперед ощетинившийся шиповник.

Едва поднялись на косогор, шедший впереди Прокопий испуганно присел на корточки.

— Шшш... Тихо...— прошипел он змеей и поманил Джося к себе. Тот, пригибаясь, быстро подбежал.

— Где? Кто?

— Да эвот... Видишь...— хрипит Прокопий.— Люди какие-то... Сюда, кажись, идут...

Джось, вытянув шею, как гусак, всматривается в темную таежную чащу. Что за чертовщина. Не видно никого.

— Эй, Пронька,— оглянулся Джось. А тот уж и топор над его головой занес.

Стальное лезвие молнией блеснуло в воздухе. Шарахнулся было в сторону Джось, но страшный удар настиг его. Череп глиняным горшком хрустнул. Джось, удивленно охнув, повалился боком на дышавшую теплом и нагой весеннюю землю. Прокопий видел, как задрожали и закрылись его тяжелые, красные веки. Из левого чуть приоткрытого глаза выкатилась крупная слеза и поползла по щеке, заросшей черной щетиной.

Прокопий воровато оглянулся. Тайга покачивала ветвями деревьев. Вдали блестели гольцы. На березку, под которой лежал Джось, села красногрудая чечетка. Она весело щелкнула, свистнула, покосилась удивленно на лежащего под деревом человека и улетела.

Прокопий наклонился над убитым. Вытащил из кармана его куртки увесистый мешочек с золотом. Ощупал. «Самородок тут». Из другого кармана достал бумажник с документами. Толкнул тело в яму, залитую мутной весенней водой. Здесь же омыл окровавленный топор. Торопливо нарубил веток и забросал яму. Еще раз оглядевшись, он схватил свой мешок и, запинаясь, падая, побежал к блестевшей вдали реке. Несколько раз испуганно оглянулся, точно боясь, что кто-то его догонит. Но только голец грозил ему вслед. Да мрачно шумели сосны — немые свидетели происшедшего.

На берегу Прокопий остановился. Облегченно вздохнул, лег на голыши и припал к воде. Утолив жажду, вытер губы. Ноги тряслись. Сел на круглый валун. Мимо река несется. Бурлят водовороты, облизывают прибрежные камни беспокойные волны. По кромке берега бегает трясогузка. Набежит волна — она попятится. Отбежит волна — к реке ближе лезет. Трясет головкой, покачивает длинным хвостиком. На человека поглядывает.

А тот хрипит простуженным голосом:

— Ишь... Собака... Хотел меня угробить...— Оглянулся. Погрозил кулаком тайге:— Отдыхай, Борис Игнатьевич... А я уж золотишком распоряжусь... Небось, и мы найдем, что с ним делать...

Через час, кряхтя, скатил с берега заброшенные прошлогодним половодьем бревна и стал вязать из них плот.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Что за непонятный недуг принесла на своих крыльях весна для Тамары Николаевны. Занемогла она. Показалась врачам — те только плечами пожали.

— Вы совершенно здоровы.

А сердце болит, сжимается в каком-то тяжелом предчувствии. Нет, видно, не все болезни медицине известны.

А Арон Павлович успокаивает:

— Встряхнуться тебе, дорогая, надо.

В воскресенье после обеда вышли на улицу. По узкой влажной тропинке направились к реке. С юга дул напористый, теплый ветер. Арон Павлович бережно поддерживал Тамару Николаевну под руку. Иринка бежала впереди. Вот и река. Холодная, неприветливая, она сердито несла свои мутные воды мимо. Ветер трепал гребни волн, срывал с них клочья пены. Но река снова отбирала их у него и несла дальше. В этом безмолвном, несущемся в беспредельность потоке была какая-то жуткая сила, которая одновременно и пугала Тамару Николаевну и влекла к себе. Она наклонилась и опустила руку в воду. Ре-

ка сердито хлопнула крутой волной и, словно готовясь укусить, подкатилась под ноги.

— Отойди, Томочка, дальше. Промочишь ноги — простудишься.— Арон Павлович поднял воротник серого макинтоша. Закурил. Прищурив глаза, долго смотрел на реку, на противоположный берег, на уходящую увалами дремучую тайгу. Какой мертвый, леденящий душу пейзаж... Каким таинственным и жутким мраком веет от диких зарослей вздыбленных гор... Этой мрачной и неприветливой реки... Арону Павловичу хотелось вздохнуть во всю силу — и не дышалось. Хотелось выпрямиться во весь рост, сверху посмотреть на мир, но видел он только реку, ближние горы, за ними ему представлялись опять такие же мрачные горы — и больше ничего. Он хотел крикнуть громко, громко, чтобы эхо прокатилось по горам, качнуло верхушки деревьев, заставило сдвинуться с места огромные серые тучи. И он крикнул... Но его голос оказался тихим и слабым и потонул в легком плеске набежавшей волны. А между тем трели сидящего на старой березе красногрудого чечетка были и тише, да и самой птахи почти не было видно, но ее немудреное пение было слышно далеко-далеко. И казалось, что ветер подпевает ей, волна — подыгрывает, тайга приветливо кланяется. Было что-то и в плеске волны, и в шелесте ветра, и в шуме тайги, и в пении птахи — единое, роднящее их. Одно дополняло другое, органически вплеталось в общее. Он же был каким-то инородным телом в этом море тайги, среди этих высоких толпящихся друг около друга гор, рядом с этой бурной, сердитой рекой. Не в этом ли секрет его неудач?

— Дядя Арон, давайте блины есть,— затеребила его за рукав Иринка.

Любецкий наклонился, поднял камень-лепешку.

— Давай-давай. А ну, Иринка, кто больше «блинов» съест? — размахнулся. Булькнул камень и в воду ушел.

Иринка засмеялась:

— Плохо, дядя Арон. Вот наш папа по десять блинков за раз съедал, — и притихла, увидев, как вздрогнула мать.

Тамара Николаевна отвернулась, медленно пошла вдоль берега. «Наш папа... Наш папа...» Вот уже несколько месяцев после того памятного посещения, когда Георгий Степанович позвал ее обратно, она не видела его. Как он живет? Как работает? И вдруг, неизвестно откуда, почему и зачем к сердцу подкатывалась огромная, горячая волна нежности и ласки к Георгию Степановичу.

Вот и сейчас ветер знакомым голосом шепчет ей что-то непонятное, но ласковое и хорошее. Она закрыла глаза. И сразу же перед ней встал он, Георгий. Высокий, широкоплечий, с взлохмаченной копной седеющих волос и печальными, растерянными глазами. Таким он запомнился ей, когда она сказала ему, что любит другого и уходит от него. «Как же так? Ты шутишь, Тамара?» Он не верил тогда, что она может это сделать. Тамаре Николаевне казалось, что он и сейчас не верит в это... Ждет ее, любит. А она... Действительно ли она не любит Георгия, как сказала ему в тот вечер?

Подошел Арон Павлович. Положил ей руку на плечо.

— Ты не замерзла, дорогая?— Наклонился, поцеловал ее в щеку.

— Не надо, Арон,— она отодвинулась от него.

Арон Павлович грустно улыбнулся. Он искренне беспокоился за Тамару Николаевну, за ее здоровье.

— Томочка, давай уедем отсюда. Я чувствую, что здешний климат крайне отрицательно действует на тебя.

Тамара Николаевна вздрогнула от этих слов. Быстро повернулась к Любецкому.

— Уехать отсюда? Но ведь я еще в прошлом году об этом тебя просила... Как же сейчас твоя работа? У тебя сделаны только еще эскизы, наброски к большой картине. Вдали от здешних мест ты не сможешь закончить свою работу...

— Я и здесь ее не закончу,— печально улыбнулся Любецкий.

— Почему же?

— Мне кажется, Томочка, я что-то понял.

— Что же ты понял?— спросила она тревожно.

Любецкий не ответил.

— Пойдем домой. Здесь холодно,— сказал он.— Тебе ведь холодно, детка?— Арон Павлович наклонился к подбежавшей Иринке.

— Нет, дядя Арон. Мне жарко. Вот даже носик оттаял. Сопельки побежали,— прощебетала раскрасневшаяся от свежего воздуха девочка.

— Хватит гулять. Пора домой.— Тамара Николаевна взяла Иринку за руку и пошла в гору, к виднеющимся среди частокола сосен домам.

— А я одна на речку потом приду,— закапризничала не желавшая идти домой Иринка.

— Одной нельзя сюда ходить,— строго сказала мать.

— А я с Вовой из соседнего дома сюда приду играть, — не унималась девочка.

— И с Вовой нельзя.— Тамара Николаевна оглянулась.— Не отставай, Арон.

— Нет, нет.

Любецкий шел позади. Шел и, глядя под ноги, думал. О чем? Разве не о чем человеку думать, когда он видит, чувствует, понимает... Понимает? Да что же он понимает? Ведь она в упор спросила у него, что же он понял...

Мысли, мысли... Они, как рваные облака на неспокойном, прошитом вдоль и поперек ветрами небе....

Но сколько бы ни гнал ветер туч, в конце концов небо голубеет и солнце ласкает землю. Так бывает и с человеком... Как тучи, как облака, как молнии, проносятся в его голове мысли... Их много. Но однажды приходит та, главная и единственно верная, которая очищает горизонт. И тогда человек видит и понимает свою силу или свою слабость, свое совершенство или свою убогость... Так случилось и с Любецким. Он много мучился, много страдал и долго не понимал, почему написанные им картины не волнуют людей, не вызывают у них ни радости, ни гнева, ни улыбки, ни печали. За зиму он представлял свои работы на трех выставках. Часами простаивал где-нибудь в стороне и наблюдал за посетителями. Нет. Не этого он добивался. Люди глядели на его картины, как на манекены в витринах магазинов. Они были оскорбительно равнодушны. Но стоило им перейти к стоящим рядом картинам молодого художника Рогачева, как их лица оживлялись. Арон Павлович видел в их глазах и блеск, и улыбку, и восторг, и радость. Он и сам испытывал какое-то удивительное чувство, когда смотрел на картины Рогачева. Картины этого художника были написаны неопытной рукой, им не хватало мастерства, но от них исходил какой-то неуловимый аромат. Тайга на картинах Рогачева жила. Она пахла. Картины были полны воздуха, света, солнца. И даже самый мрачный пейзаж был полон ощущений жизни. У него же, у Любецкого, было все нарисовано со скрупулезной точностью. До мелочей. До самых незначительных деталей... Но это никого не волновало. Часто он с отвращением отбрасывал в сторону кисть, швырял на пол холсты и топтал, топтал недорисованные картины с каким-то диким ожесточением. Позже усталый, внутренне опустошенный, он шел домой и, глядя на распластавшуюся вокруг города тайгу, на дома, на лица людей, понимал, что его картины слишком натуралистичны. Они как фотографии. Он фиксирует, срисовывает тайгу, но не может заставить ее на картинах шуметь, трепетать от ветра, пахнуть. Назавтра он приступил к новой работе и уже не думал и не заботился ни о деталях, ни о самом предмете, который рисовал. Он стремился идти от внутренних ощущений. Картины, как ему казалось, выражали внутреннюю сущность того явления, того пейзажа, того портрета, который он изображал. Он с надеждой нес их показать Тамаре, но она, покачав головой, говорила: «Я не понимаю, Арон, абстракций. Мне кажется, это мальчишество. Что ни говори, а глядя на картины, человек должен что-то видеть... Что-то должно его волновать... А у тебя на холсте одни краски».

«Не краски, а пейзаж. Тайга. Так я воспринимаю действительность»,— говорил он растерянно.

Тамара Николаевна пожимала плечами и уходила на кухню мыть посуду. Сама она давно забросила живопись. От прежнего увлечения не осталось и следа.

В чем же дело? Почему не получаются его картины? В чем причина его неудач? Ведь он приехал сюда на далекий, заснеженный север, чтобы всем рассказать об этом суровом крае, о тайге, о здешних людях. Он думал прославить этот край и лелеял мечту, что и сам прославится. И вот неудача. Крушение всех надежд. Но только сегодня он понял, почему это произошло. До этого он смутно, очень смутно догадывался обо всем, но не находил в себе смелости признаться в своем крахе. Это ведь трудно... Чертовски трудно вынести себе приговор. Конечно, же, гораздо труднее, чем когда этот приговор вынесут тебе другие, потому что с другими ты можешь не согласиться, с собой же не согласиться нельзя... Да, сегодня он ясно понял причину своих неудач. Он не любит этот край вечной мерзлоты, он не понимает, не чувствует сердцем тайгу. Она для него чужая. Мало того, она ему противна. Он боится ее неумолчного, грозного гула, ее дремучих, затхлых дебрей, заваленных гниющими трупами деревьев. Его пугают эти высокие бескрайние горы. Ему не-по-ня-тен восторг людей, восхищающихся этой землей. Ему непонятны люди, живущие и работающие на этой земле. Что их здесь держит? Какое счастье они здесь находят? Да, а вот Рогачев, по-видимому, любит этот край, и тайгу, и здешних людей. Любит. Поэтому ему легко и работается. Он не ломает себя, изображая на своих картинах тайгу, горы, стройки, людей труда, ибо он, как та птаха на старой березе у реки, органически связан с окружающим, является его частью. Будучи не новичком в искусстве, Любецкий понял, что вот такими, как его поездка, набегами за модными темами

шедевров не создашь. Да, надо писать только о том, что хорошо знаешь, что любишь, во что веришь. Настоящее искусство фальши не терпит.

Арон Павлович догнал Тамару Николаевну.

— Томочка, ты иди домой, а я на минутку в мастерскую зайду. — Он повернулся и торопливо, почти бегом, пошел к клубу, где находилась его мастерская.

Тамара Николаевна удивленно посмотрела ему вслед.

— Дядя Арон рисовать пошел?— спросила Иринка.

— Рисовать, Ириночка,— ответила Тамара Николаевна.

Но Любецкий пришел в мастерскую не рисовать. Отомкнув дверь мастерской, он, хотя было и светло, включил свет. С порога внимательно вгляделся в картины, стоящие у стены. Верны ли его догадки? Не ошибся ли он, не поспешил ли в своих тяжелых выводах? Ведь жизнь, многие годы труда позади. И надо зачеркнуть все это... Надо все начать сначала...

Он подошел, взял одну картину и поднес ее ближе к свету. На ней река, бледно-синее небо, лохматая, дремучая тайга... Но почему на картине не чувствуется стремительного бега реки? Почему бледно-синее небо давит и когда глядишь на картину, дышится тяжело, хочется настежь распахнуть окна и прибавить в комнату воздуха? А тайга... Почему она похожа на растрепанные кудлатые космы неряшливой бабы? Где ее величие и суровость? Где ее очарование и сила, дикость и первозданность? О чем она шумит, о чем горюет и чему радуется? И каково же отношение к ней его, человека?

— О-о-о...— тяжкий вздох вырвался из груди Любецкого. И вдруг он подбежал к картине, схватил ее и с озлоблением ударил об угол стола. Хрустнула рамка. Полотно лопнуло, смялось, перекосилось. Любецкий взглянул на него. И на миг ему показалось, что по тайге, изображенной на картине, прошел ураган. Сосны, под напором ветра, накренились, река вздыбилась, небо нахмурилось... Любецкому почудилось, что кто-то крикнул: «Вот так надо рисовать!» Оглянулся. Никого. Он с ожесточением бросил картину на пол. Схватил другое полотно и, с треском разорвав его, тоже швырнул на пол. За ним, сломанные, разорванные, измятые, полетели и другие картины. Он топтал их и ему казалось, что он топчет свое сердце. Было больно... Очень больно...

Вспотевший, с прилипшими ко лбу волосами, с лихорадочно блестящими глазами, трясущимися губами, со сбившимся набок галстуком, в расстегнутом макинтоше Любецкий был неузнаваем. Всегда спокойный, элегантный, самовлюбленный, он сейчас был полон ярости, дикой злобы и отвращения к самому себе.

— Вот... Так, так... К черту все...—И вдруг Любецкий замер. Из полутемного, заставленного фанерными щитами угла на него смотрели большие, удивительно красивые черные глаза. Он тихо подошел, взял портрет в руки и тяжело опустился с ним на табуретку. Нет, он не неудачник, не несчастный человек. У него есть любовь... Есть Тамара...

Арон Павлович вглядывался в дорогие черты на портрете, в милую, женственную улыбку, и сердце его обретало покой. Она его счастье. С ней он пройдет через все трудности и сомнения, через всю жизнь. Он еще нарисует замечательные картины. Разве не говорит об этом портрет Тамары. И как ни самокритичен был в эти минуты Любецкий, он понял, что портрет Тамары не просто портрет, а произведение искусства. На портрете Тамара Николаевна в нарядном темно-синем платье. Небрежно зачесанные волосы рассыпались по плечам и на грудь. Чуть поблескивали сережки. Больше не было никаких украшений. Но не наряд, не эти простые и непритязательные украшения говорили о красоте и характере этой женщины. Ее глаза горели каким-то лихорадочным внутренним огнем. И Любецкому казалось, что даже здесь, на портрете, они постоянно меняют свое выражение. В них было все, но не было только постоянства. Он знал, что эти глаза могут и позвать и притянуть к себе, но могут и оттолкнуть холодным презрительным равнодушием. Он сумел в портрете выразить главное — чувственность этой женщины. Но, пожалуй, лучше всего удалось выразить это не через глаза. Говорят часто, что глаза — зеркало души. Но Любецкий давно поставил это под сомнение. Лучше и ярче всего, он считал, выражают характер человека губы. Чувственные, по-детски чуть припухшие губы Тамары Николаевны были и капризны и надменны. Но в то же время от них веяло какой-то едва уловимой растерянностью перед жизнью, наивностью и непосредственностью...

«Она вся в противоречиях», — подумал о Тамаре Николаевне Любецкий. И, вспомнив о ее недуге, пришедшем с весной, решил, что надо уезжать отсюда, с севера, и увозить Тамару и Иринку. Иначе может случиться самое страшное... Ведь Позолотин недалеко. И как еще все может повернуться — предуга-

дать трудно. Да, надо уезжать... Теперь его здесь ничто не держит.

Арон Павлович с горечью взглянул на разорванные, сломанные картины, лежащие на полу. Осторожно завернул портрет Тамары Николаевны в газету и вышел из мастерской...

Дома в передней его встретила Иринка.

— А у мамочки головка заболела. Она на диванчике лежит и плачет.

— Плачет? — переспросил Любецкий, снимая пальто.

— Да, плачет. И я тоже плакала. Маму жалко.

Любецкий прошел в комнату. Подвинув стул, сел около дивана.

— Томочка, что с тобой? Тебе плохо?

— Нет, Арон. Это я так... Голова немного разболелась... И настроение какое-то тяжелое...— на белой шее тревожно бился живчик.

Любецкий взял маленькую, теплую руку в свои руки. Поцеловал.

— Это пройдет, милая. Все пройдет... Мы скоро уедем отсюда. Завтра или послезавтра мы должны улететь. Отдохнем на берегу Черного моря. Съездим в Ленинград. Нас ждет Москва.

— Нет, нет...— женщина испуганно встрепенулась, резко опустив ноги с дивана, быстро села.— Я не могу завтра... Это так неожиданно. Нет, нет Арон,— и живчик на шее колотится: «нет, нет».

— Но ты же сама все время настаивала уехать,— удивленно пожал плечами Любецкий. Руки его вспотели. В глазах тревога.

— Да, но сейчас, Арон, я не могу. Не могу уехать.

— Но почему же?

— Не знаю... Не знаю...— И вдруг она, зыкрыв лицо ладонями, заплакала.

— Мамочка, не надо... Не плачь... Не надо, мамочка,— прижавшись к матери, захныкала Иринка, и слезы градом потекли из ее глазенок.

— Нет, Арон... Нет, нет, нет... Я не поеду...

— Я тоже не поеду,— крикнула сквозь слезы Иринка.— Не поеду... Здесь мой папа...

Плечи Любецкого опустились, левая щека нервно задергалась. Арон Павлович закрыл глаза, и ему показалось, что он катится куда-то вниз, в бездну.

— Ирина. Я тебе сколько раз говорила: когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться.— Тамара Николаевна встала с дивана.

— Не поеду... Все равно никуда не поеду... Я к папе хочу...— закричала Иринка.

— Иди на улицу. Вон сколько во дворе ребятишек,— указала в окно мать.— Иди поиграй.

Девочка смахнула кулачком слезы, разыскала в углу для игрушек совочек и ведерко, надев пальто и шапку, убежала на улицу.

Любецкий и Тамара Николаевна долго молчали. В комнате тихо. На окне, безуспешно пытаясь вырваться наружу, жужжала муха. На кухне из крана крупными каплями капала вода.

Арон Павлович встал и нерешительно подошел к Тамаре Николаевне. Мучительная, искривившая и обезобразившая красивое лицо улыбка как бы застыла на его губах.

— Да... Жизнь бьет ключом... И все по голове,— плоско и невесело пошутил он.

Но ни слова Любецкого, ни его дрожащий голос, ни его тяжелое взволнованное дыхание не вызвали в сердце Тамары Николаевны никакого отклика. Она смотрела на беспокойно бьющуюся на оконном стекле муху, слушала ее отчаянное жужжание и думала о том, что чем-то похожа на эту муху. Она, Тамара, тоже увидела свет. Она тоже хочет к нему лететь, но, как муху стекло, так и ее что-то держит, что-то ей мешает. Муха никогда не сумеет прорваться сквозь стекло, сломать, проломить его, если не какое-либо случайное обстоятельство. Так, вероятно, и она. Никогда она не сумеет исправить свою тяжелую ошибку, вернуть свое утерянное счастье, если...

— Тамара!— Любецкий тронул ее за руку.— Томочка, я люблю тебя. У меня в жизни осталась только ты... Ты одна... Я прошу, умоляю тебя: уедем отсюда... Нам будет хорошо.

— Нет, нет, Арон. Только не сейчас... Подожди... Только не сейчас...

Любецкий насупился. Левая щека задергалась еще сильнее. Он наклонился к Тамаре Николаевне и зло выдохнул:

— Я знаю, на что ты надеешься,— и недобрая ревность встала в его груди на дыбы, перехватила горло, навалилась на сердце, затуманила глаза.— Я знаю... Я все вижу... Ты думаешь о нем. Ночью ты шепчешь его имя. В ребенке ты ищешь его черты. О-о-о... Я знаю... Я все знаю и все вижу...

— Арон! Арон!

— Что Арон? Ты думаешь, Арон неправ? Я прав. Тысячу раз прав. Но не бывать этому. Я собираюсь, и ты поедешь со мной.

— Арон!

— Да, поедешь.— Он подошел вплотную и выкрикнул:— Ты же ему не нужна.

— Замолчи, Арон.

— Не нужна. Ты мне нужна. Ты же гово-

рила, что у него есть котлован, бетон, Картошкин... У меня ничего и никого нет, кроме тебя. Собирайся. Вот чемоданы. Вот твои платья...— Он открыл шкаф и стал выбрасывать из него вещи.— Вот... Вот... Вот... Мы завтра же... Завтра улетим.

— Арон...— подбежала к нему Тамара Николаевна. И не договорила. В комнату вбежал мальчишка лет десяти. Испуганный, заплаканный, с широко выпученными от страха глазами, он бросился к Тамаре Николаевне.

— Тетя Тамара... С Иринкой беда... Там... На речке... В лодке...

Закачался потолок над головой. Белые стены дернулись, как вагоны отходящего поезда, и вдруг побежали, заторопились. Рядом с ними Арон с тряпками в руках. И муха на окне жужжит, на волю ломится...

Но все это было откуда-то из другого, чужого мира. А перед глазами всплывало заплаканное, полное обиды и горечи лицо дочурки.

— Иринка! Доченька... Что с тобой...— Простоволосая, полураздетая, Тамара Николаевна рванулась из комнаты.

А в это время у начальника строительства Северной ГЭС Позолотина шел серьезный разговор с прорабами и мастерами. Вчера из пароходства поступила тревожная телеграмма. Георгий Степанович взволнован. Из-за малой воды отправка из Усть-Кута барж со строительными материалами задерживается на несколько дней. В такое ответственное время и эдакая неприятность... Но надо продержаться. Цемента на стройке остались буквально крохи, и кирпича, и железа... Да, надо продержаться и дотянуть до прибытия барж. Каждый килограмм цемента, каждый кирпич, каждый кусок железа нужно взять на учет. Работы ни на минуту не должны затихать... Скоро перекрытие.

— Прошу и требую во всех бригадах, во всех производственных участках установить строжайший контроль за расходованием строительных материалов,— рубит воздух рукой Георгий Степанович.— Объясните людям сложившуюся обстановку... На ноги поставьте все контрольные посты. Бетон — только на основные сооружения и больше никуда.

— А теплотрасса?— визгливо кричит начальник управления гражданских сооружений.

— Нет. Пока выполняйте земляные работы, — твердо говорит начальник строительства.

— Нам под фундаменты жилых домов вот так бетон нужен,— пилит себе горло рукой прораб жилучастка.

— Достраивайте те дома, которые заложили. А то развели обедню. Строите много, а жить негде,— обрывает его Позолотин.

— Мне бы только кубометров пять,— тихо говорит прораб со строительства гаража.

Знает Георгий Степанович — туда надо, ох, как надо подбросить бетона, но, чуть помедлив, решительно отрезал:

— Нет.

А начальники участков, прорабы, мастера волнуются, шумят, сердятся. Это и понятно. Как работать без бетона? Как работать без кирпича?

— Эх, не то худо, что худо, а то, что никуда не годится,— теребит опустившийся вниз ус Блинов.

— Андрей Андреевич,— наклонился Позолотин через стол к Ермолаеву,— партбюро, мне кажется, тоже должно включиться в эту работу.

— Сегодня же будут проведены на всех участках собрания коммунистов и комсомольцев,— кивнул головой Ермолаев.

— И еще...— Георгий Степанович повернулся к Блинову. Но не договорил. Затрещал на столе телефон. Замигал тревожно красный огонек.

— Тише, товарищи,— взял трубку Позолотин.— Тише, товарищи, из Иркутска звонят.

Люди притихли. Кто знает — может, какая утешительная весть по проводам прилетит.

— Так. Так. Хорошо. Понятно. Мало, конечно... Очень мало. Но и за это благодарю, Александр Владимирович,— чуть улыбнулся начальник строительства. У прорабов и мастеров тоже на душе легче стало.

Телефонная трубка осторожно легла на аппарат.

— Из обкома партии звонили,— оглядел сидящих в кабинете Позолотин.— Есть договоренность. Нам разрешено взять в Покровске пятьдесят тонн цемента.

— Всего пятьдесят! — в голос выдохнули в кабинете.

— Да, пятьдесят. Два-три дня продержимся. Главное, все же надо экономить.

А на столе у начальника строительства снова затрещал телефон и красный огонек замигал. Но Позолотину не до него. Он не глядя нажал клавиш аппарата. Но через минуту опять звонок и огонек подмигивает.

— Да...— взял Георгий Степанович трубку, прикрыл ее рукой.— Да... Прием по личным вопросам у меня завтра. Да, завтра. Сегодня нет... Простите, у меня совещание.

— Завтра к вечеру опалубка должна быть сделана. А в ночь начнем укладку камнебетона,— говорит Блинов.

— Да, надо во что бы то ни стало приступить к кладке камнебетона,— кивает Позолотин. — Надо...

Но опять зазвонил телефон. Надоедливо и нудно аппарат трещал и мигал до тех пор, пока Георгий Степанович сердито не рванул трубку.

— Алло! Телефонная станция... Не соединяйте меня ни с кем. Я занят. Да, занят. Совещание у меня. Что? Кто давно хочет со мной говорить? Покровск?— И, помедлив секунду, крикнул сердито:— Соедините.

Закончив докладывать, сел на свое место Блинов. Он подвинулся ближе к открытой форточке, закурил. Пользуясь минутным перерывом, тихо переговаривались в кабинете люди.

— Да, слушаю. Что? Говорите громче. Плохо слышно,— кричал Георгий Степанович.— Да, я, Позолотин... Что? Утонул? Кто утонул?— И вдруг задрожала телефонная трубка в руках начальника строительства. Глаза его, как бы остекленев, наливались ужасом и отчаянием. Лицо почти мгновенно обрюзгло и постарело.

В кабинете наступила мертвая тишина.

— Машину. Быстро машину. С моим ребенком несчастье,— задыхаясь, выдохнул Георгий Степанович. Он поднялся, непохожий сам на себя. Спотыкаясь, как пьяный, побежал к двери...

До Покровска сорок километров. Стрелка спидометра подползла к цифре «100». Машина с бешеной скоростью неслась по колдобистой, залитой вешней водой дороге. Чирк! Чирк! — режут колеса пятаки луж.

— Быстрей! Быстрей!— торопит Георгий Степанович шофера. И кажется ему, что он еще успеет предотвратить несчастье, вовремя подоспеть.

В центре Покровска машина свернула к реке. Через минуту Позолотин заметил на берегу большую толпу. Он выскочил из кабины и побежал, проламываясь сквозь мелкий кустарник. Люди, увидя его, молча расступились. По их лицам, горестным и хмурым, он понял, что случилось самое страшное. И все же сердце отказывалось верить этому. Его тряс мелкий нервный озноб. Георгий Степанович подбежал к берегу. Глаза беспокойно шарили вокруг. Река, мутная, грозная и равнодушная, как ни в чем не бывало неслась мимо. Неожиданно Георгий Степанович у самой кромки берега увидел детское ведерко, совочек и серую, порванную на ладони рукавичку. Увидел и понял, что надеяться больше не на что. Плечи его бессильно опустились. Горло сдавили глухие, тяжелые рыдания.

— Вот здесь... На лодке играла и сорвалась...— как из-за плотной стены, доносился чей-то голос.

И вдруг, словно в тумане, Георгий Степанович увидел Тамару, а там, дальше, за ее спиной, Любецкого. Ни лица, ни фигуры, ни выражения глаз Любецкого он не разглядел. Тусклым и серым пятном маячил тот вдали, и было непонятно, почему и зачем находился этот человек здесь вот сейчас.

Тамара Николаевна медленно брела по мокрым, исхлестанным волнами камням к Георгию Степановичу. Она спотыкалась, падала, снова поднималась, заплаканная, оглушенная горем.

— Георгий... Ге-о-о-о-ргий...— Искусанные до крови, мокрые от слез губы тряслись.— Георгий... Это я... Я во всем виноватааа... — Она припала к его груди и глухо, надрывно зарыдала.

Он тоже плакал. Но молча и потому тяжело.

Страшное горе как бы вновь соединило их, и в эти минуты только они двое могли облегчить друг другу страдания.

Он гладил ее спутанные, всклокоченные волосы, и горькая пелена застилала его глаза.

Женщины, толпившиеся на берегу, смахивали набегавшие слезы, прятали заплаканные лица в уголки платков. Мужчины тяжело вздыхали. Ребятишки жались к родителям и опасливо поглядывали на реку.

Согнутая коромыслом старуха с почерневшим от времени лицом и строгими глазами, живущая в одном доме с Тамарой Николаевной, укоризненно покачала головой:

— Да. Так вот в жизни и бывает... Дети всегда за все расплачиваются...

Люди медленно уходили от реки. И вместе с ними ушел, опустив голову, Любецкий. Но еще долго можно было видеть на берегу двоих — мужчину и женщину, вглядывающихся в безмолвную, жуткую глубину сердитой реки. Да разве вырвешь у ней что обратно. Она, как жизнь, течет, бежит и никогда не возвращает утерянное.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Около распахнутых настежь ворот больницы остановился самосвал. Из кабины выскочил Картошкин.

— Здравствуй, Андрей!

— Здравствуй, Паша!

Парни крепко обнялись. Присели в стороне.

— О Прокопии ничего не слышно?— спросил Андрей.

— Нет. Как в воду канул. А новости есть,— встрепенулся Пашка.— Ходят слухи, что дом Рогулиных Джось поджог.

— Наверно, тот следователь очкастый докопался?

— Он.

— Молодец!

— Молодец-то молодец, но и Джось не дурак. Почуял, видно, что-то... Смотался.

— Куда?

— Утельгин говорит, будто в тайгу за золотом.

— Это на него похоже...— и тихо добавил:— Надо найти его. Я от Марины письмо получил. В Иркутске она. Вылечилась... Скоро сюда приедет. О делах-делишках Джося подробно написала... Чистейшей воды авантюрист. Золото кто-то для него на приисках воровал, а он через своих людей за границу его сплавлял.

— Да ну?

— Точно, Паша. Я тоже в его сети влип. На деньги сдуру-то позарился...И вот Марина, выходит, от его рук пострадала.

— Правильно мы с Маратаем ему не доверяли.— Пашка заморгал глазами, сердито засопел носом.

— Выходит, что правильно. Надо вот сейчас его не упустить... Письмо Марины я прокурору переслал... А заодно и адреса, куда «орешки» Джося посылал.

— Правильно сделал, Андрей. Правильно.— Пашка поднялся.— А Джосю постараемся перекрыть все дороги. Утельгин рассказал геологам о золоте. На днях они в тайгу ушли. Жаль вот, Граненого не нашли... Я так о нем ничего и не разузнал. Но мы еще поковыряемся, Андрей, кое-где...

Картошкин вдруг засуетился, засобирался.

— Ну, пока, Андрей,— подал он другу руку.— Теперь я уж после перекрытия Тылтыкана к тебе приеду.

— А когда перекрытие?— У Андрея кровь в лицо хлынула.

— Как когда? Ты разве ничего не знаешь?

— Нет,— выдохнул Андрей.

— Завтра в три часа дня перекрытие начнется. Все уже готово. Ну, я побежал, Андрей. Машина вон ждет. Я ведь к тебе по пути заскочил. В райкоме комсомола был.

Пашка пожал Андрею руку и торопливо побежал к машине.

— Привет ребятам,— крикнул ему вслед Андрей.

Пашка махнул рукой и заскочил в кабину. Самосвал, грохоча кузовом, скрылся за углом.

«Значит, завтра перекрытие. Что же они раньше-то мне ничего не сказали?— обидчиво подумал Андрей, направляясь в больничный корпус.— Черти... Ведь он мечтал об этом дне. Ждал его. Делал все, чтобы приблизить. И вот — на тебе. Сиди в этой белой, чистенькой, опостылевшей больнице. Нет уж... Черта с два».

Забежал на крыльцо и сразу же в кабинет главврача.

— Яков Яковлевич, выручайте.

Тот строго глянул из-под толстых очков.

— Что такое, Романов?

— Тылтыкан завтра перекрывают... Отпустите... Я же здоров...

Улыбнулся врач.

— Недельку придется полежать еще,— и повернулся к другому больному.— Дышите глубже, Сидоров.

— Но, Яков Яковлевич...

— Романов, не мешайте, пожалуйста, работать. Откройте рот, Сидоров... Шире... Еще шире... Скажите «а-а-а».

— А-а-а...— орет Сидоров.

Андрей из кабинета вон. Полы халата, как крылья, распустились, по ногам хлещут. В палате больные к обеду готовились.

— Не пойду обедать,— злится Андрей.

— Да ты не нервничай. Без тебя реку перекроют,— успокаивает его Алешка-цыган.

Старик беззубо смеется:

— Верно... Верно...

— Знаю, что перекроют. Но ведь это один раз за несколько лет на строительстве гидростанции бывает. Это же событие.

— А ты не отпрашивайся... Смотайся и дело в шляпе...— советует Андрею Алешка.

— А, пожалуй, и верно...— обрадовался Андрей и к старику сунулся.— Помогите...

— Чем же я тебе, милый, могу помочь?— удивился тот.

— Достаньте мне какую-нибудь одежонку. Вы же недалеко отсюда живете. Скажите кому-нибудь — пусть принесут...

— Ну и бедовый же ты, парень,— качает головой старик.— Узнаю себя. В молодости такой же настырный был.

Он рад помочь Андрею.

— Завтра утром старушка моя должна прийти... Так я ей скажу... Она все устроит...

Утром Андрей уже держал в руках узелок с одеждой.

Старик, выглядывая из палаты в коридор, командовал:

— Оболокайся по-быстрому. Нет никого.

Да в штанинах не запутайся. Штаны-то я шил на флотский манер.

Андрей в стариковском одеянии — как великовозрастный детина в ребячьем костюмчике. Штаны чуть не до колен. Руки из пиджака почти по локти торчат. Алешка смотрел на него и дико хохотал. Приседая, бил себя по ляжкам. Старик одергивал на Андрее пиджачок.

— Как бы швы не расползлись... Осторожненько...— А сам напутствовал Романова:— Не советую идти по дороге... Посадит не посадит шоферня — бабушка надвое сказала... Народ они занятой... Около каждого прохожего останавливаться им некогда... Вот и будешь пыль дорожную глотать...

— Что же делать?— Андрей натянул на голову захудалую кепчонку. Алешка фыркнул и отвернулся к окну.

— А ты, как выйдешь за город, сворачивай налево. Там тропинка есть. Вот по ней и иди. Через горы-то раза в три ближе. Дойдешь до перевала, тропинка разбежится на две узеньких дорожки. Одна ведет на прииски, а другая — к реке. Иди к реке. А там по берегу топай вверх по течению. Дойдешь до устья, где Тылтыкан в Витим впадает. Здесь уж сам увидишь, куда идти. Недалеко и ГЭС.

Старик замкнул на крючок дверь. Открыл окно. Осмотревшись по сторонам, прошептал:

— Давай, Андрюха, выскакивай. Эх... Когда-то я вот так же удирал... Из госпиталя на фронт...

Андрей осторожно спрыгнул на землю. И бегом, бегом около забора. Старик и Алешка высунулись из окна, помахали ему вслед. Петляя по переулкам, Андрей вышел за город. Повернул к лесу. Тайга встретила его птичьим гомоном, терпким смолистым ароматом оживающих от зимней спячки деревьев, легким шуршанием падающей хвои. Все здесь радовалось солнцу, теплу, весне. Андрей шел и улыбался. Улыбался земной красоте, солнечным лучам, суетящимся на деревьях птицам... Вот и вершина горы. Тропка, ударившись о закутанный мхом большой валун, раскололась на две узенькие дорожки. Правая убегала в тайгу. Левая, петляя, спускалась к блестевшей вдали реке.

Андрей, придерживаясь за стволы деревьев, торопливо пошел к реке. Красавец Витим. Широкий, стремительный, недавно освободившийся ото льда, он мчал свои воды на север, словно поторапливая зиму— чтобы она, надоевшая всем, поскорей убиралась из этих краев.

На крутом берегу Андрей остановился. Кажется, давно ли он сюда приехал. А ведь уже почти год прошел. Год. Многое в его жизни произошло. Многое... Андрей чувствовал, что стал острее ощущать окружающий его огромный мир и свое место в нем. Да, он теперь знает, где его место. Он в могучем строю рабочего класса, а не среди обывателей. И сознание того, что он нашел верную дорогу в жизни и вступает на нее здоровым и сильным, отозвалось в его сердце радостью. А мир земной звенел, дышал, расцветал.

Под берегом, около самой воды, вздрагивая, покачивался маленький кустик черемушника. Его задевали проплывающие льдины, царапали плывущие с верховьев обломки деревьев. А он, маленький, едва заметный, гнулся, но не ломался.

«Выживет ли? — подумал Андрей. И ответил себе: — Выживет». Вон вся река в черемушнике. Как зацветет — залюбуешься. А ведь каждый куст когда-то начинал вот так же свою жизнь — робко, нерешительно. Каждый кустик река и поила своей водой, и пыталась согнуть, сломать. Но выжили они, эти кустики, и стали красивыми деревьями, потому что тянулись к солнцу, а корни их уходили глубоко в землю... Так и человек... Да, так и человек. Если тянется он к солнцу, если верит в людей — выживет, найдет свою дорогу в жизни.

Андрей глубоко вздохнул. Захотелось крикнуть что-нибудь веселое, задорное. Сложив руки рупором, он поднес их ко рту.

— Ого-го-го... о-о-о...

Эхо запрыгало по макушкам деревьев, взмыло над синими хребтами.

Часто прозрение приходит к людям в самые неожиданные минуты. Так случилось и с Андреем. Только сейчас, вот здесь, на берегу быстрой, холодной, северной реки, среди просыпающейся от зимней спячки тайги, он, Андрей Романов, впервые ясно и отчетливо, до боли в сердце, до слез понял, что такое жизнь, как замечательна, как прекрасна она. И душа его сжалась от любви к людям, к родной земле, ко всему этому сверкающему солнечному миру. Он подумал, что надо не только любить жизнь, но и дорожить ею. Не по пустякам разбрасываться, а подчинять ее высокой цели, чтобы имела она смысл, чтобы приносила радость другим людям. Только так. Иначе и жить не стоит. И если совсем недавно Андрей смутно мечтал о чем-то хорошем и большом, то сейчас он ясно знал, зачем он живет и чего хочет. И еще он понял, что он счастливый человек на земле. У него есть любовь, есть друзья и этот сверкающий в солнечных лучах мир. Как это он раньше не до-

думался, что все это просто. Просто все как...

Но что это? Андрей увидел, как из-за скалистого мыса река выбросила маленький плот. На нем стоял человек. Он ловко орудовал длинным шестом, то отталкивая приближающиеся к плоту льдины, то плавными движениями направляя плот строго по середине реки. Не доплыв до места, где стоял Андрей, человек на плоту вдруг засуетился. Видно было, как он резкими, сильными движениями старается сбить плот с взятого курса.

— Чего он испугался? — подумал Андрей. И вдруг увидел, какая опасность подстерегает впереди человека на плоту. Река, разорванная в верхнем течении большим островом на два русла, внизу вновь сливала свои воды. Два потока, падая с крутых перекатов, стремглав бросались друг к другу и, точно истосковавшись после разлуки, накрепко сливались в бурном объятии. Вода здесь поднималась волнистой, растрепанной гривой, крутилась воронками, бурлила водоворотами. Плот несся в этот водяной ад. Андрей видел, как человек с шестом, не сумев направить плот по безопасному пути, присел на корточки, сжался в комок, бессильный предотвратить надвигающуюся опасность. И может, проскочил бы плот через окаянное место, да вдруг из-за частокола тальника, откуда вырывался второй рукав реки, вынырнула и, перерезая путь плоту, понеслась огромная льдина, щербатая, скользкая, вылизанная вешними водами до синевы. Она плыла прямо на плот. Ближе... Еще ближе... Вот она совсем рядом... Резкий удар. Глухо стукнули бревна. Плот перевернулся и скрылся под водой.

Андрей видел, как человек, взмахнув руками, прыгнул на льдину, но не удержался, соскользнул с нее. Раздумывать было некогда. Романов сбросил с плеч телогрейку. Сдернул с ног ботинки.

— Держись... — крикнул он, не заботясь, услышит кто или нет. Свой собственный голос придавал ему силы и смелости. Он бросился в реку. Как огнем, обожгла холодная вода. Сжав зубы, Андрей поплыл к водовороту. Остатки разбитого плота—короткие бревна — равнодушно покачивались на волнах, неслись вниз по реке. Подплыв к ним, Андрей увидел человека. Он, выбиваясь из последних сил, пытался догнать скользящее впереди бревно. Андрей придержал бревно.

Утопающий судорожно, мертвой хваткой вцепился в него. И тут, взглянув на спасенного им человека, Андрей узнал в нем Прокопия. Андрей не поверил своим глазам.

— Ты... — подплыв вплотную к посиневшему от холода, окровавленному человеку, крикнул он, еще думая, что ошибся.

В остекленевших мутных глазах Прокопия черной тучей мелькнул ужас.

— Я самый... — прохрипел он. — Может, не стоит за бревно-то держаться? А?

— Подгребай к берегу, — сердито крикнул Андрей.

Так, держась за одно бревно, они подплыли к песчаной отмели. Обессилевший, совсем заколевший от холода Прокопий не смог подняться на берег. Андрей помог ему встать. Держа под руку, вывел на сушу.

— Снимай одежду. А я за спичками сбегаю.

Через несколько минут среди камней заполыхал костер. Развешивая на кустах мокрую одежду, Андрей искоса поглядывал на Прокопия. Тот сидел около костра и выжимал рубаху. Руки его тряслись. Худое костлявое тело покрылось мелкими, как у общипанной курицы, пупыречками.

— Куда же это ты плыл? — спросил Андрей.

Прокопий вздохнул тяжело. Натянул рубаху.

— Я спрашиваю, куда ты плыл? — сердито переспросил Андрей.

Подувший с реки ветерок наклонил поднимающийся в небо столб дыма и окутал им Прокопия. Тот закашлялся. Вытирая слезящиеся глаза, проговорил глухо:

— За счастьем плыл.

Губы его хищно сжались. Взгляд тревожно вильнул к висящей на кусте мокрой куртке.

— За счастьем? — удивленно вскинул брови Андрей. — Что за чертовщина. — Он засмеялся. — Какое же это твое счастье?

— А вот какое.— Прокопий рванул с куста мокрую куртку. — Я тебе покажу, какое бывает счастье... Покажу... — Пальцы остервенело рвали на мешочке шнурок. — Вот оно, счастье. — Прокопий хохотнул и высыпал на ладонь желтые зернышки металла. — Вот... Вот оно...

— Что это? — недоуменно спросил Андрей.

— Золото. Настоящее... Еще тепленькое... Прокопий подбросил золотники на ладони.

— И ты считаешь это счастьем?

Прокопий неожиданно замер. Хищный блеск в глазах исчез. В них остался только страх, жуткий страх человека, у которого отнимают в жизни последнюю надежду.

— А разве нет? Разве это не счастье — иметь столько золота? Это деньги. Это жизнь. Это все! — крикнул Прокопий, наклонившись к Андрею.

— Нет, Прокопий. В мире произошла переоценка ценностей. Ты этого не заметил.

— Ты зло шутишь, бригадир. — Прокопий поднялся, сжал кулаки.

— Год назад я думал так же, как ты. Повторяю — в мире произошла переоценка ценностей. Чем быстрее поймешь это — тем лучше для тебя...

Прокопий хмуро молчал. Мозг его лихорадочно работал. Кто же из них прав: Джось или вот этот парень?

И вдруг в его глазах, как последний луч надежды, сверкнули хитрые, коварные огоньки. «Все продажные — и ты тоже», — подумал он и подвинулся к Андрею.

— Послушай, Андрей. Я виноват перед тобой. Зашиб тогда тебя здорово. От злобы это. От темной злобы к людям. Так ты, того... Прости меня... На вот... Ты молодой, тебе пригодится.... — Прокопий протянул Андрею мешочек с золотом. На... На... Что же ты, бери!

Андрей оттолкнул от себя Прокопия.

— Зачем оно мне? Зубы у меня хорошие. Вставлять золотые не думаю...

— Глупый. Продашь кому-нибудь или государству сдашь. Большие деньги получишь. Припеваючи всю жизнь будешь жить...

— Деньги признаю только заработанные честным трудом.

— Не хочешь простить. — Прокопий исподлобья посмотрел на Андрея.

— Я не поп. Чего тебе мое прощение. Ты сам себя прости. Будешь жить честно — все простится. Люди не злопамятны.

— Не возьмешь золото? — крикнул Прокопий. И в крике этом были и боль, и страдание, и последний, гаснущий луч надежды.

— Нет.

Плечи Прокопия безвольно опустились. Весь он обмяк, словно кости его тела потеряли твердость и силу.

— А я... я ведь из-за него... человека убил... — прошептал он посиневшими губами.

Андрей вздрогнул, встал и отошел от Прокопия и от протянутого золота.

— Убил... — повторил Прокопий. — Джося я убил.

— Как же так? — подбежал к нему Андрей — Джося?!

— А вот так... и угробил... Из-за золота... Или он меня, или я его. Кто-то должен был кого-то... Эх... — Прокопий, закрыв глаза, замотал головой, схватился рукой за горло. — Жизнь моя черная... — И вдруг он остервенело тряхнул мешочек, шагнул к воде. У кромки берега оглянулся на Андрея: — Эх, мать твою перемать... — Широко размахнулся и бросил золото в реку. Золотники, глухо булькая, полукругом рассыпались по воде.

Река равнодушно текла мимо.

— Смотри-кось, как пули, падают, — повернулся рябой.

— Я не видел, как пули падают, — сказал Андрей и, набросив на плечи телогрейку, зашагал по тропинке в сторону стройки.

Прокопию стало страшно. Неужели он останется здесь один? Никому ненужный, брошенный. И вдруг он крикнул.

— А вот отец твой видел, как падают пули.

Смысл этих слов не сразу дошел до Андрея. Но вдруг его точно огнем обожгло. Он резко остановился. Повернулся к Прокопию. Рванувшись, подбежал к нему, схватил за ворот рубахи и, вглядываясь в рябое, изрытое оспой лицо, прошептал:

— Ты знал моего отца?

Прокопий кивнул головой:

— Встречались.

Андрей ближе подвинулся к рябому.

— Откуда ты знал моего отца?

Глаза Прокопия забегали, заюлили.

— Ты... Граненый? — прошептал Андрей. Он задыхался.

Прокопий вздрогнул.

— Ты знаешь Граненого? — Прокопий испуганно отступил от Андрея назад, к самому берегу.

Андрей грозно шагнул к нему.

— Я давно ищу убийцу моего отца и моей матери.

— Это не я... Не я... — забормотал Прокопий.

— Ты убил их, — глаза Андрея налились ненавистью.

И вдруг Прокопий упал перед ним на колени. Худой, оборванный, он был жалок.

— Прости меня, Андрей. Время тогда такое было.

— Время? Сейчас такое же суровое время... Теперь я понимаю твою злобу к людям, ко мне... Ты не можешь простить нам, что дело наших отцов победило. Встань, негодяй!

Андрей был страшен. Его побледневшее лицо судорожно подергивалось. Глаза потемнели. Черные лохматые брови нахмурились. Нет, это был не тот парень, который на стройке докапывался до причин мрачного настроения Прокопия. Сейчас это был боец, готовый отомстить и за кровь своих погибших родителей, и за себя, за дело, в которое верит, которому посвятил жизнь.

— Встань, негодяй, — приказал он Граненому. — Ты думаешь, что мы перестали быть врагами? Нет... — Он не договорил. Ползав-

ший по земле Граненый неожиданно вскочил. В руке у него был большой камень. Он замахнулся на Андрея, но ударить не успел. Страшный встречный удар поверг его на землю. Он поднялся, испуганно озираясь, отбежал в сторону. Андрей, сжав кулаки, шел на него. Открытый, честный бой был явно не для Граненого. Привыкший действовать ночью, из-за угла, нападать сзади, сейчас Прокопий струсил. Жуткий, мертвящий душу страх сковал его тело. Он испуганно оглянулся по сторонам. Бежать некуда. Справа навис крутой скалистый обрыв, слева и позади грозно клокотала бурная, холодная река. Но самое страшное — впереди. Он, этот парень, шел медленно. Ждать от него пощады бесполезно. В эту минуту у Прокопия шевельнулась горькая мысль: вот, дескать, всю жизнь боялся суда, прокуроров, а доканал Матвея Романова сынок. Но мысль эта мимолетная. Она быстро пришла и быстро растаяла в голове.

Но Андрей все ближе и ближе. Прокопий видит его твердо сжатые губы, горящие ненавистью глаза. И кулаки. У этого парня страшные кулаки. И Граненый не выдержал. Он медленно попятился назад. Вот его голые ноги лизнула холодная витимская волна. Но что она ему? Он пятился и пятился от страшных глаз Андрея. И не выдержал. Вдруг повернул и, поднимая ворохи брызг, побежал в глубь реки.

— Стой, сволочь, — рявкнул Андрей. Но этот крик еще сильнее подстегнул Граненого. Он все глубже и глубже забирался в реку. Метрах в десяти от берега быстрое течение подхватило его, и он поплыл к противоположному берегу.

— Уйдет же, гад, — Андрей рванул с себя телогрейку. И уж совсем было хотел броситься вслед за Граненым, но потерял его из вида. Как ни всматривался в гребешки волн — один только раз увидел вроде бы руку человеческую над водой, зовущую на помощь. Да где там... С Витимом шутки плохи. Разок можно вырваться из его объятий. Попадешься еще — несдобровать. Но кто знает — может, и выплыл бы Прокопий, может, и не настигла бы его карающая рука Андрея и может, забытый всеми, полный желчи и злобы, дожил бы он свой век где-нибудь, как крот в норе. Но не произошло такого. Золото погубило его. Тот самый самородок, который спрятал в кармане брюк, не дал ему плыть далеко. На середине реки камнем потянул на дно. Накрыла крутая, тугая волна Прокопия, перевернула и понесла вместе со щепками, хламом, прошлогодним гнильем.

Потрясенный всем случившимся, Андрей долго стоял на берегу. И встреча с Граненым, и его признание, и гибель — казались чудовищным, кошмарным сном. Но это был не сон. Около костра валялись изорванные, разбухшие от воды сапоги Прокопия. Рядом с ними куртка, кожаный мешочек из-под золота. Андрей подошел и бросил весь этот хлам в реку. Сел на бревно. Обхватив голову ладонями, долго сидел так, задумавшись.

С гор хлынул холодный воздух, несущий с собой запах тающего снега, он встал и, подобрав телогрейку, оделся. Где-то вдали куковала кукушка. В реке плеснула большая рыбина. На берегу между камней бегала, покачивая хвостиком, трясогузка. Жизнь на земле шла своим чередом. Далеко за синей горой ухнул глухой взрыв. Андрей прислушался. Да, это рвали скалы на строительстве гидростанции. Андрей торопливо собрался и размашисто зашагал по берегу реки в сторону стройки. А навстречу ему, через горы, через весеннюю, просыпавшуюся тайгу, уже несся едва уловимый, но такой знакомый и близкий сердцу рабочий гул. Там, впереди, люди делали свое большое дело.

Андрей торопился к ним.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Три часа дня. В глубокое, без единого облачка, небо взвилась зеленая ракета. Она описала круглую дугу и, не успев догореть, врезалась в воду. И в тот же миг сизый дым окутал котлован. Взревели моторы, и потонули голоса людей, исчезли их возбужденные, взволнованные лица.

На какой-то миг Позолотину показалось, что он снова на фронте. Вот сейчас, через минуту, их танковый полк пойдет в атаку... Загрохочут гусеницы танков, раздадутся оглушительные залпы орудий... И сжалось в уже забытой за давностью лет боевой тревоге сердце. И готовые прильнуть к смотровой щели башни прищурились глаза...

Георгий Степанович улыбнулся далеким воспоминаниям, огляделся. Да, началась атака. Но не на чужие окопы, а на реку. Подошла долгожданная минута штурма Тылтыкана. Вот на мост влетел пятнадцатитонный самосвал. В его кузове огромный обломок скалы. На каменном рыжем боку угрожающе-веселая надпись: «Берегись, Тылтыкан!»

Первая машина с грузом, развернувшись, уже подпятилась к бурлящему потоку и остановилась на самом краю банкета. Всем хочется посмотреть, как будет сброшен в воду

первый камень. Жмут — напирают на банкет со всех сторон. Как же... Первую реку на вечной мерзлоте перекрывают. Такое просмотришь — век себе не простишь. И уже было хотел поднять красный флажок Георгий Степанович, но, услышав за спиной чей-то тревожный возглас, опустил руку. Оглянулся. Оглянулись и люди. Из экскаватора, что в ближнем карьере, выскочил Утельгин. К мосту рванулся — рубаха пузырем. Впереди его Аренаут несся. А навстречу им с крутой горной тропы цепочка людей с рогатыми оленями на поводу спускалась. Олени упирались, испуганно шарахались в кусты. Но эвенки упорно тянули их за собой. Впереди всех старый эвенк. Его отороченная белым мехом куртка подпоясана алым кушаком. Новенькие ичиги поскрипывали на ногах. Ладонь к глазам — в котлован всматривался, взглядом шарил... И вдруг выронил поводок старик. Олень мотнул головой и полез в кусты. Старик потянул дрожащие руки навстречу бегущему к нему человеку.

— Утельгин. Сын мой... — Старый Тымкель прижал к груди сына.

— Етты, етты, Утельгин, — кивали Утельгину попутчики его отца.

Утельгин улыбался. Отец приехал... Охотники приехали... На стройку решили посмотреть. А где же Джагда? Под руку повел он старого Тымкеля к людям. Вот и Джагда навстречу бежит. Щеки, как жарки, горят.

— Батька, однако, мой, — улыбнулся ей Утельгин и повернулся к старому Тымкелю. — Это Джагда, отец...

Старик прищурился. Вытер костлявыми пальцами слезы.

— Джагда, говоришь... — и старый Тымкель, оглядев девушку с ног до головы, хитро улыбнулся: «Однако, моя будущая невестка, однако, мать моих будущих внуков. Однако, будущая хозяйка нашего дома. Эх, хэ-хэ...»

Старый Тымкель покачал головой и, причмокивая, как ребенок, губами, с удовольствием засосал давно погасшую трубку.

Уловил улыбку старого Тымкеля Утельгин. Обрадовался. «Однако, понравилась отцу Джагда. Может, с нами старик останется... Не пойдет в тайгу... К новой жизни привыкать будет». И вдруг засуетился.

— Торопиться, отец, надо. Первый камень сейчас в Тылтыкан бросать будем.

И верно. На берегу Георгий Степанович уж флажком махнул. Вздрогнул кузов машины и медленно, словно нехотя, стал подниматься. Выше. Еще выше... Люди дыхание затаили. Огромный камень, казалось, прилип к кузову. Но вот он скрежеща пополз по железному днищу и скользнул в реку. Вода как-будто испугалась, расступилась. Камень ушел в мутную пучину.

Только мелькнули два угрожающе-веселых слова: «Берегись, Тылтыкан!»

И началось...

Один за другим шли к банкету груженые МАЗы. Каждую минуту в реку обрушивалось по пятнадцать-двадцать кубометров скалы. Но этого мало... Мало. Позолотин тревожно поглядывал на часы.

— Черт. И придумать ничего нельзя.

Неприступной стеной стоял крутой правый берег. Отсыпку перемычки можно вести только с левого берега так называемым «пионерным» способом. Неудобно, тесно на банкете — значит, и трудно. А река катится, бушует. Крутые волны сердито урчат, подкатываются под банкет и легкими щепками уносят огромные скалистые глыбы.

— Нет... Эту реку так не возьмешь, — безнадежно машет рукой Соболев.

— Вот наплавной мост бы... как на Иркутской ГЭС или в Братске...

— Чудак, — криво усмехается Пашка Картошкин, — где же тут мост поставишь. Видишь — на том берегу скала вплотную подступила.

— Верно, Паша, — поддерживает его Блинов: — Наплавной тут будет ни к селу, ни к городу.

Позолотин думает о другом. Нет-нет да и пустует банкет. Не нравится это ему. Выходит, великоват разрыв между машинами.

— Дать диспетчеру команду увеличить количество машин.

Стонал, покачиваясь под тяжестью МАЗов, мост. Гудел сотнями моторов котлован. Поднимая фонтаны брызг, летели в проран огромные камни, бетонные кубы, щебень, песок, галька... Река сердито пожирала все это, но продолжала свой бег.

Вот уже на землю опустились жидкие весенние сумерки. А машины шли и шли. Разворачивались, пятились к краю банкета, задирали кузова и, сбросив груз, снова уходили в рейс. Притихла на берегах тайга. Заглядывали с крутых откосов в котлован сосны. Казалось, и они ждали исхода поединка...

Потрескивают сучья в тайге. Андрей пробирается к стройке. Он видит светлое зарево огней над котлованом. Тайга не пускает, держит. Оступился в яму, полную воды. Скорчился от боли. Постоял минутку и снова нырнул в чащу. Хлещут по лицу, царапают по одежде колючие ветки Вот и берег Тылтыкана. Удачно вышел. Около самой башни ка-

бель-крана. Огляделся. Ух, ты... Весь котлован виден внизу. Залит огнями. Светло, как днем. В котловане народу полно. Машины одна за другой проносятся с бешеной скоростью. А вон и проран. Вода в нем белой гривой вздыбилась, кипит.

— Эй, Андрюха! — Из кабель-крана медведем вывалился Маратай. Бросился к Андрею. — Дружище! Ты как здесь очутился? — Облапил ручищами, смеется. — А я смотрю сверху — кто это из тайги в такую пору вынырнул...

— Сбежал из больницы... На перекрытие решил посмотреть... Ты знаешь, Маратай... — хотел Андрей рассказать о встрече с Граненым, да не успел.

Из кабины кабель-крана высунулась лохматая голова Коршуна:

— Домбаев. Слетай-ка птицей в котлован. Говорят, авария там.

— Айда вниз, — кивнул Маратай.

— Авария... Где авария? Кто сказал, авария? — Позолотин бросился к телефонной будке. А чуткое ухо улавливает: вроде реже машины к прорану стали идти. — Диспетчер... В чем дело?

— В карьере «Уралец» вышел из строя. Мотор упора стрелы сгорел, — прогудело в трубке.

— Как остальные три экскаватора работают?

— Все в порядке.

— Вместо «Уральца» поставьте «Воронежец». Что? Ничего, что однокубовый.

На однокубовом экскаваторе работает Утельгин. Его машина стояла в резерве. Узнав об аварии, Утельгин махнул отцу и Джагде. Сам к экскаватору побежал. Быстрой лаской в кабину метнулся.

— Подъезжай вон к тому карьеру, — крикнул ему Прохоров.

Экскаватор загрохотал гусеницами.

— Ну, этот, кажется, наработает, — сердито сплюнул сквозь зубы выскочивший из кабины МАЗа шофер. Он зачерпнул резиновым ведром воды из реки и залил в пышущий жаром радиатор. — Будет в час по чайной ложке грузить, — ворчит шофер.

— Почему так? — уставилась на него девчонка-регулировщица.

— Почему, почему? — передразнил ее шофер. — Соображать надо. Не видишь, что ли... Экскаваторишка-то однокубовый, а в мой кузов три куба входит.

«Воронежец» издали похож на жучка-паучка. Катится по дороге, носом-ковшом поклевывает. Люди с недоверием поглядывали на жучка-паучка. Разве это экскаватор... Тут такое горячее дело... Шагающий бы впору...

— Эх, мать честная. Верно говорят: где тонко, там и рвется, — сердито сплюнул Блинов. Оглянулся. А где же Пашка? Его словно ветром сдуло. Ни Соболева рядом, ни других бетонщиков. Даже девчата куда-то сбежали. Что за чудеса в решете? Оглянулся Григорий Иванович и вдруг тоже с места сорвался. Помолодому побежал к мосту.

— Андрюшка! Ты что, с луны свалился? — Блинов протолкался ближе к Андрею. Глянул в его голубые глаза, обнял. — Ну как, парень?

— Все в порядке, Григорий Иванович, — улыбнулся Андрей. — Все в порядке.

— Пойдем, Андрюша, скорей к банкету... Оттуда хорошо видно. — Галинка потянула Андрея за рукав. А в глазах ее — счастье: — Андрей... Милый.

— Пойдем. Пойдем, Андрей, — улыбаются все вокруг.

— Это Утельгин на своей машине к карьеру ковыляет, — крикнул в сторону громыхающего экскаватора Пашка.

— Утельгин? — удивился Андрей.

— Он... Он... — подтвердил Блинов.

— У него сегодня экзамен на аттестат зрелости, — улыбнулся Маратай.

— Подарю ему самый шикарный букет цветов, — лукаво взглянула на Андрея Галинка.

А жучок-паучок уже заполз в карьер. Ковшом, как насосом, в породу уткнулся. Утельгин выскочил из кабины. Э-хэ-хэ... Подъехать едва успел, а к экскаватору уже очередь машин караваном вытянулась. Река не ждет. Река подмывает отсыпанный банкет. Надо торопиться.

— Давай начинай, — кричит, торопит Утельгина прораб.

Но Утельгин не торопится. Знает охотник — прежде чем выстрелить, надо хорошо прицелиться. Шибко хорошо... Обошел экскаватор. В сторону отбежал. Влево-вправо головой повертел. Прикинул что-то. Однако, славно так будет... — И махнул регулировщице:

— Одну машину, однако, с этой стороны экскаватора ставь, другую — с той стороны...

Поняла его курносая девчонка. Поняли и столпившиеся около первой машины ребята-шоферы.

Утельгин в экскаватор, шофера — по машинам. Первых два самосвала лихо развернулись и замерли по бокам экскаватора. Утельгин выглянул из кабины. Поплевал на мозолистые ладони. Положил руки на рычаги. Машина вздрогнула.

Стальной ковш зарылся в крутой отвал

скалистой породы. Поворот влево — и первый кубометр скалы упал в кузов машины. Поворот вправо — вторая машина присела под тяжестью грунта. Не прошло и минуты, как груженые самосвалы, оставляя позади себя шлейфы сизого дыма, устремились к банкету. А экскаватор, словно почувствовав в себе силу, грохотал, вертелся, вгрызаясь в крутой скалистый отвал. Машины одна за другой отходили от него к реке. Андрей, Пашка, Дора, Маратай, Блинов и другие, толпившиеся недалеко, не могли разглядеть лица машиниста. Он в эти минуты как бы слился с машиной. Экскаватора как такового, с заводским номером, с громыхающими, скрежещущими частями, не существовало. В карьере работала человеко-машина. Это был механизм, в который Утельгин вложил свою душу и сердце, сделал ее частицей своего тела, одухотворил...

Старый Тымкель улыбался и кивал головой.

— Так, так, сынок...

Тихо и радостно посмеивалась Джагда.

— Вот, гад, дает! — весело крикнул Пашка. И столько в этом грубом слове было восторга, восхищения, что все стоящие рядом хорошо, по-доброму засмеялись. Эта радость людей была, пожалуй, высшей оценкой работы, которую может заслужить человек. Но Утельгин ничего и никого не видел и не слышал, кроме своей машины...

Темпы перекрытия реки нарастали. Позолотин стоял на краю банкета и внимательно следил, как сужается проран между отсыпаемой перемычкой и правым берегом. Слева драглайн, поднимая ныряющим в воду ковшом фонтаны брызг, разбирал перемычку, отгораживающую котлован от реки. Здесь вода должна устремиться по отводящему каналу к донным отверстиям. Драглайн работал торопливо. Насыпь из песка и гравия таяла на глазах.

Георгий Степанович припомнил, с каким трудом два года назад пришлось отсыпать эту перемычку. В то время река, еще не знавшая прикосновения рук человеческих, яростно сметала все со своего пути. Несколько раз она подмывала перемычку, много раз люди сутками не уходили по домам, отстаивая котлован от затопления. Все это далеко позади... Далеко позади. Сейчас перемычка не нужна. Она сделала свое дело. Ее надо убрать. Да, такова жизнь. Что отжило — должно уступить место новому или будет сметено его мощной волной.

Подошел Ермолаев. Парторг сегодня с самого раннего утра на ногах. Устал — едва стоит.

— Смотри, Андрей Андреевич. Сейчас река по новому руслу побежит, — сказал, волнуясь, Позолотин.

Ковш драглайна загреб очередную порцию гравия. И вдруг тоненький ручеек воды, петляя, побежал к зияющим черной пустотой донным отверстиям. Он, как разведчик, прятался в каждую впадину, в каждую ямку. Затаившись, поджидал подкрепления. А оно у него было мощное и надежное.

Река, пока еще сдерживаемая перемычкой, уже рвалась, напирала. Поток рос, ширился. Грязный от мусора и глины, тащивший за собой щепки, обломки досок, ветки, выполняя самую трудную и черную работу, он нырнул в правое донное отверстие. Драглайн торопливо продолжал расширять проран. То, что не успели сделать люди, сделала сама река. Мощный поток неожиданно разорвал перемычку. Вода крутой волной хлынула в донные отверстия. Она бурлила, клокотала, поднимаясь все выше и выше.

Смутная тревога охватила Позолотина при виде этой бушующей стихии. Пока река подчинялась воле и силе человека — все было в порядке. Но войдет ли она в донные отверстия? Хватит ли ей места в этих бетонных трубах? А что если в расчетах сделана ошибка?

Георгий Степанович с беспокойством смотрел то на сужающийся проран перекрываемого русла реки, то на поток, влетающий в донные трубы. Одна за другой летели в сторону недокуренные папиросы.

Занималось утро. За дальними высокими горами сквозь ночную мглу и густой туман пробивался новый день. А машины непрерывной вереницей все шли и шли к банкету. Но теперь Георгий Степанович твердо знал — река будет побеждена.

Глядя вокруг, слушая дыхание стройки, где знаком каждый камень, каждый бугорок, всматриваясь в лица людей, ставших здесь на севере родными и близкими, он почувствовал, как в его душе поднимается бурная волна радости. Она как бы подняла его над землей, позволила внимательней вглядеться в глаза чернобрового Утельгина и в юное лицо Пашки Картошкина. Позолотин увидел седую голову Ермолаева, мозолистые руки Блинова. Его глаза внимательно задержались на тонкой, гибкой, как ивовый прутик, фигурке дочери тайги Джагды и волевом решительном лице Маратая. Они встретились с твердым, ясным взглядом Андрея и печальными, полными слез и невыплаканного горя, дорогими, бесконечно любимыми глазами Тамары...

А вокруг рев машин, грохот экскаваторов,

шум реки, сирена кабель-крана, крики людей... Все это слилось в единый могучий мотив симфонии, прославляющей Человека, его Труд, его Жизнь...

На какой-то миг Георгий Степанович окинул взглядом свою жизнь. Все было в ней — и торжество побед и горечь поражений. Но сколько еще будет разного у него и у всех. И он подумал — ради вот этих минут, когда рождается новое творение человеческого разума и человеческих рук, ради вот этих минут, когда души людей слились в едином порыве, — можно пережить все. А над кипевшим в работе котлованом, над рекой, над скалистыми берегами, над зеленой, вечно молодой тайгой поднимался могучий, как грохот моря, широкий, как голубое небо, светлый, как солнце, — радостный гул людских голосов.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ ЗАГЛЯНЕМ В МАСТЕРСКУЮ ХУДОЖНИКА-ИРКУТЯНИНА АРКАДИЯ ГУТЕРЗОНА. ОЧЕРК О ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ НАПИСАЛ ИСКУССТВОВЕД ВЛАДИМИР ФАЛИНСКИЙ, А РАБОТЫ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ПОМЕЩЕНЫ НА ВКЛЕЙКЕ.

ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ РАБОТЫ МАСТЕРА ФОТОГРАФИИ Э. БРЮХАНЕНКО. МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ШЕСТНАДЦАТЬЮ ИЗ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ФОТОГРАФИЙ, СДЕЛАННЫХ ИМ В ГОДЫ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ КОРРЕСПОНДЕНТА ТАСС.

НАПИШИТЕ НАМ: ТВОРЧЕСТВО КОГО ИЗ СИБИРСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ, ЧЬИ РАБОТЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УВИДЕТЬ В НАШЕЙ «ГАЛЕРЕЕ «АНГАРЫ»

Вл. Фалинский

ВЫБОР

Картинные галереи называют храмами искусства, а мастерские художников — кухнями. В храмы доступ свободен всем, а на кухни — не всегда. А кто не мечтает побывать именно на кухне, где искусство не цветет, а рождается в муках творчества?

Пройти в мастерскую Аркадия Ильича Гутерзона можно через завалы хозяйственного двора. Почерневший от времени двухэтажный бревенчатый дом отгородил мастерскую от улицы. Окнами она глядится во двор, на штабеля досок, кучу древесных стружек, фанерные ящики, пустые бочки. Тут же лежит на боку очень массивный и очень древний станок.

А в мастерской?

Синь байкальского неба, цветистая осень Приангарья, Казачьи луга в разливе черемухи. Сказочно-причудливые ландшафты Аршана и снежные вершины суровых Саян. Жанровые сцены из жизни рыбаков, геологов...

Посредине стоят три мольберта, начатые работы искрятся свежими мазками. Вдоль стен — отвернутые холсты. Прописанные, отставленные для просыхания красок и совсем еще чистые — эти для новых работ; и нервно выскобленные — результат трудных художественных поисков.

Аркадий Ильич — живописец со своим кругом тем, со своим миропониманием. Его произведения получили признание зрителя и в Иркутске, и на больших выставках в Москве. Но путь к этому был трудным. Обычно, когда пишут о художниках, завоевавших признание зрителей, упоминают, что «С детства он любил рисовать». Этой фразой можно начать и биографию Гутерзона. Да, рисовать он любил, и рисовал много. Но еще больше сомневался в выборе жизненного пути.

В 1938 году кончил среднюю школу и подал документы в Витебское художественное училище. Экзамены позади. Конкурс большой. В аудитории молчание и нервное напряжение. Сейчас объявят результаты. Кому — учиться, а кому — уходить. Фамилию Аркадия не назвали в числе принятых. Он уже пошел было к выходу и вдруг...

«Просмотрев экзаменационные и домашние работы Гутерзона, педагогический совет рекомендует принять его на второй курс училища. Если, разумеется, сам Гутерзон пожелает», — добавил педагог после небольшой паузы.

Аркадий почувствовал, как краснеет лицо. Кисти рук отяжелели.

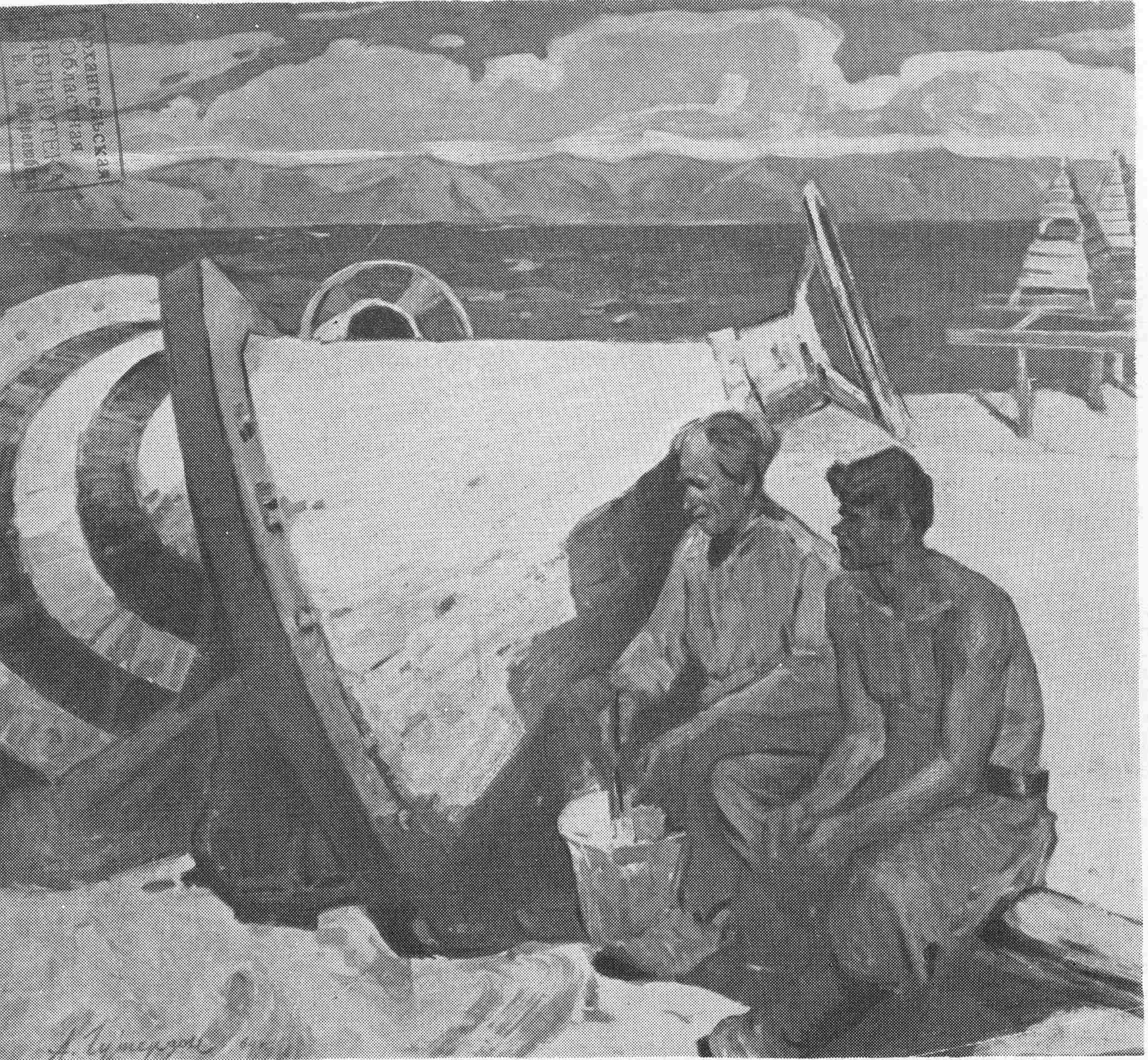
«Согласен, конечно, согласен», — стучало в виски.

Учился он у известного акварелиста Маркса Борисовича Лейтмана.

Летом 1941 года Аркадий окончил четвертый курс, готовился к дипломному году. Каникулы собирался провести в путешествии, «края иные поглядеть», собрать материалы к дипломной работе. Манила Волга. Кто из русских художников не воспевал ее: Поленов, Васильев, Левитан, Репин.

— Хоть посмотреть бы...

Ехать собрались небольшой группой. Маршрут наметили такой: вверх по Двине на пароходах, потом на лодке. Затем — пеший марш на Валдайскую возвышенность, к сказочному Селигеру. А потом — по Волге до самых Жигулей, на плоту, на лодке, даже вдоль берега, по-бурлацки. Как придется. Важно — что по Волге и до Жигулей.



Бакенщики Байкала. Темпера



Рыбацкий поселок. Масло

Как сладко мечталось, как энергично собирались парни в путь. Отъезд наметили на 24 июня.

Но жизнь распорядилась по-своему. Уже вечером 22 июня Аркадий находился в окопах, в обороне родного города. С утра фашистская авиация бомбила Витебск.

Гутерзон записался добровольно в народное ополчение. Вместе с отрядом охранял подступы к железнодорожному мосту через Западную Двину в Витебске.

После временного отступления наших войск отошел вместе с ними и был зачислен в кадры Советской Армии. Закончил войну в войсках Первого Белорусского фронта на территории Восточной Пруссии.

Рисовал ли на фронте? Урывками и очень мало.

Почти нет — это будет вернее. Он не был в числе тех немногих счастливчиков, для кого и на войне искусство было основным занятием.

После демобилизации по воле судьбы оказался в Сибири. Хоть и работал художником, но времени для творчества не оставалось. Основное время отнимал труд, который шел в ущерб творчеству: шрифты, таблицы, схемы, диаграммы. И если выпадала свободная минута — тогда рисовал (больше всего рисовал, писал реже, с красками трудно было).

Восстанавливал утраченные умения и навыки. А даже вернее — заново приучал и глаз, и руку.

Творческой работой занялся по-настоящему только с 1954 года, когда переехал в Иркутск. Первое время работал художником-исполнителем в мастерских Художественного фонда. Наряду со всевозможными исполнительскими заказами Гутерзон с завидным упорством работал творчески, особенно в пленере, над пейзажным этюдом. Этюды получались созерцательные. Лучшее, что в них удавалось, — это рисунок природы, безразличной и к солнцу, и к ветру, и к мукам художника.

Аркадий Ильич работает много, основную цель в пленерной работе ставит на передачу состояния природы. Учится упорно: рисует, пишет этюды, читает мемуары художников и монографии о художниках. Прислушивается к советам старших по опыту товарищей.

По-разному относились и по-разному понимали художника. Можно было отступиться. Легче было отступиться. И советы раздавались часто:

— Плюнь. Живешь один раз. Зарабатывай деньгу и устраивайся удобнее в жизни.

Тепло отзывается Гутерзон о помощи Александра Карповича Руденко, учителя большинства иркутских художников. Прекрасный живописец, вдумчивый педагог, Руденко заметил душевное состояние молодого художника. Очень обстоятельно разбирал работы. Часто выезжали вместе на этюды. Показывал, как строить цветовые отношения. Деликатно поправлял написанное.

— Такие выезды были лучшей помощью, — говорит Гутерзон.

Руденко сильно повлиял на творческий рост художника, дал правильное понятие о пленере, об основах живописи.

Ездил Аркадий Ильич и с другими художниками. Иногда писал один и тот же мотив, чтобы потом сравнить, поразмыслить, лучше увидеть собственные достоинства и ошибки. Иногда художники подшучивали, воспринимая это как подражательство, не понимали, что это учеба и учеба серьезная.

В таких экспериментах вырабатывался свой язык, свое понимание и истолковывание природы, свое отношение к действительности. Но, даже когда работал над природой, одолевало страстное желание писать человека, тянуло к портрету.

— Люблю пейзаж Сибири. Раздольный, величественный. Он то сияет, радуется солнцу и людям, то угрюмый, насупленный, устрашающий. Люблю сидеть на поляне, где растут стройные березы, где шепчутся говорливые осинки. Или на мшистой кочке среди гигантов сосен. Красива природа Сибири. Но любой дикий уголок еще больше хорошеет, когда человек там появляется. И солнце тогда ласковее светит, и говор тайги уважительней.

И за короткое время Гутерзон добился значительных успехов. Уже на зональную выставку художников Сибири и Дальнего Востока, которая была в Иркутске в 1956 г., у него приняли два портретных этюда: черемховской шахтерки Нагульмановой и байкальского рыбака.

В исполнении отмечается еще робость, неуверенность руки. Цветовой строй однообразен, преобладают коричневые и рыжие тона. Но в портретах интересно наметились характеры. Нагульманова — взрывница. Мало женщин работает в этой всегда связанной с определенным риском профессии. На портрете — она человек сдержанный, строго, даже сурово подтянутый. Иной характер у парня-рыбака. Это весельчак и балагур. В его чертах игривая беззаботность.

Первый успех обрадовал, придал уверенности. Гутерзон еще настойчивее стал работать над портретами. В 1957 году созданы

портреты старых революционеров, участников гражданской войны в Сибири — Пестуна и Кригера, портрет отца. Выполнены эти портреты в традиции русской реалистической школы. И Пестун и Кригер написаны в полфигуры, на нейтральном, теплом фоне. Позы внешне статичны. Лучший — портрет Кригера. Тонкие нервные черты лица, взгляд рассеянный. Сложное переплетение чувств: и духовная сила, и физическая надломленность. Сидит он грузно, утомленно, положив руки на колени. С кистями рук художник не справился. Они не углубляют психологической характеристики портретируемого. И нарисованы слабо и написаны вяло.

Кригер изображен почти в фас. Портрет отца — погрудный, поворот головы в три четверти. Все внимание художник сосредоточил на лице. Особенно выразительны глаза. Присмотритесь к ним. Они задумчивы, настороженны. Приглядываются, как бы прощупывают каждого: «С чем идет человек, с добром или злом?» Редко ласкала жизнь этого человека. Чаще сурова была с ним.

Этот портрет лучший и по образному решению, и по исполнению. Написан уверенно в серебристо-серой гамме, хорошо разобраны тональные отношения.

Портрет отца экспонировали на республиканской выставке, открытой в Москве к сорокалетию Советской власти. С тех пор портрет стал ведущим жанром в творчестве художника.

Он обращается к темам Великой Отечественной войны, обращается к сегодняшней жизни сибиряков.

Вполне естественно, что художника заинтересовали рыбаки Байкала, сильные, мужественные. Они всегда в споре с волной. Труд этот считается никак не женским. А между тем на Байкале многие рыбачки не уступают мужчинам. О них, о женщинах-рыбачках, и пишет картину Гутерзон в 1960 году.

Вечереет. К причалу подошла лодка с омулем, привели ее две молодые женщины. Статные, обаятельно женственные и одновременно не по-женски лихие, удалые. Фигуры гибкие, сильные, такие не сробеют в шторм, в открытом море.

В первом варианте картины рыбачки сидят в лодке, перешучиваются с кем-то из стоящих на берегу. Детально и ярко написанный пейзаж — с белыми корпусами пароходов на темной, зеленой воде, с вызолоченными вечерами солнцем домами на берегу — затирал фигуры, претендовал на главенство в картине. Неба совсем не было. Пейзаж сверху срезался по гряде гор в ярком осеннем наряде.

Холст Гутерзон переписал, сделал пейзаж во втором варианте суровее, скупее в цвете. Одна из женщин стоит. Рыбачки о чем-то ведут разговор между собой. Фигуры приближены к зрителю. На втором плане уже не горы, а море глубокой перспективы.

То, что предназначалось фоном для первого варианта картины, при доработке вылилось в интересную картину-пейзаж «У причала» с мажорным состоянием природы.

За пейзаж «У причала» и портрет геолога Коноплева Гутерзона в 1960 году приняли в члены Союза художников.

Портрет Коноплева написан в том же 1960 году. Аркадий Ильич нашел интересное композиционное решение и убедительный цветовой строй. Коноплев изображен в полевых условиях, в походном вагончике — домике. Он сидит у наскоро сколоченного из грубых досок стола, на столе — бумаги, приборы, куски минералов. Сзади (фон) на таких же временных полках-стеллажах разложены образцы пород, минералы — результаты летнего труда. Все детали скупы, обобщены до предела, все внимание — на фигуре человека. Геолог внешне спокоен. Но это внешне. Душа — в динамике. Кажется, что присел он на минуту. Нужно что-то вспомнить, в чем-то утвердиться мыслью и опять в путь. В правой руке — лупа, что-то рассматривал. Задумался. В жесте левой — волевое напряжение.

Затаенные мысли не дают покоя. Он на пороге нового открытия, но даже сам себе боится признаться в этом.

Глаза настороженны. Нельзя торопиться. Нельзя ошибаться. Лицо внимательное. Умственная сосредоточенность создается и спокойным колоритом — холодноватым, с преобладанием зеленых и серых тонов.

Написан портрет широко, уверенно. Бесспорная удача художника.

Над чем работает художник сейчас? Пишет жанровое полотно о байкальских бакенщиках. Ведет композиционные поиски в работе «Путейцы» — о железнодорожниках, — выполнил первые эскизы. В замыслах — картина о речниках Ангары, летом и осенью писал этюды к ней.

Два года работает Аркадий Ильич над портретом-картиной «Проводник геологов». Полотно оказалось многотрудное. Сделал уже несколько вариантов, но, неудовлетворенный, откладывал и начинал новый холст. В первых вариантах решал как портрет, потом — как портрет-картину. Показать умудренного опытом и жизнью знатока таежных троп. По-

следний вариант, интересный и по композиции и по образному решению (меньше по типажу), был в стадии окончания. И вдруг 23 октября 1963 года некто Деньгин публикует в Восточно-Сибирской правде статью о проводнике Обручева Мунконове. И художник потерял покой. Картину оставил до встречи с Мунконовым, хочет вписать туда его портрет.

— Сколько я ни бился, но тип основного героя меня не удовлетворял,— говорит Аркадий Ильич. — Проводник Обручева — это в моем понятии, лесной маг, кудесник. Знаток кладов таежных. Сколько он лесных троп проложил, сколько заметок своих оставил в тайге. Просто беседа с ним — и то обогатит человека.

Много в мастерской и других начатых холстов, и начатых интересно. Большей частью это портреты.

Доярка Новикова из совхоза Ангарский. Портрет интересен и по цвету и по композиции. Молодая женщина в шубе, в беличьей шапке.

— Почему же не заканчиваете?

— В таком решении это скорее охотовед. Отставил пока. Нужно еще поискать образ.

На другом холсте — Максим Горький. Писатель стоит на подножке вагона. В глазах— искорки радости. Горький вернулся из Италии на родину. В портрете много еще официальной торжественности, не удалось уловить теплоты, душевности момента.

— Холст отставил, а мысль работает, вживаясь в образ,— говорит Аркадий Ильич.

Сделана первая прописка портрета ангарского механизатора Фесенкова. Человек бурной энергии, Фесенков все изобретает, усовершенствует свою машину. Он так и изображен — на фоне машины причудливой конструкции.

Но об этих работах потом, когда встретимся с ними на выставке. Сейчас Аркадий Ильич полетел в Братск, написать человека-легенду Бориса Гайнулина.

— Как-то получится? Тревожно!

А в мечтах — портрет члена-корреспондента Академии наук СССР Михаила Михайловича Одинцова.

— Удивительно пластичные, характерные черты лица у него. Яркий сибирский челдон. Человек-глыба.

Так в постоянном поиске, с виной неудовлетворенности, в готовности все начать сначала оттачивается мастерство художника.

ПЕТР РЕУТСКИЙ

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

Поэма

1

Оцениваю разумы,
Открывшие нам истины,
И тех, кого ни разу мы
Не вспоминали искренне.
Я снова память трогаю
И вижу склоны горные.
Извилистой дорогою
Идут машины черные.
В Якутию! В Якутчю!
В страну лесов и золота!
В платок себя я кутаю
От холода и голода.
Я вижу слезы мамины,
Подобные смородине,
Как первые экзамены
По преданности родине,
Отца, казака стройного,
Как никогда спокойного,
В крестах,
висели в цепь они —
Все четыре степени.

2

Седая, первозданная
Тайга стоит сутулится.
Ни каменного здания,
Ни фонаря на улицах.
Бараки, тесом крытые,
По пояс в землю врытые,
С бревенчатыми нарами,
С полночными кошмарами,
С железными печурками,
Топившимися чурками,
С квадратными оконцами —
Все ж были не без солнца мы.

3

Неясную судьбу мою
Несу тяжелым бременем.
Я мучаюсь, я думаю
О людях и о времени.
Года свое отстукали,
Но вновь с годами спорю я.
Написана не скупо ли
Российская история?
Не много ли забыли мы?
Так думаю о быте я.
За сказками, за былями
Опять встают события.
Растет о них сказание,
Как упокойным здравица,
Но знаю я заранее —
Не всем оно понравится.
О, Родина великая!
Обжитая и дикая,
Зеленая и снежная,
Суровая и нежная.
С тобой лишь откровенно я
Делю все сокровенное.
К тебе одной внимателен,
Как сын достойный к матери.
Вольна ты в покровительстве,
Вольна и в наказании.
Не зря в твоем правительстве,
В твоем центральном здании,
Обдумано, что пройдено,
Осмыслено, что строится.
От глаз твоих, о Родина,
Ведь ничего не скроется.

4

Но есть своя история
У всякого у Якова,
История, которая
У всех неодинакова.
Да, есть они, события,
Встающие, зовущие.
И будто бы забытые,
И все-таки живущие.
У стариков в сознании,
У молодых в сердцах
Живет оно, сказание
О братьях и отцах.
Забыть его — а надо ли?
Нет, будем помнить мы
О том, как люди падали
У речки Колымы.
За дальними широтами,
От мест родных вдали

Суровыми сиротами
Детишки их росли,
И ждали без роптания
от тех, кто жил в Кремле,
Скорейшего создания
Коммуны на земле.
Не просто ждали — верили
В Россию и в людей,
Хотя еще не мерили
Глубин людских идей.

Мы были иждивенцами
У беспартийных вдов.
Нас спецпереселенцами
Назвали с первых слов.
И были дети вольные,
Такие же, как мы.
...Я помню двери школьные,
Четвертый день зимы,
Меня четвероклассника,
Соклассникам в пример,
В канун большого праздника
Назвали — пионер.

У светлого, у красного
Я стал в строю у знамени.
И не было неясного
Тогда в моем сознании.
Смотрели мы, растущие,
На ленинский портрет
И знали, что в грядущее
Пути другого нет.
С веселой одноклассницей
Шагали мы домой.

Болтали мы о разнице
Меж летом и зимой,
О том, что климат северный
Подходит по природе нам,
О том, что будем все верны
Тебе, святая Родина.

Дорога непокатая
Была у нас намечена.
И галстуки крылатые
Теплом легли на плечи нам.

Шагаем мы, довольные,
Забыв про все дела.
Но вот мальчишки вольные
На нас из-за угла.
Подходят братья Зуевы
Втроем
и стали вряд.

«Вы, отпрыски буржуевы!» —
Они нам говорят.
«А ну, снимайте галстуки!» —
Промолвил старший,
Влас.

А я перчатку снял с руки
И дал ему под глаз.
Я крикнул Асе:
«Мчи домой!»

А Кольке — губы в блин.
И стал багровым галстук мой,
Их трое, я — один.
Я бил их левой, правой бил,
Ногами, головой.
Под нами снег кровавым был,
Как на передовой.
Так с детства был я терт в бою
И тем горжусь всегда,
Что галстук
хваткой мертвою
Я удержал тогда.

5

С отцом мы жили очень странно.
Он умным, чутким был отцом
Но в школе,
в школе постоянно
Напоминали мне о том,
Что мой отец не пролетарий,
Что воевал он за царя.
И про кресты, и про медали
Твердили:
«Это не зазря».
Да, не зазря!
Он утром рано
Вставал с постели от того,
Что незалеченные раны
Всю ночь тревожили его.
Я это знал. Я это видел.
И помню, помню, сукин сын,
Как страшно я его обидел
Советом: сдать кресты в торгсин.
На стол швырнул он пачку «Норда»,
Едва удерживая злость.
«Не за царя,—
промолвил гордо,—
А за ОТЕЧЕСТВО пришлось.
Меня Россия воспитала,
И я был счастлив ей служить,
Но никакого капитала,
Кроме крестов, не смог нажить».

Да, мой отец —
природный пахарь —
Был лишь мозолями богат.
Его крестьянская рубаха
Носилась до вторых заплат.
И был таким, что только троньте,
От пуль не прятался в кусты.
Он кровью заслужил на фронте
Георгиевские кресты.
Пускай он не был коммунистом
И не творил великих дел.
Простой казак,
но взглядом чистым
Он на отечество глядел.
Он верил ленинским декретам,
Лишь не умел кричать об этом.
Не из врагов — наоборот,
Из тех, кто любит свой народ.
А я —
о, глупый пыл мальчишки —
Посмел назвать его слепцом.
Жизнь познавая через книжки.
Не соглашался я с отцом.
И были споры, были цели,
Однако я не мог понять,
Зачем же Зуевы хотели
С меня мой красный галстук снять.
Не понимал, надрывно плача,
Зачем.
От мест родных вдали,
В ту ночь,
оружия не пряча,
Отца солдаты увели.

6

С тех пор прошло немало лет,
Но сердце это не забудет.
Покоя нет! Покоя нет
И долго, видимо, не будет.
Хочу понять, хочу простить,

На это права не имею.
И, никому не смея мстить,
Я ничего забыть не смею.
Мне снова вспомнился теперь
Давнишний день,
когда в тревоге
Мать широко раскрыла дверь
И опустилась на пороге.
Над мертвой бледностью лица
Седые волосы нависли.
И я, боясь нелепой мысли,
Спросил:
«Что слышно про отца?»
Мать, головы поднять не в силах,
Сказала:
«Я еще жива...»
И страшно вдруг заголосила
Тридцатилетняя вдова.
Стоял январь. Был холод лютый.
Лицо сгорало на ветру.
Встречая сверстников салютом,
Шагал я в школу поутру.
Едва успел войти в ворота,
В меня — снежок. Еще снежок
И крик:
«Отец твой — враг народа» —
Невыносимый, как ожог.
И я стоял, не отвечая,
Я в первый раз обиду снес.
Мороз беснуется, крепчая,
Ресницы сушит, щиплет нос.
Ложится снег на тротуары
И, приподняв воротники,
Идут задумчивые пары,
Проходят молча старики.
И что прочтешь на этих лицах,
Когда опущены глаза.
И кто-то плачет, кто-то злится,
Но не решается сказать.
И кто-то верит и не верит
И удивляется тому,
Что слово острое доверить
Нельзя соседу своему.
Подобных не было традиций.
И кто посмел их породить
В стране, где принято трудиться
И откровенно говорить.
В двенадцать лет поймешь едва ли
Все то, что взрослые творят.
Над Колымой мутнеют дали,
Над Колымой огни горят.

7

У горя есть свои пути,
Как ни живи ты осторожно,
Порой его не обойти,
Ни обезвредить невозможно.
Порой зависит не от нас
Его суровое начало.
Оно в окошко в поздний час
Нетерпеливо постучало
И не подумало спросить,
Готовы ли к его приходу.
Его боялись огласить
Родным, знакомым и народу.
Оно жило в сердцах у вдов,
Оно копилось болью скрытой
В кварталах сел и городов,
В стране свободной, знаменитой.
Никто имен тех не считал,
Кто словом названы позорным.
Я видел горе и читал
В глазах мальчишек беспризорных.
Оно чумой вошло в мой дом
И счастье маленькое смяло.
Ну кто же, кто повинен в том,
Что мать пред ним не устояла.
Она ушла однажы в ночь
И навсегда в тайге осталась.
Я знаю, то была не старость.
А просто жизнь была невмочь.

8

Потом вокзалы и тюрьма.
В те дни в ней было даже тесно.
И я узнал, что Колыма
Не только золотом известна.
Я понял, что такое жизнь,
Побыв в сыром ее подвале.
Держись, кричали мне, держись!
Но только рук не подавали.
Не потому, что были злы,
Нет, нас судьба сковала туго,
И мы, обшарив все углы,
Не раз искали пятый угол.
Я много думал, черт возьми,
О небе в клетку, стенах серых,
О мире тюрем, что возник
За сотни лет до нашей эры.
Не перечислить всех имен
Людей, что вдаль ушли навеки.
Стояли тюрьмы, точно вехи
Эпох жестоких и времен.
Забравшись вечером на нары,
Я клял их вслух до хрипоты
У Благовещенска и Нарвы,
Акмолинска и Воркуты.
Была война. Был случай частный:
За булку — пять жестоких лет.
И был всегда со мною красный
Ни с чем другим не схожий цвет,
Родная школа, пол дощатый,
Неповторимый горна зов,
Улыбка Аси и вожатый,
Сказавший строго: «Будь готов!»
Как будто он, нехитрый парень.
Знал о стране, где жили мы,
Не меньше, чем великий Сталин,
А также прочие умы.
Да, будь готов!
Я помню это.
Всегда готов и до конца.
Я твердо верю в галстук цвета
Такого же, как кровь отца.
И пусть никак не совместимы
Мой галстук и его кресты.
Но верных долгу вечно чтим мы,
Несем к могилам их цветы.
Храним торжественно и свято
Их боевые имена,
Кто ни на сребро, ни на злато
Россию-мать не променял.
Я вспомнил их в том дальнем мире,
Где честь у всякого грязна,
Когда в военном дезертире
Вдруг Власа Зуева признал.
Отекший, с синими руками,
Как после векового сна,
Лежал он грузный, точно камень,
Уже не поднимаясь с нар.
Казалось, смерть стояла рядом,
Колымских школьников гроза,

Предатель подлый,
был бы рад он
Нам не смотреть тогда в глаза.
Еще не зная самой сути,
Не оценив ее пока,
Чего-то ждали, точно судьи,
Строгорежимные зэка.
Влас бился, задыхаясь пеной,
Безумно грыз запястья рук,
И стал сужаться
постепенно
Над ним
плечей костлявых
круг.
В тюрьме
мы потеряли жалость
С благоразумьем наравне,
Там людям
многое прощалось,
Кроме предательства стране.
Простые парни
с Лены, с Волги —
Пусть вспомнится тот случай им —
Стояли, думая о долге
Перед Отечеством своим.
И в тот же день,
насупив брови
И отказавшись есть и пить,
Я суд просил ценою крови
Вину на фронте искупить,
Как будто та худая слава
Была его
и мой удел.
Так значит, Влас и в детстве права
На красный галстук не имел.
Но под одним
и тем же небом
Мы жили в тот военный год:
И я, укравший булку хлеба,
И он, предавший свой народ.

9

О Родина, прости меня!
Я молодой и непослушный.
Твоих законов не менял,
Лишь воровал твой хлеб насущный.
Виновен пред твоим лицом,
Хоть и смотрю в него я прямо.
Но я оправдан перед мамой
И незапятнанным отцом.
Да, я был мал. Твоих заветов
В дни испытаний не сберег.
И, может, именно за это
Счастливых не имел дорог.
Уверен, не была ты рада,
Когда, ни в чем неприхотлив,
Твой сын скитался где-то рядом,
Но только в дом не приходил.

10

Мне говорят:
«Зачем про это?
Гляди, как тему размочил».
И не стесняются при этом
Шепнуть: «Сидел, так уж молчи».
Но нет во мне дурного пыла,
И, в общем, некого корить.
Да, воровать мне стыдно было,
И будет стыдно правду скрыть.
Бывает правда лести горше,
Особенно у молодых,
Но, Родина, ты знаешь больше
Моих редакторов седых.
Пусть ты строга, опять же столько
В тебе заботы и тепла.
Ты не была ко мне жестокой,
Нет, просто жизнь не так текла.

11

Осталось горе позади
И, пережив все то, что было,
Шагаю снова,
и в груди,
Сгорая, сердце не остыло.
Я счастлив, что за красный цвет
Всегда готов, как в детстве, драться,
Что я не разучился — нет —
Хорошим людям улыбаться.
Они живут вокруг меня,
В коммуну вместе нам идти.
Живут, немалое храня
В св ей огромной памяти,
И знают, что история
Не строилась граненою.
Не всякая теория
Увязывалась с оною.
Что жизнь не красна девица,
Цветущая от гордости,
И не напрасно делится
На радости и горести.
...Опять иду по городу,
Где жизни море целое,
Где честь берег я смолоду,
Еще не зная цену ей,
И вижу, парни гордые,
Веселые строители,
Ломают стены голые
Известной мне обители.
И вместо зоны с вышками
Возводят дом-колосс они,
Куда ребята с книжками
Войдут вначале осени.
Испишут доски классные
Словами:

МИР и РОДИНА!

И галстуки их красные
Напомнят все, что пройдено.

Валентина МАРИНА

ШИРОКОЕ

Очерк

Русский стиль

Что можно увидеть из окна автомобиля? Десятки раз проезжала я по тракту через Широкое, да так и не заметила, какое это из всех сел село. Сибирские деревни сборные, пестрые, переселенческие. Куряне и украинцы, молдаване и латыши, татары и белорусы — кто только не пашет нынче привольную сибирскую землю. И каждый строится по-своему, как деды учили.

Конечно, здесь, в лесной стороне, смешно складывать саманную хатку. Но, срубив дом из кондовой сосны, степняк тем и доволен. Для тепла обмажет снаружи глиной, а хозяйка побелит известкой. Вот и все заботы. Посмотрите на Кундуй, Сорты, Каменку — центральные усадьбы богатых колхозов. Хозяйственные постройки прочные, красивые, даже щеголеватые, машины сияют свежей краской, немало и в деревнях новых добротных домов, но только добротных. Найдутся один-два любовно отделанных, красивых, но, как говорится, одна ласточка весны не делает.

Иное дело — старинное сибирское село Широкое. Сразу видно — первые его застройщики переселились в Сибирь из лесной стороны, знали толк в хорошей древесине, и было их немало, если сумели утвердить в деревне на многие годы свой, русский стиль постройки. Сейчас в Широком коренного жителя найдешь не вдруг. Но традиция — великая сила. Теперь здесь и оренбургский степняк и воронежский садовод строятся как принято. А принято в Широком строиться красиво.

Пройдитесь не торопясь по улицам Широкого: Трактовой, Подкаменной, Заречной, Новой... Здесь не найдешь халупки или какой-нибудь избушки на курьих ножках. Даже маленький или обветшалый — это, все равно, дом с точеными или резными наличниками, с крепким, рубленым амбаром напротив высокого крылечка, с красивыми под двухскатной тесовой крышей воротами и ажурной деревянной решеткой по верху высокого забора из толстых, иногда струганых плах. И никаких палисадничков. Жителю лесной стороны солнышко в окошке важнее всего. И не хочет он, чтобы какая-то черемуха, которой в лесу сколько угодно, заслоняла от прохожих его, словно картинку, отделанный дом. Любуйтесь, люди! Вот я какой мастер!

А как обшивают ворота в Широком! Кажется, много ли можно сделать из обыкновенной стандартной шалевки? А в Широком раскинут ее то елочкой, то квадратом, то ромбом или зигзагом. Так и видишь перед этими воротами их вдумчивого, неторопливого строителя. Десять раз повернет он в руках каждую дощечку, прежде чем определит ее к месту. Зато как весело играет потом на солнышке эта незамысловатая дощечка, как хвалит на все лады и себя — красавицу и хозяина своего — золотые руки.

А широковские оконные наличники! Это же песня, воплощенная в дереве. Полукруглые окна старых домов увенчаны белыми высокими кокошниками с точеными колонками

и шарами. В новых домах окна прямоугольные, строгие, зато в резьбе наличников один хозяин старается превзойти другого. Замысловатые деревянные кружева в два, в три, а то и в четыре яруса возвышаются над чисто промытым, ясным окном весело, празднично, нарядно! Жаль только, что пришла краска и безвкусно расцветила ажурную резьбу. Между прочим, старые точеные наличники и сейчас никто не раскрашивает. Строгость формы, что ли, не допускает этого пестрого вторжения?

Любовно, как здесь говорят, для жизни, строятся в Широком. Для жизни! Какое точное определение. Не ссылку ненавистную отбыть, не огрести побольше на богатой сибирской земле, чтобы было с чем вернуться в родные теплые края. Нет — для жизни!

И мне подумалось, что сами широковцы, наверное, такие же красивые, как их дома,— веселые, работящие, надежные люди. И, наверное, очень любят свое дело.

Сомневаться в этом не приходилось. Широковский колхоз «Сибирь» считается одним из процветающих хозяйств области. Правда, урожаи здесь собирают средние, но недавно это хозяйство приобрело у государства маслозавод, а технику купило вместе с центральной усадьбой бывшей Широковской МТС. Покупка для колхоза значительная. Я знала несколько богатых хозяйств, которые от таких мастерских и гаражей отказались — дорого, мол. Значит, у широковцев деньги водятся, значит, работают они хорошо, значит, любят свое село и новых мест для жизни искать не собираются.

— А что искать?— спросил в свою очередь председатель сельсовета Алексей Севастьянович и пожал плечами.— Места у нас красивые, река рыбная, в кино каждый день новый фильм, пять магазинов, постоянные ясли, детские сады, больница, средняя школа, училище механизации сельского хозяйства. Чего же еще? Я сам, бывший железнодорожник, приехал в сельсовет по партийной командировке, думал: отбуду положенное и вернусь на дорогу. А сейчас меня отсюда шилом не уковырнешь,— засмеялся он.

— Чего не жить? Через двор — мотоцикл, дома у людей — сами видали, какие, скота — добрая колхозная ферма. Одеваются — смотрите, как,— незаметно кивнул он мне на секретаря сельсовета Надю, одетую ничем не хуже заправской городской модницы.

— Думаете, одна она такая?— вполголоса продолжал он — Осенью прислали в магазин ботинки теплые — самый сезон, а лежат. Фасон устарел. Зато, если модное что появится...

Я уже знала, что в Широком стараются от города не отставать. Вчера, выходя из кино, две девчонки запели: «Там, где речка, речка Бирюса...» Третья фыркнула: «Ну, деревня!» И девчонки сконфуженно замолчали. Жаль! Но с модой спорить бесполезно. Сейчас уже в редком сибирском селе услышишь звонкую девичью песню на улице, переборы баяна. В каждой деревне есть клуб и в нем «вечер отдыха молодежи». Так с легкой руки какого-то бойкого культурника называются теперь танцы и танцульки.

Но я отвлеклась, а хотелось побольше узнать о людях так полюбившегося мне села Широкого.

Председатель колхоза Владимир Демьянович, высокий, солидный, приближающийся к пятидесяти годам человек. Походка спокойная, уверенная. Только в карих, в крупной сетке морщин, глазах залегла какая-то горечь, неудовлетворенность. И настроен он, заметно не так радужно, как председатель сельсовета

— Широкое они, может быть, и любят, а вот колхоз — не очень,— раздумчиво говорит он, прикуривая одну папиросу от другой.— У нас доярка средняя зарабатывает сто рублей, но если в школе механизации освободится место уборщицы рублей на сорок — любая уйдет. Шофер сто, сто двадцать рублей получает, надел колхозный имеет, сено для скота, зерно для птицы, а позовут в леспромхоз на сто пятьдесят рублей — на вожжах не удержишь!

— Не любят сельского хозяйства, может быть?

— Как сказать, что не любят? Работают же хорошо. Без любви хорошо работать не будешь. Вот на днях Олю Крутову в институт отправляли, средний заработок высчитывали. Сто сорок рублей вышло. А ведь девчонка, совсем недавно десятилетку кончила. Где бы еще она такие деньги заработала? И не одна она у нас такая. По две тысячи литров от коровы многие надаивают. Как же тут уж без любви к делу, без желания работать? А чуть появится возможность уйти «на производство», как они говорят, сейчас заявление приносят.

— И чем объясняют?

— А, пустое, — досадливо поморщился Владимир Демьянович.— Другой парень усы первый раз побрил, щеки — кровь с молоком, а туда же долдонит: «Пенсия там».— Он снова прикурил от одной папиросы другую,— на председательском столе стояла не пепельница, а целая урна, и сейчас, в одиннадцать дня уже была переполнена, — помолчал и заключил со вздохом:— В чем здесь причина,

пока не скажу. Сам день и ночь думаю. Изучать этот вопрос надо не только на базе нашего колхоза...

Мы вышли из правления и пешком прошли по селу. Владимир Демьянович заметно оживился, рассказывал о своих планах, о достижениях колхоза.

— Возьмите вы гречку. От нее все хозяйства, как черт от ладана, отворачиваются, а мы нынче государству сдали восемьсот центнеров, яслям, детским садам, интернату оставили, и колхозники брали на трудодни, кто хотел. По нашему управлению самый высокий урожай гороха — четырнадцать центнеров, а у нас бригадир Шейкин по девятнадцать с половиной намолотил. И не на какой-нибудь заласканной, экспериментальной делянке — с восьмисот гектаров такой умолот. На будущий год постараемся убрать урожай без мобилизованной рабочей силы. Мобилизованный — это все-таки не хозяин урожая, нет той бережливости. Потери большие от их уборки. А для того, чтобы отказаться, придется еще прикупить машин. Хоть и долги у нас еще за усадьбу МТС не погашены, а придется.

На высоком железобетонном мосту через Мару я остановилась невольно. Еще не скованная льдом быстрая горная река блестела, как стальной клинок, отражая низкое осеннее небо. Но в затишках уже копилось «сало». Круглые, прозрачные, еще не схватившиеся льдинки издали напоминали серебряную богатырскую кольчугу. Течение прибивало к ним все новые и новые. Нерешительно покружившись, словно выбирая место, они, наконец, останавливались, на глазах увеличивая ледяной панцирь. Мороз пришел на голую, чуть припорошенную снегом землю.

Отсюда, с высокого моста, Широкое открывалось как на ладони. И хотя в природе уже безраздельно господствовали черно-белые траурные тона поздней осени, картина была какой-то удивительно милой и теплой. По запорошенным снегом огородам змеились к воде черные тропки, у сенных прикладов стояли, пережевывая жвачку, задумчивые коровы, резво брыкались от избытка энергии кругленькие бычки и нетели, цепочкой шли к реке белоснежные от сытости, до двух атмосфер надутые важностью гуси. Покой, достаток, предвкушение веселых зимних досугов! И все это как награда за тяжелый труд весной, летом, осенью. Веками сложившийся русский крестьянский уклад.

— Красиво! — Я обернулась к Владимиру Демьяновичу, но прочла на его лице только досаду.

— Четыре года назад приехал я сюда с твердым намерением похерить всю эту красоту,— негромко, словно только для себя отозвался он. Закурил, хороня в широких ладонях огонек спички, и неожиданно закончил резко:— Рассчитается колхоз с долгами — уйду обратно на завод.

Это было такое наболевшее, такое решенное, что я не посмела даже спрашивать о причинах. Должны они быть серьезными, эти причины, если бежит человек от процветающего хозяйства, от своих планов, надежд, ожиданий. Но о таком на ходу не расскажешь. Да и хлопотливые обязанности председателя колхоза уже настигали его. Обогнала и остановилась впереди трехтонка. Шофер спрашивал, на каком складе брать отходы для свинофермы. Заведующая яслями подошла с жалобой — летом плотники натаскали мало земли на потолок. Ребятишки мерзнут.

«В другой раз»,—решила я. Так много в Широком людей, с которыми еще надо поговорить. А прежде всего с Варварой Петровной.

Кому в чем счастье

С Варварой Петровной мы познакомились еще ранней осенью на уборке. Пожилая деревенская женщина в застиранной юбке и дешевой трикотажной кофточке пришла ссыпать картофель из буртов в машины. И сейчас же властно остановила работавших здесь студентов:

— Эй, эй, куда же вы с землей гребете? Дома-то так ли ссыпаете? Кого землей кормить будем?

— Мы неквалифицированные. На курсах не обучались!— молодым насмешливым баском бросил парень в добела выгоревшей на плечах синей спортивной куртке.

— Не обучался — обучайся!— миролюбиво сказала женщина и опустилась на колени — видно, не гнулась уже спина. Руки ее проворно засновали над ведром, минуя куски земли, отбрасывая в сторону гнилые клубни.

— Так мы до снега не погрузим! — закричали ребята.

— Погрузите. Вас много,— успокоила женщина.

— Ага! Мы будем работать, а ваши колхозники будут спать!— сварливо сказала тоненькая девушка, даже здесь, на пашне, сохранившая холеную элегантность.

На бугорке, пригревшись на солнышке, и в самом деле прикорнули две женщины в пла-

точках, повязанных по-деревенски низко на лоб.

— Это доярки!

— А мы — студентки! — съязвила девушка.

Женщина с неожиданной легкостью прянула вверх, резко выпрямилась и полоснула девушку таким горячим, гневным взглядом, что хохотавшие над шуткой ребята разом притихли.

— А ты знаешь, сколько доярка спит? Знаешь?— громко спрашивала она элегантную девушку.— Ты с кавалером на лавочке еще присыхаешь, когда она, милушка, на дойку поднимается.

— Один ноль в твои ворота, Гретка!— дурашливо свистнул паренек в девичьем, пиратски повязанном платке. А женщина продолжала, не снижая накала:

— Вы в кино ладитесь вечером, а она доить, чтоб вам утречком молоко доспелось. Эдак-то круглый год, а в страду и того поболе. И сено косить, и картошку вовремя вынуть, и...

— На них не написано, что они доярки,— еще строптиво, но уже тихонько заметила Гретта.

— А и не доярки, так что? Эко диво — две бабы сморились, на вас, молодых, понадеялись. Да вы поглядите — они же вам матеря по годам!

— Одни доярки, что ли, в колхозе? Остальные-то где?— вступилась за Гретту коренастенькая, из тех, что зовут шанежками, подружка.

— Остальные в город на базар подались!— насмешливо ответил ей парень в спортивной куртке, но зычно скомандовал:

— Кончай митинговать, ребята!

— Может, и на базар,— так же неожиданно, как вскипела, успокоилась женщина и, снова опустившись на колени, занялась картошкой.— Которы на базаре, а которы, вроде ваших родителей,— и совсем в город убежали, — негромко, но так, чтобы все слышали, продолжала она, побрякивая картошкой о звонкие стенки ведра.— Все, значит, в город уйдем, а картошку пущай дураки сажают да убирают...

Вечером я снова заглянула на картофельное поле. Огромный бурт почти истаял. Трое парней соломой укрывали от заморозка небольшой остаток.

Уходящее солнце зажигало солому желтыми и красными огнями, и казалось, что парни танцуют у костра какой-то экзотический, плавный танец.

Другие студенты уже табунились в кузове попутной трехтонки и выдавали парням забористые «руководящие указания». В кабине сидела женщина в дешевой трикотажной кофточке. Низкое солнце било ей в глаза, и она чуть смежила веки. Все пятьдесят с лишним лет нелегкой крестьянской жизни лежали сейчас на ее устало опущенных плечах, глядели из глубоких, подчеркнутых пылью морщин.

— Вы завтра к нам придете, Варвара Петровна?— прутиком перегнувшись из кузова, спросила красивая Гретта.

— Вы отдохните! Мы сами!— дружно загалдели в кузове.

— Вы без ведра, Варвара Петровна, вы к нам агитатором приходите,— крикнул от бурта парень в спортивной куртке.— Агитатор из вас мировой!

— Агитатору как же без ведра? Агитатор получше всех должон работать, — отозвалась Варвара Петровна, и белозубая озорная улыбка неузнаваемо преобразила, словно вспышкой осветила ее разом помолодевшее лицо. Она поправила завязанный под подбородком платок и заверила Гретту:

— Приду, дева, приду, только припоздаю опять. Невестка в больнице, так ребятишек в ясли снести надо.

— И как вы угадали, что наша Гретка до вторых петухов на лавочке присыхает?— лукаво спросил пират в девичьем платке.

— Сама присыхала, вот и угадала, — засмеялась Варвара Петровна.

«Наверное, немало ребят сохло в свое время по этой смуглянке, если и в старости у нее такая вспыхивающая, все лицо преображающая улыбка и молодой горячий блеск в глазах»,— подумала я. Но об этой счастливой поре Варвары Петровны никто не мог рассказать мне в Широком. Она приехала сюда перед войной матерью четверых детей с мужем — директором МТС. И всех удивила, попросившись работать свинаркой на колхозную ферму.

— Чего же ты при таком муже навоз ворочаешь, Петровна?— удивлялись соседки.

— Да с моей грамотешкой в наркомах ведь не управишься,— отшучивалась Варвара Петровна.

— Ну и сидела бы дома, при ребятах. Или тебе мужней зарплаты не хватает?

— Коммунистка и буду дома сидеть?— удивлялась она.— Беспартийные тогда и вовсе в своем праве на колхоз плюнуть.

— Что же ты тогда вместе с мужем не училась, если тебе работать такая охота припала? Все бы агрономом была али зоотехником на ферме.

Варвара Петровна только смеялась беззаботно:

— Али я неучена, нехороша? Намаконов меня и такую любит!

Не рассказывать же ей каждому любопытному, как стирала студентам белье, убирала общежития, хватала любую работу, пока муж учился. На студенческую стипендию с семьей не прожить.

Нет, не за одну женскую недюжинную красоту любил свою веселую жену директор Широковской МТС Намаконов, а может, больше любил за то, что всегда, с комсомольских еще лет была она ему лучшим другом и товарищем во всем. Вместе организовывали они колхозы в таежном Усть-Нотском районе, вместе ходили на кулацкие банды, вместе ставили на ноги едва рожденные, еще хлипкие коллективные хозяйства. И нигде она не пряталась за широкую спину мужа-председателя, всегда работала на той ферме, где было труднее.

— Однова, в Долоново это было,— вся засветившись и махнув рукой, словно вспомнив что-то очень забавное, говорила Варвара Петровна, когда мы встретились с ней снова.— Только-только это мы колхоз организовали и на тебе — ушли все доярки с фермы. «Не наше,— кричат,— так пусть пропадает пропадом!» Кулаки уж постарались, конечно. Мол, некому коров доить станет, коммунисты и раздадут ферму по дворам. Видала? — спросила она меня, все еще удивляясь, как люди могли поверить явной глупости.— Ну вот, Намаконов мой и заметал икру: «Попортим коров, что делать-то будем?» А я—такое меня зло на этих дур взяло!— сдохну, говорю, а не попорчу!

— Пошла на ферму, к которым коровам телков подпустила, а все же пятьдесят восемь их, милушек, на мои руки досталося. Коля-водовоз, комсомолец был у нас в Долоново, такой идейный мальчик, хороший, поить мне помогал, а сиськи-то коровьи все на мои рученьки.— Варвара Петровна перевела дух, взволнованная давними, но все еще живыми воспоминаниями, улыбнулась:

— Веришь-нет, и ночевать домой не ходила. Пластаюсь на ферме одна, матерюсь, аж стены трещат, и себя вот ни столечко,— показала она на пальцах,— вот ни столечко не слышу. Ну, ни рук, ни поясницы, ничего, как ровно деревянная я вся. Старшего, Сергуньку, Намаконов мне на ферму сосать носил. А молоко пропало с чего-то. Мальчишка ревет... У Намаконова, смотрю, слезы в глазах, а я — ровно каменная. Вот как во мне злость кипела!— Варвара Петровна разгладила рукою чистую скатерть и продолжала живо, как о вчерашнем, вспоминать о событиях тридцатилетней давности.

— Опосля вернулись бабы и на меня же: «Бешеная ты, Варька! Не жить тебе долго!» Видала, как угадали?

— Это как считать,— ответила я, подумав, что один день такой яркой, полной жизни стоит пятидесяти лет иного вялого, только для себя, прозябания.

Могла ли такая верная подруга остаться при своем доме, при корове и огороде, когда мужа послали учиться? Хоть голодно, да вместе. Намаконов, ты учись, знай. Ребятам на молоко я сама заработаю.

Но даже самый близкий человек, муж, вряд ли угадывал в ней ту огромную душевную силу, какая проявилась в тяжелую военную годину. С первых же дней войны стала свинарка Варвара Петровна председателем колхоза и крепко держала в руках широковцев. Даже в бедственном сорок шестом году, когда на трудодни пришлись копейки — никто не ушел из колхоза.

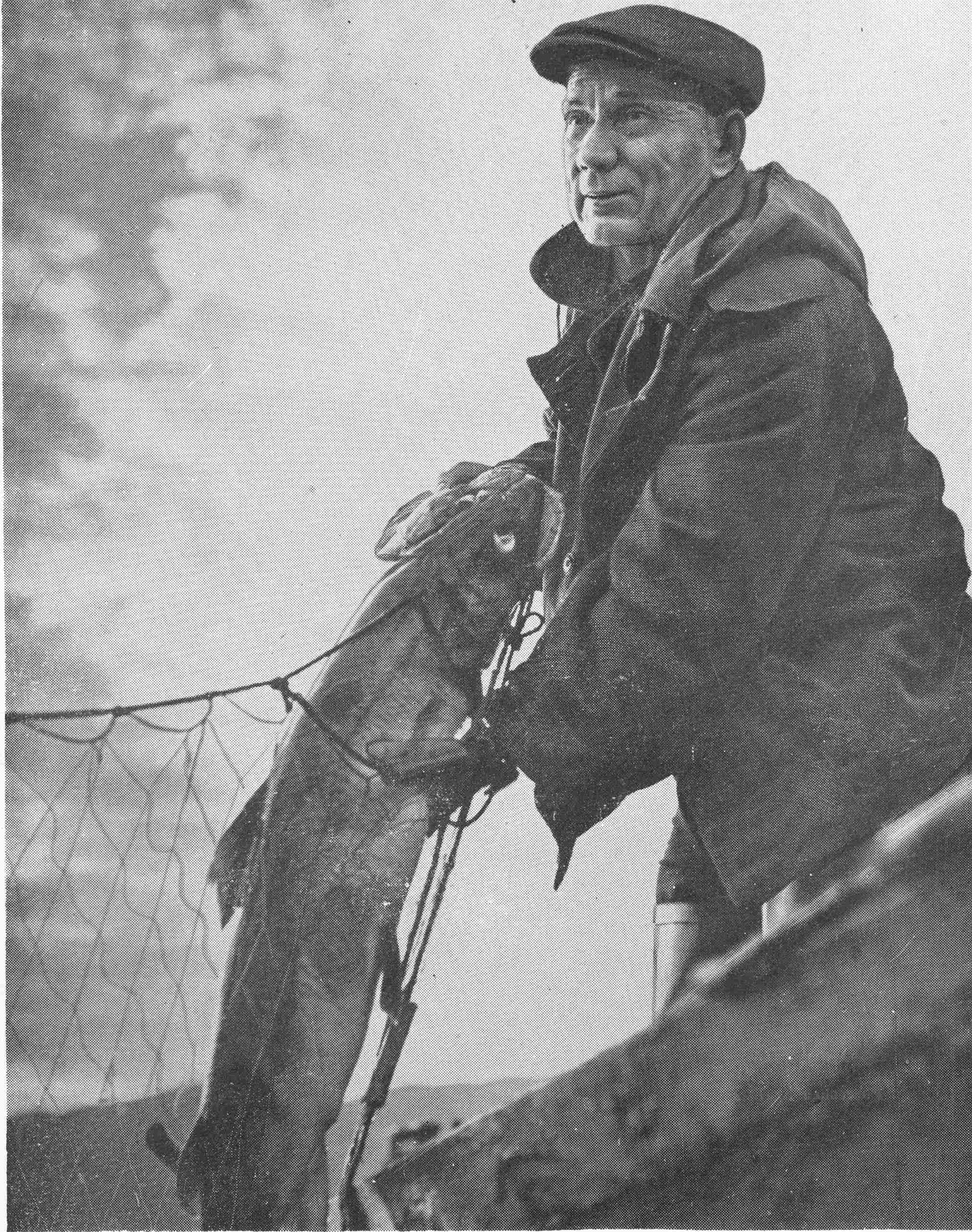
— Мне как сказали в райкоме: председателем тебя ставим,— я чуть ума не решилася. Руками даже замахала,— рассказывает Варвара Петровна, и даже сейчас, спустя двадцать лет, лицо ее выражает растерянность простой деревенской женщины перед непосильной ношей. Отвечать перед государством за хлеб, отвечать перед каждой колхозницей за тот же хлеб для ее детей, обрабатывать землю без мужских сильных рук, без тракторов... Лошадей — и тех, что получше, забрали для фронта. Тут не женщина малограмотная, детная мать,— бывалый мужчина задумается.

— А секретарь райкома Иван Никодимыч,— блеснула беззаботной своей улыбкой Варвара Петровна,— и спрашивает: «Ну, не тебя, так кого? Подскажи! Ты свое Широкое лучше нас знаешь». Я головой-то раскинула: некого! В другой деревне, может, и остался какой коммунист, кривой али горбатый, а у нас в Широком, видно, все орлы были, все Гитлера бьют...

— Согласилась. А домой еду и реву в голос: «И куда ты, Варька, голову сунула!»— снисходительно к давней своей женской слабости усмехнулась Варвара Петровна.— Реву и сама же над собой в мыслях потешаюсь: мол, коммунистка, председательша и голосит, как баба какая...

— Слыхать, неплохо вы тогда справлялись,— подсказала я.

— Так ведь глаза боятся, руки делают,— вздохнула Варвара Петровна и опять улыб-

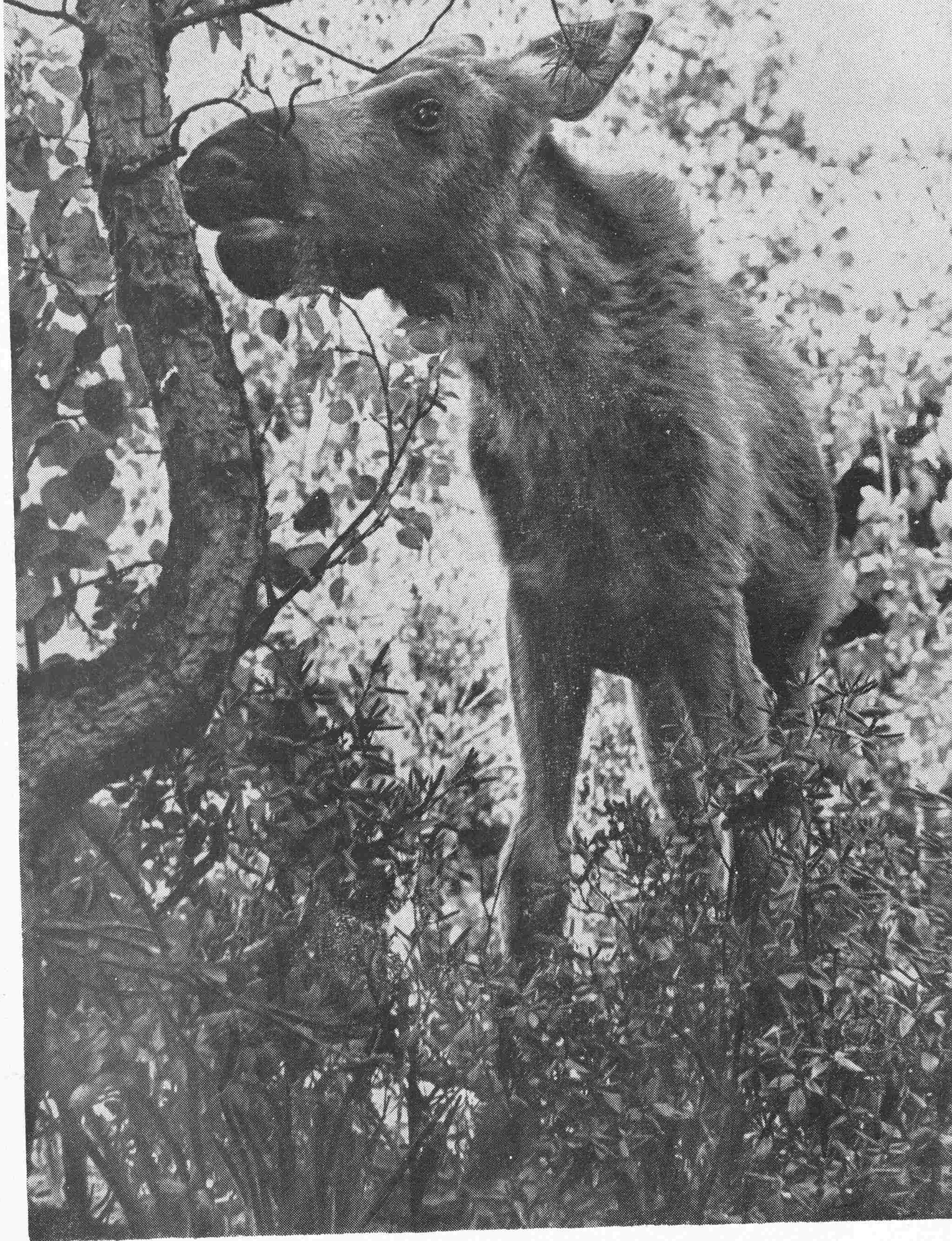


Вот какие таймени на Витиме

Знает, что без ружья



Ровесники Братска





Огонь и люди



Огонь и люди



Сельский пейзаж



К верховьям таежной реки

нулась. Без улыбки она не могла рассказывать ни о чем, столько веселья и душевной силы отпустила ей природа.

— Может, и не так уж хорошо, да на безрыбье и рак — рыба, в войну и баба — председатель. А и мужик далеко не разбежался бы тогда. Не столько на конях да на тракторах, сколько на бабах да на ребятишках пахали. Старший мой, Сергунька, видали, может, механиком он в колхозе, все, бывало, в мэтээсовской мастерской крутился. Поколачивала даже. Где бы за книжкой посидеть, так он к тракторам! А уж как председателем-то я стала, он и вовсе! Где же углядишь? Раньше ночи домой не ворочался. Ступлю в избу и глаза бы не глядели: не топлено, не варено, не метено. Ребята спят, в чем бегали, у того сопли насохли, у энтого слезы через всю щеку дорогу иcделали. А старший, Сергунька, значит, и вовсе школу бросил.

Она посмотрела на меня, округлив глаза, видно, сейчас только удивившись, как выносила такую жизнь, и продолжала:

— Кинулась я, это, бить его, а он: «Мама, мы трактор для тебя собираем». «Черта ли мне, говорю, с твоего трактора! Трактористы-то где?» «А мы-то с Колькой Бухаровым! — кричит.— Мы уже пробовали». По четырнадцатому году оба. Я, как была с чересседельником в руках, так и пала на лавку. Реву. Слезы-то у меня в те поры близко были!

Слезы и сейчас набежали ей на глаза, но ненадолго. Через секунду вновь блеснули крепкие, сахарные зубы.

— Трактористы! Смех и грех. Заглохнет трактор — и рукоятку не повернут. Где им! Увидят, кто мимо едет, сейчас ревут: «Дяденька, крутани!» А ведь пахали. И не то диво, что пахали, диво, что спрашивали мы с них чуть чего, как с заправских трактористов. А первая я — председательница. Один раз еду мимо, гляжу, трактор стоит, а Сергунька мой спит на взгорке, угрелся, стервец! Я бегу по пашне, матерюсь на чем свет стоит — время же уходит, сеять пора. Добежала, а он, это, вскочил, с испугу и сказать ничего не может. Гляжу — губы дрожат, лицо синенькое, ребенок совсем. Мой ребенок! Разве по силам ему от зари до зари пахать на картошке с молоком. Обняла его, реву в голос, а он только: «Мамочка, мамочка, я сейчас заведу. Я к вечеру, честное комсомольское, этот клин допашу».

Варвара Петровна утерла глаза уголком шерстяной косынки и вздохнула:

— Чего уж тут рассказывать, сердце травить. Кто в эту войну сладко-то жил? Все бедовали. Я думаю, попадись нашим бабам в те поры Гитлер — по кусочкам бы разорвали и знатья бы не осталось. Он, гад, видно, чуял это, бензином себя облить велел, асмодей!... А все же мы и хлеб, и мясо, и сено сдавали, и на танки собирали и на все, как следно. Хуже всех не были. — И вздохнула о чем-то, задумалась. Я тоже молчала, боясь спугнуть, быть может, ускользающие, зыбкие воспоминания.

Еще раз о чем-то вздохнула Варвара Петровна и сказала сурово:— Может, и не за всем доглядывала как надо, а только не для себя, для колхоза старалась, для людей. Это теперь у нас в каждом дворе зарод выше дома, а мы пока колхозную ферму не обеспечим...

Я уже слышала рассказы о том, как горячая, неистовая председательница с топором кидалась на тех, кто пытался завезти в свой двор сено раньше, чем на колхозную ферму. Рубила веревки, разваливала возы, на все село стыдила людей, которым личное хозяйство дороже колхозного. И действовало. Быть может, потому действовало, что на свой двор председательница везла в последнюю очередь.

И сейчас видно, что жила Варвара Петровна для людей. Не для красного словца она это сказала. Был муж директором МТС, была сама председателем колхоза, а в доме нет лишней чашки, хорошего стула, ни одной дорогой вещи.

— А что? Я на жизнь не жалуюсь,— живо, словно угадав мои мысли, вступила Варвара Петровна.— Хорошо жила, в уважении жила. Меня и теперь — кто я? Инвалидная старуха,— а на партийных собраниях все в президиум выбирают...

— Слушаются,— подсказала я, вспомнив шумливых студентов на картофельном поле.

— Слушаются, — с достоинством согласилась Варвара Петровна.— Ино и председатель наш Владимир Демьянович, уж на что инженер и депутат. Так и он другим разом спросит: «Как бы вы, Варвара Петровна, мне присоветовали?» А вот с сеном-то не послушался он меня, теперь локоть кусает.— Она посмотрела на свои все еще крепкие, с растрескавшимися ладонями руки и продолжала:

— Этта, летом еще, ворочалася я с покоса, подвез он меня на машине. Говорим про сенокос, я ему и наказываю, значит. Ты, говорю, Владимир Демьянович, никому сена не давай, пока все не скосите. Скосите, а тогда и дели. Только мы поговорили эдак-то, смотрю, Люська Дядюшкина, бригадирова жена, воз зеленки волокет в свой двор. Я бегом к

председателю. Прикажи, говорю, Владимир Демьяныч, только Дядюшкину сейчас же зеленку на ферму увезти от греха. Сильно плохо будет. Уж не знаю, приказывал, нет ли, а зеленка у Дядюшкиных осталась.— Варвара Петровна негодующе посмотрела в окно, где через улицу стояла усадьба Дядюшкина с выглядывающим через забор стожком хорошего лугового сена.

— В деревне от людей не спрячешься. Не одна я видела. А тогда уж все стали тащить. С покоса идут — кто навильник, кто беремя, а кто на коне,— так и воз. Видали, какие зароды во дворах складены! По четыре коровы держать можно. Да и не себе только волокли. Вон у железнодорожников на полустанке на каждом сеновале колхозную люцерну найдешь. А для фермы не хватает сена. Силосу дивно заготовили, это верно, а сена не хватит. Он-то, Владимир Демьяныч, городской человек, может, недопонимает, а Дядюшкин-то знает, асмодей, что стельной корове и с новотелу без сена нельзя. А с него, с Дядюшкина, вся кутерьма и началась. С Люськи с его... Я вот на партийном собрании все ему, красномордому, выскажу. Ты дома у жены под каблуком можешь быть, а в колхозе ты — бригадир!

Варвара Петровна разволновалась, покраснела даже, но на плите запрыгала крышка чайника, и она насмешливо хлопнула руками по бедрам:— Баба — баба и есть, за разговором и корову попоить забыла.

Пока Варвара Петровна ладила коровье пойло, я принялась разглядывать развешанные на стенах фотографии, по нескольку штук в одной рамке. Варвара Петровна поясняла мне, не выходя из кухни:

— В простенке в левом углу, военный снят, видала? Это Намаконов с фронта прислал. Последняя. Красивый был. Правда?

Я согласилась, хотя с фотографии смотрел узколицый, остроносый человек.

Невелико хозяйство — одна корова. Варвара Петровна быстро управилась и собрала чай. Критически оглядела свои щербатые чашки, усмехнулась:

— Сервизов-то не завела, давай уж из этих напьемся.— А, усевшись к столу, пить не стала. В первый раз за весь вечер пожаловалась:— Одного я в жизни не сделала — образования ребятам не дала. Все, бывало, в колхозе работников нехватка, все думала: ну, вот поднимемся немножко на ноги, тогда... А они, гляди, поженились, варнаки.— Она опять рассмеялась над своей бедой, но сразу оборвала смех и сказала со вздохом:— Так неучами и остались!

— Неучи?— удивилась я.— Да ваших сыновей считают в Широком лучшими механизаторами. Владимир Демьяныч рассказывал, когда вашего Сергея в партию принимали...

— Не матери своих детей хвалить,— строго перебила меня Варвара Петровна.— Худого про них не скажешь, а все же у других врачи да инженеры...

— Да разве в дипломе дело? — попыталась я рассеять ее печаль. Но Варвара Петровна уже не слышала меня. Незнакомое какое-то настроение вдруг совсем по-новому осветило ее простое смуглое лицо, сделало его ослепительно красивым. Она смотрела куда-то вдаль сквозь стены дома и говорила негромко, словно только для себя:

— Ино корю себя — замордовала ребят шалая баба, ино подумаю, а как же иначе? Намаконов жизнь свою за колхозы положил, я здесь здоровьем решилася, а для кого? Кому же, если не детям нашим, этот колхоз дальше вести? Или мы с Намаконовым на свете зря жили?

Она повела головой, как бы стряхивая набежавшее раздумье, вылила остывший чай и, нацедив горячего, сказала уверенно:

— Нет, я на жизнь не жалуюсь. Хорошо жила. Бараxла, правда, не накопила, так ведь это кому в чем счастье.

Егор Семеныч ушел в отставку

Жил человек в городе, имел удобную квартиру, любимую работу и возраст вовсе не романтический — сорок шесть лет. Казалось, все, в жизни установилось до конца дней. Можно не спеша отсчитывать годы до пенсии, облюбовать поближе участок для садочка, подвязывать, холить после работы молодые саженцы. Но партия позвала в деревню. Нет, не его лично позвала. Позвала молодых, полных сил и тех из старших, кто имел полезную для деревни специальность. Егор Семенович такой специальности не имел, но тоже подал заявление.

— Ну, что ты там будешь делать?— удивленно спрашивал начальник.— Здесь ты человек необходимый, с твоим опытом... Когда это мы тебе замену подготовим? Ты подумай, Егор Семенович. Серьезный же человек!

Серьезный человек и сам бы не смог сказать, почему он решил ехать в деревню. Жена, Мария Васильевна, объяснила по-своему:

— Просто привык вызываться. Что на заставе пограничной, что в милиции: где стреляют, там и он,— говорила она соседке.

— Теперь в деревне не стреляют,— снисходительно заметил он.

— Пишут же в газетах — передовая,— веско возразила жена.

Сама Мария Васильевна даже обрадовалась такому повороту в жизни. Спросите жену любого работника милиции, спит ли она, когда муж на задании? И сколько в месяц выпадает таких ночей? И вы поймете, что переезд в деревню не мог ее испугать. Тем более, что в деревне она родилась, выросла, жила до замужества.

И вот они в Широком. Жадно смотрят вокруг, растирают в пальцах комочки земли: такая ли, как в родной Оренбургской степи, нюхают травы, оглядывают скот. Им все интересно, нужно. Ведь теперь это их дом.

Широкое им понравилось. Нарядное, чистенькое село. Что ни домик, то игрушка. Удивляло, что на таком приволье, в таком зажиточном на вид — степняку деревянный дом уже богатство — селе колхоз живет ни шатко, ни валко, на трудодень приходится по три рубля да полтора кило хлеба. Ну, да из постановления ЦК ясно, что в деревне не все благополучно...

Егор Семенович не задумывался над тем, что будет делать в деревне.

— Куда поставят, туда и пойдем,— условились они с женой.— Деревенская работа простая, справимся.

Но председатель колхоза Степан Никитич Бутковский ошеломил с первой встречи.

— Решили мы в правлении тебя заведующим молочной фермой поставить. Ясно?

Егор Семенович молчал, не зная возмущаться ли глупым решением правления или смеяться хоть и неуместной, а все же шутке. Молчал и тот, сидел, чуть развалясь, благополучный, «рубаха-парень». Только прищуренные глаза смотрели пытливо, остро.

— Я двадцать пять лет близко от коровы не стоял.— Егор Семенович наконец понял, что с ним не шутят.

— Вот и постоишь, — хохотнул Бутковский, но сейчас же оборвал смех и сказал внушительно:— Робеть тут нечего, Егор Семенович. Есть зоотехник, ветврач, доярки в коровах лучше профессора понимают. Нам важно, чтоб на ферме был коммунист.

— Я не отказываюсь,— подхватил Егор Семенович,— ставьте хоть скотником, хоть водовозом...

— Ну, зачем же так,— раскрытой ладонью мягко отстранил его возражения Бутковский.— Жирно будет человека с твоим жизненным опытом, с таким партийным стажем водовозом ставить. Словом, правление решило,— сжал он пальцы в кулак и пристукнул по столу.— Если хочешь, завтра соберем партийное бюро...

Долгие годы службы в армии и в милиции приучили Егора Семеновича к дисциплине, но думать, размышлять он научился сам. Не понравилось ему скороспелое решение правления: не видали человека на работе, не спросили, согласен ли, и на тебе — решили. По анкете подошел. То-то у них и дело идет через пень-колоду. Но пуще всего не понравился ему председатель. Опасный человек! А чем? Самому себе не смог объяснить этого Егор Семенович.

Ночью шепотом, чтобы не услышали спавшие за тесовой переборкой хозяева квартиры, рассказал о своих сомнениях жене. Мария Васильевна в Широком прижилась сразу. Сегодня только смотрела местечко у реки, где можно поставить домик. Мысленно она уже завела гусей, таких же, как у хозяев, серых с белой тугой грудью, крупных и важных. И ребятам в школу недалеко...

— Привык в милиции с жуликами, вот каждого человека и опасаешься,— успокоила она мужа.

Егор Семенович принял ферму летом, и работа, против ожидания, показалась ему не трудной. Скот на выпасах сытый, веселый, доярки не ссорятся из-за присыпки, в помещениях чисто. Он приглядывался к людям, и люди тоже «показались». Верно, Оля Крутова уж очень придирчиво, чуть не со слезами проверяет у всех удои, стоит ей оказаться на втором или на третьем месте. Но это не беда — захвалили девушку. Напоминать ей почаще, что соревнование всех подтягивает, не одну ее. Вот еще Анна Артамонова вечно скандалит из-за очереди молоко сдавать: «У меня ребята дома не кормлены!» Тоже не каждое лыко в строку. Детная доярка, известное дело, великомученица. Можно ей простить такую сварливость. А может, бухгалтерия разорится, еще один молокомер разрешит купить. Да к черноглазой Лидочке-телятнице повадился студент. Шуры-муры, а телята ревут непоены. Но студент вот-вот уедет учиться...

В августе приняли по акту силос и сено. Зоотехник Вера Лаврентьевна поглядела в таблицы, покидала на счетах, осталась довольна — сытая будет зимовка. Силоса с избытком, сена тоже порядком — хватит не только стельным коровам, но и молодняку.

— Вечно мы ради надоев молодняк в черном теле держим. Завтрашние свои показатели сегодня портим,— еще раз для верности, проверяя кормовой баланс, говорила она.— Вы, Егор Семенович, за молодняком особо

следите с телячьего возраста. Им витаминный корм, может, больше, чем молочным коровам, нужен. Она пусть породистая, телочка, а если рахитиком росла — молока от нее не видать.

Егор Семенович следил. Аккуратно раз в неделю наведывался на выпасы, развозил соль, справлялся, не терпят ли в чем нужды пастухи. Вот в одну из таких поездок и заметил он, что стожок сена у Волчьей Курьи ровно бы исчез.

— Может, заплутал я? Куда бы ему деваться?— Он исколесил луга у Волчьей Курьи вдоль и поперек, но стожка как не бывало. Нет, почему «как не бывало»? Зорким глазом пограничника Егор Семенович заметил свежие следы колес, клочки сена, откинутые в сторону слеги, укрывавшие стожок. Украли? Бросив дела, ожидавшие его в правлении, он объехал все сенокосы и недосчитался еще четырех небольших стожков.

Стоял нежаркий, но ласковый сентябрьский день, а Егора Семеновича пробрала дрожь. Столько сена потеряно! Надо немедленно вызывать милицию. Следы свежие, по протектору машины можно определить... Всю дорогу до Широкого он без жалости понужал своего взмыленного Серка. У самой деревни нагнал возвращавшегося с полей Сергея Мельника.

— Бригадир, слыхал, беда какая у нас?— закричал Егор Семенович и, не выпуская повода своей лошади, перескочил на ходок бригадира.— В милицию надо звонить! Сено увезли!

— Обожди, какое сено?— лениво обернулся к нему Мельник.— У Волчьей Курьи?... Забыл я тебе сказать, дядя Егор. Мелкие стога я все к большим присоединил. Знаешь, если зима снежная будет, вывозить не иначе как трактором. Значит, денежки МТС гони. А мы по разочку дорогу пробьем и дальше лошадьми. Чуешь? — и усмехнулся снисходительно:— Колхозные денежки тоже счет любят, дядя Егор.

Егор Семенович молчал, хмурился, думал. Мельник в Широком вырос и бригадиром не первый год. Почему сразу, копнами не свозил сено в крупные зароды, зачем ставил эти мелкие стожки в разных местах? Денежки на трактор подсчитал, хотя еще неизвестно, какая будет зима, а за переделку зародов тоже немало трудодней начислено.

— Ты вот что, дядя Егор,— заглядывая в недоверчивые глаза спутника, сказал Мельник,— давай после обеда съездим вместе перемерим зароды, которые я пополнял. Перемерим и вся музыка. — Он щелкнул кнутовищем по сапогу, сшибая ошметок грязи, достал непочатую пачку папирос, протянул Егору Семеновичу, ловко, не выпуская из рук вожжи, закурил сам. Сказал негромко, словно вспоминая:— Это которы же зароды будут? Значит, на Вяхиревом лугу, на Дунькином займище, на Утином броду... еще где?... Ага, вспомнил! У Гнилого лога еще...— Зло стегнул под пах гнедого своего жеребчика и повторил:— Перемеряй, перемеряй, дядя Егор, чтоб уж не сомневаться. Ты в своем праве. Давай, давай! Рулетка только у меня поломалася. Ну, да высота стогов известная, а длину мы ручной саженью...

Обмер показал даже некоторый излишек сена против августовских записей, и Мельник сказал с досадой:

— Около каждого надо стоять над душой, чтоб не спортачил. Видать, внатруску вершили. Ну, я с них шкуру-то спущу! — С кого спустит — не сказал, да Егору Семеновичу и было не до того. Рад не рад, что тревоги оказались напрасными. Верно, огромные, как горные кряжи, стога выглядели совсем такими же, как в августе, но «глаз — не мера, аршин вернее». Сам ведь обходил каждый стог с ручной саженью. Он уехал домой успокоенным.

А сена в ту зиму не хватило. Егор Семенович следил за расходом, как скупой хозяин, только что по былинкам не пересчитывал. Но уже в январе стало ясно — весь остаток нужно забронировать для весеннего отела коров. Вот тебе и подправил молодняк!!

— Как это мы с вами считали, Вера Лаврентьевна?

Вера Лаврентьевна промолчала, только глазами повела, а когда заглянул в колхоз старший зоотехник областного управления, позвала Егора Семеновича и они втроем снова пересчитали весь кормовой баланс. Все сошлось, на бумаге, конечно. Вера Лаврентьевна убрала расчеты, с треском задвинула ящик стола, сказала уничтожающе:

— Контролировать надо, товарищ животновод. Пустили расход кормов на самотек, а теперь виноватых ищите.

Егор Семенович молчал. Именно так оно и выглядело со стороны. Да и не со стороны. Где-то он проглядел. Но где?

К его удивлению, никто на ферме словом не обмолвился по поводу недостающего сена.

— А у нас отродясь так. Сколько бы ни накосили — до января, а там как знаешь!— за всех успокоила его телятница Зойка Саловарова.

В правлении тоже помалкивали, хотя телята заметно меньше стали прибывать в весе.

— Обычное дело — зима, — сказал бухгалтер Петр Тимофеевич, когда Егор Семенович принес очередную ведомость привесов.

Но это странное равнодушие людей к общей беде мало его успокаивало. Высокий, длиннолицый, поджарый, он еще подсох за эти тяжелые дни. Лысеющий лоб с запавшими висками все время бороздили глубокие морщины. «Не то что людям, коровам стыдно в глаза смотреть!» — грызла его неотвязная мысль.

Как-то задержался на ферме после вечерней дойки. Все уже ушли, только ночная дежурная Степанида Лосева гремела на кухне, перемывая молочные фляги. Мороз поджимал к сорока. Укрытое снегом картофельное поле между фермой и селом искрилось в призрачном лунном свете голубыми мерцающими самоцветами. Траурной каймой чернел дальний лес на том берегу Мары. Тонкий, едва уловимый, тоже словно призрачный звон от оседающего ледяными иглами тумана только подчеркивал мертвую тишину зимней равнины. Даже из чернеющего под горой села не доносилось ни звука. Ни девичьей песни, ни собачьего бреха. Мороз! И только в усталой голове Егора Семеновича бродила, царапала мозг навязчивая, как дурной сон, мысль:

— Ну где я проглядел?

Снежная равнина молчала. Незнакомое чувство одиночества, беспомощности сдавило ему душу.

Визгливый на морозе скрип снега под чьими-то быстрыми шагами заставил его вздрогнуть и резко обернуться. От фермы бежал скотник Матвей Блинов.

— Что-то я тебя не видел, — протягивая Матвею измятую пачку «Севера», заметил Егор Семенович.

— Со Степанидой заговорился, — с удовольствием затягиваясь дымом, ответил Матвей. — Ее мужик вчера огневку заполевал на Утином броду... — Он опять затянулся жадно. — А и без Степаниды рано не уйдешь. С силосу с этого их несет, как из ружья. Убирать — рук решишься. — Опять со вкусом затянулся и сказал глубокомысленно: — Наука, конечно, с этим не согласная, а только мы посвоему, по-деревенски считаем, силос этот — вредная вещь. Ее, корову, хотя бы взять, она животная степная, ей трава нужна. Вот у себя дома корову скрозь всю зиму сеном кормишь, и чтоб у нее понос? Да никогда в жизни! А тут, прости господи, аж через проход другой корове на хвост летит. Ну, чисто как из ружья.

— Силос тут ни при чем, — возразил Егор Степанович. — Чередовать силос и сено, и никакого поноса не будет. А мы сенцо-то растрясли где-то.

— Нигде не растрясли, — спокойно заметил Матвей. — Сережка Мельник сенцо наше в город понужнул. Машины две — это только я знаю, а сколько всего — наверно, один он.

— Только не из наших стогов. Я сам обмерял.

— Уж не знаю, как ты обмерял, Семеныч, а, кромя наших зародов, Сережке столько сена негде взять.

— Может, где неучтенный стожок... — нерешительно предположил Егор Семенович.

— Как же! — весело оскалился Матвей. — У нас копну лишнюю где по кустам накосишь, и то все знают да завидуют. А чтоб две машины... Да и не две, должно. Видал, какой он мотоцикл купил? А двум бабам алименты платит. Это как?

— Сам же я перемерял, собственноручно, — больше для себя, чем для Матвея, повторил Егор Семенович и вдруг резко схватил Матвея за плечо: — Ты знаешь, кому он те две машины продал?

— Ишь, чего захотел! — во все горло захохотал Матвей. — Дай-ка еще папироску! — Затянулся и резонно, как азбучную истину, растолковал: — Ты, Егор Семенович, еще с полгода у нас поживешь, нет ли? Ваши, городские, отдыхать, обратно подались. А мне здесь оставаться. В городе навозу нет на мою квалификацию.

— Что же они тебе сделают? Или тяжелее скотника какая работа в колхозе есть?

— Разжаловать-то меня, положим, некуда, — весело согласился Матвей, — а вот ты считай: лошадь — сено али дрова привезти — у кого просить? У бригадира. Это раз! — загнул он железный крестьянский палец. — Плужок весной огород перепахать — опять же у него — два! На базар отпроситься в нужный момент у него же? Это — три. Опять, ту же копну сена, что я воровски по кустам накошу, бригадир может проглядеть, а может и в общественный зарод заложить. Это он может. Земля колхозная! Понял теперь?

Они уже стояли у дома Егора Семеновича, выстроенного на облюбованном Марией Васильевной месте. Только поставлен был дом по-городскому — лицом к реке, что вызвало в Широком немало едких замечаний: «Им что! Поживут да в город убегут, не наше горе!» «Воду на огород ей мужик да сын таскают, а попробовала бы сама, как мы, небось живо повернула бы...»

— Зайдем. У меня там поллитровка с Нового года сохнет, — предложил Егор Семенович.

Матвей согласился, но, даже быстро захмелев после тяжелого трудового дня, деревенских тайн не выдал, юлил вокруг да около. Только уходя, стоя у притолоки с шапкой в руках, сказал напоследок:

— Уж если ты, Егор Семенович, в милицию свою веришь, пошарьтесь в железнодорожном поселке. Голову сними, если не на каждом сеновале найдешь луговое сено, а то и люцерну. У них в полосе отвода какие же луга? Это тебе всякий деревенский отличит луговое сено от лесного.

Надел шапку, приоткрыл дверь, но опять захлопнул и сказал почему-то вполголоса:

— Только если понятых будете брать — из Широкого не берите. Из другой какой деревни, не из нашего даже колхоза лучше. Широковцы тебе не свидетели против Сережки Мельника.

— И чего вы его так боитесь? — удивился Егор Семенович. — Посадят же его за такие дела.

— Сережку посадят, Степан Никитич останется. А этот не Сережке чета. Этот с г...м съест, — ответил Матвей, и уж ни следа хмеля не было в его веселых, а теперь вполне серьезных глазах.

— Вон оно что! — невольно присвистнул Егор Семенович.

— Он, Степан Никитич-то, очень даже хорошо знает, кому в городе сенца подбросить, кому зерна для куриц завезти, чтоб спокойно жить. Так-то! Ну, извиняй, хозяйка, за позднее гостеванье!

Когда брякнула щеколда захлопнувшейся за Матвеем калитки, заговорила молчавшая весь вечер Мария Васильевна:

— На днях идем с фермы вместе с Фроськой Морковиной, и смотрю я, живот у нее под фуфайкой эдак высоко поднялся. Я и хлопни ее, говорю: «Где же это ты, дева, без мужика набегала?» А у нее живот-то и упади на землю. Оказывается, присыпку с фермы в фартуке несла, да, видно, фартук путем не завязала, и я ее еще хлопнула на беду. Вся как есть присыпка высыпалась. Уж материла она меня, материла. Думала, так на месте и сгорю от стыда. Говорю ей, как поутихла: «Как же ты, Фроська, можешь у животной красть? Ведь она ничего не скажет, не пожалуется...» Удивилась даже, — сама удивленно подняла брови Мария Васильевна. — «А ты разве не таскаешь? Да не поверю никогда! Все же тащут!» — Посмотрела я потом, и верно! Которые понемногу, а которые, как Фроська — аж пузо на нос лезет. Это с каждой-то кормежки! Ну, откуда у свиньи сало возьмется? Стала их стыдить, так они же на меня в один голос: «Подумаешь, корове пойло заправить отходов унесла, так мы уж и воровки. Воров-то вы со своим милиционером не видите, которые машинами колхозный хлеб фугуют...»

— Чего же ты молчала? — хрипло спросил Егор Семенович.

— И сейчас зря сказала! Нет уж, отец, в это дело ты не встревай, — решительно отрезала Мария Васильевна. — И так нас милиционерами скрозь зовут. Парнишки вон скоро фамилию свою забудут. «Колька Милиционеров», да «Витька Милиционеров» — всего и званья.

— А они стыдятся?

— А ты бы как на их месте?

— А я бы гордился. Ну, с ребятами я особо поговорю, глупые еще, а вот ты-то, женушка...

— В ту ночь, можно считать, и кончилась их воровская «малина», — заключил Егор Семенович свой рассказ о первых днях жизни в селе Широком, который я позволила себе изложить несколько вольно, но не отступая от фактов.

— Милиции честь и хвала — размотала клубочек.

— А сколько раз нам окна били, сколько поджечь грозились? — вмешалась Мария Васильевна.

— Пустое, — отстранил ее жалобу муж. — Не убили и не подожгли. Воры, они трусливые. Размотали клубочек... — со вкусом повторил он. — Степану Никитичу нашему десять лет не пожалели за искусство, а Сережка Мельник, оказалось, только подручным был. Четыре года получил. Отбыл уже.

— Как же он вас обманул все-таки? — поинтересовалась я.

— Следователю спасибо, старшему лейтенанту Медведеву, — усмехнулся Егор Семенович. — Сам бы я по гроб жизни не догадался. — Он подвинулся ближе к столу, потер ладонью лысеющий лоб. — Я-то считал: дурацкое это решение — ставить городского новичка животноводом, а Степан Никитич, он дураком-то никогда не был. Он это живо смикитил, что городского человека можно вокруг пальца обвести, да еще его же партбилетом свое воровство прикрыть. Оказывается, из района часто допытывались, чего, мол, у вас удои снизились, почему привесов нету? А Степан Никитич чуткость проявлял, заступался

за меня. Новый, мол, животновод на ферме, коммунист, надежный товарищ, надо ему дать освоиться... Видал?! Сережка Мельник тоже не лапоть, сообразил. Сажень укоротил на пятнадцать сантиметров и подсунул мне: меряй, мол, дядя Егор, проверяй меня, жулика, собственноручно. Вот ведь каким дураком был!

— Так-то любого можно обмануть...

— Ну уж нет, — на полуслове отверг мое возражение Егор Семенович. — Деревенского мужика эдак-то не обманешь. Он и мерять не станет, на глаз тебе скажет, сколько тонн сена лежит в зароде. Теперь-то и я...

— Вы тогда и отказались заведовать фермой?

— Нет, не тогда, — мрачно ответил Егор Семенович.

— По дурости отказался, — вмешалась Мария Васильевна. — На производственном совещании начал отчитывать женщин, что телята у них дохнут, а Зойка Саловарова возьми и скажи: «Был ты милиционером, Егор Семенович, милиционером и останешься. Потвоему, мы телят обворовываем, что ли? Сам бы попробовал на энтих кормах их ростить, а потом бы нас укорял. Дома-то телку чего только не дашь...»

— Я и попробовал, — усмехнулся Егор Семенович. — Тут нам как раз специалиста прислали, Машу Воронкину. Славная такая девушка оказалась. Я и говорю Владимиру Демьянычу: ставьте животноводом. Если слушаться не будут или растеряются, я поддержу. А мне и пастухом не плохо на старости лет.

— Оправдывается, — шепнула мне Мария Васильевна. — А самому просто Зойке Саловаровой рот заткнуть надо было.

Я уже знала, что с этой своей задачей Егор Семенович справился блестяще. Вместе с женой они взяли сто тридцать телят, хотя обычная норма телятницы — тридцать голов, и вырастили их отлично. Летом каждый телок прибывал на шестьсот, а зимой — на четыреста пятьдесят граммов.

— У одной только Шурки Баяновой близко к этому подходило, — сообщила Мария Васильевна.

— «У Шурки», — простуженным басом прогудел тринадцатилетний «Милиционеров Витька», — у Шурки по триста граммов не вышло.

— Все равно много, — миролюбиво поправила Мария Васильевна и доверительно сообщила: — Витюшка-то мне помогал в телятнике, так ревнивей отца подсчитывает.

— А мама, — во всю свою круглую рожицу разулыбался Витюшка, — чаем телят поила! Надо ж...

— Не суйся, когда взрослые говорят, — любовно щелкнул его по носу семнадцатилетний «Милиционеров Колька».

— Бывало, и чаем, — согласилась Мария Васильевна. — Что ребенок, что теленок — дай ему чистоту да ласку и будет здоров: — Она повела на мужа серыми, все еще красивыми глазами, словно спросить хотела: рассказать, нет? Но Егор Семенович не заметил ее безмолвного вопроса, курил, думал о чем-то.

— Один раз, — решилась без него Мария Васильевна, — мою это я клетки, а в коридоре Зойка Саловарова с Лидой Пестриковой переодеваются, на работу пришли. Лида-то и спрашивает: «И как только тетя Маша дома успевает? Когда не приди, все она здесь». «А у нее дома-то, — это Зойка, — от грязи, поди, и не переступишь». И не вижу я, а уж знаю, как она при этом губы свои скривила. Хотела крикнуть, что дома, мол, я прислугу держу, да слышу, Зойка еще добавляет: «Коммунист ее взялся нас, беспартийных, на примере воспитывать, так она из кожи вон лезет, чтоб он в лужу не сел со своим обязательством». А Лида, ну, прямо, от души: «Ни за что замуж за коммуниста не пойду». Смех меня разобрал, кричу им: «Девки, Егор-то беспартийный был, когда сватался!»

— То-то ты теперь жалеешь! — посмотрел на жену Егор Семеныч, и одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, какой душевный мир и лад живут в этой семье.

— О городе не скучаете? Не тянет? — спросила я, чувствуя, что засиделась слишком долго: деревенские люди ложатся и встают рано.

— Завтра новую группу с Марусей принимаем. Сегодня клетки ладил, — вместо ответа сказал Егор Семенович. — Хватит с меня, повоевал за жизнь и с диверсантами и с хулиганами, и с ворами. На старости лет милое дело — телят пасти. Уж больно хороший народ — телята. — Улыбнулся он, отчего сухое аскетическое лицо его сразу подобрело, стало дедушкиным. — Никаких пакостей от них. Так что считайте: ушел в отставку. А в город? — вспомнил он мой вопрос. — Нет. Мы теперь широковские. Верно, мать? — хлопнул он жену по плечу.

— Сын в школу механизаторов поступил. Куда же мы теперь двинемся? Широковские и есть, — подтвердила Мария Васильевна.

Два взгляда на семейную жизнь

У моей хозяйки, Катерины Иннокентьевны, сидит гостья, худощавая женщина, с живыми, пронырливыми глазами и острым подвижным носом. Пришла попросить синьки для побелки, дело предпраздничное, но не отказалась и от чая с горячими лепешками. В будничный день на ней нарядная шерстяная кофта и дорогие, прочные ботинки. По всему видать — живет в достатке.

Пока разговор вертелся вокруг побелки и прочих женских забот, я не прислушивалась, но гостья оказалась интересной.

— Как внучонка-то назвали, я все спросить хотела, — поинтересовалась хозяйка.

— И не говори, дева, Кириллом записали, — всплеснула руками гостья.

— В честь деда, значит! — догадалась Катерина Иннокентьевна.

— У деда-то родители лаптем щи хлебали, а у ней высшее образование, — укоризненно заметила недовольная бабушка. — «Я деревенская, необразованная, и то Валерием тебя назвала, — своему-то я говорю. — А ты надумал тоже! Кирюхой и будут звать». А он, Валерка-то, смеется, ненормальный. Это, говорит, от него самого зависеть будет. Может, Кирюха, а может, и Кирилл Валерьянович. Матери отвечает, а жене в рот смотрит: ладно ли, мол, я говорю? Вот провалиться мне на этом месте, если вру, —гневно клянется гостья, и даже ложечка дребезжит в ее стакане.

— Зато ты и хвалилась невесткой, Яковлевна, — не без яда замечает хозяйка.

— Кто же думал, кто же думал! — горестно всплескивает руками обиженная свекровь. — Глаз ведь с него не сводила: Валера да Валера. А теперь Валера сам щи варит.

— Не успевает. Шутка ли, на такой должности и с ребенком... — миролюбиво объясняет Катерина Иннокентьевна.

— А черта ли с ее должности! — с досадой бросает Яковлевна. — Денег вдвоем огребают двести пятьдесят рублей, а костюм у Валерика как я справила к свадьбе, так один и висится в гардеробе.

— На его работе куда ему много-то костюмов? — удивляется хозяйка. — Комбинезон — самое милое дело.

— Мать справила, а жена должна или нет? — строго спросила гостья и вздохнула от души. — Не хозяйка! Промеж пальцев у нее денежки-то текут. Шутка ли, молоко куплено, сало куплено, капусту и ту покупали. Провалиться, если вру!

— Молоко-то не у тебя разве берут?

— Сдались они мне! — возмутилась свекровь. — Летом попросила сена с возок, все же она животновод, к сену доступная. Куда там! «У вас же, Полина Яковлевна, зарод целый на огороде сложен», — нарочито пискливым голосом передразнила она невестку. — «Не ты ли мне этот зарод складывала?» — говорю.— Помолчала, поджав обиженно губы, и с горечью: — Другая бы невестка за такого красивого мужа ноги бы свекрови мыла... Хоть бы из себя-то видная была, а то ни с переду, ни с заду...

— С грудным ребенком да на такой работе не больно-то растолстеешь. — Катерина Иннокентьевна подвинула гостье миску. — Бери сметаны-то, Яковлевна. Сухая ложка рот дерет.

— Не растолстеешь, так и понимать надо, какая тебе цена, как бабе, — гнула свое свекровь. — Валера может и покрасивее найти.

— Уж это ты брось, Яковлевна! От ребенка-то! — всполошилась хозяйка.

— Со слова разве станется? — со вздохом пожалела гостья. — Присох, как привороженный. Этта намекаю: ехал бы учиться, пока молодой. И я бы помогла, чем ни есть. Куда там! Нам, говорит, Машиного высшего образования на двоих хватит. Не всем инженерами быть.

Она помолчала и опять горестно вздохнула.

— Вот у Редькиных-то невестка и на чистой работе, и корова у нее, и свиньи, и гусей полон двор. Хозяйка! Везет людям!.. А наша— только романы читать...

— Только слава, что на работе Редькина эта, — хозяйка двинула от себя стакан. — Люська наша говорит: когда ни приди — закрытая библиотека. А ходит как? Боты пойлом залиты, чулки веревочкой перевьются. Некогда за собой присмотреть. Твоя-то завсегда как с модной картинки глядит. Уж это ты у нее, Яковлевна, не отнимешь. С тех пор как она на ферме, и доярки до чего франтоватые стали. На Шурку Баянову давеча глянула— в халате, косыночка белая, ровно и не телятница, а фельдшерица какая...

— Толку с моды-то ихней! — пренебрежительно бросила Яковлевна. — На нашей — что на ней, то и ее. Чемоданишко хоть скрозь перерой, рубашки нестираной не найдешь. Выговариваю этта ей, мол, я против тебя никто, баба необразованная, а посмотри у меня в комоде: и полотенца новые, и рубашки, и комбинации с кружевом.

— Ну, и она что? — Хозяйка сдвинула подальше косынку, чтобы лучше слышать.

— Молчит. Сама молчит, а Валерка, ну,

до чего охамел при ней. Вот, говорит, внука женить — приданое невестке будет.

— Так коровы и не хотят заводить они?— переменила разговор Катерина Иннокентьевна.

Остроносое лицо Яковлевны и без того не отличалось добротой. Сейчас оно вспыхнуло и пошло злыми красно-фиолетовыми пятнами.

— Мячик-то кто кидать будет? — желчно спросила она. — Мало ей лета было, так секцию в клубе, слышно, набирает. И зимой, значит, будут в этот самый валитбол прыгать.

Катерина Иннокентьевна загадочно молчала, помешивала чай в стакане.

— Зачем им корова? — спросила гостья.— Владимир Демьяныч, слышь, фирму (в Широком говорят — «фирма») новую собирается открыть, чтоб с нее уж молоко только колхозникам, которы коров сдадут. Спрашиваю: неужто и ребенка с фирмы будешь поить? Рассердилась даже. Городские ребятишки, мол, пьют же!

— С фирмы уж не молоко, — согласилась хозяйка. — Давай-ка, я тебе горяченького налью, — и, взглянув на покрасневшее лицо гостьи, посоветовала: — А ты не расстраивайся, Яковлевна. Молодым виднее, как им жить. Лишь бы промеж себя ладили. А твои, слышно, ладят.

— Ладят, — безучастно повторила гостья и вдруг спохватилась: — Засиделась я у тебя, Катя, а дома, поди, свиньи забор сгрызли.

Когда красная шерстяная косынка Яковлевны мелькнула за окнами, Катерина Иннокентьевна сказала с уважением: — Деловая баба! Ох, деловая! Две коровы у нее, нетель, бычок годовалый, свиней уж и не знаю, сколько, а гусей этих, поди, и сама не считает.

— И разрешают? Или налог платит?

— Зачем налог. На сына записано. Сын отдельно живет, имеет полное право, — просто, как само собой разумеющееся, объяснила хозяйка. — И неженатый Валерка был, не очень Яковлевна горевала. Дом у них большой. Пустит на квартиру учительницу или фельдшерицу и уговорит, чтоб на нее лишнюю скотину отписать. Дошлая!

— Кормов-то сколько надо на такое хозяйство!

— Много, девонька. Ой, много надо, — горестно подтвердила Катерина Иннокентьевна. — Тут вдвоем с дочкой в колхозе трубим, на одну коровенку сена едва вырвешь. Не картошка бы, так и без молока насиделись. Ну, Яковлевна, она из-под земли достанет, если ей надо. Фирма скорей без кормов останется, чем она. Кому пол-литровку, кому пятерочку, кому и десяточку сунет: вот она уже и с зерном и с сеном. Деловая женщина, ох, деловая!

— Ваше же, колхозное, для нее крадут. А вы молчите, — удивилась я.

— Колхозное, как не колхозное. Где, окромя, взять? — спокойно подтвердила Катерина Иннокентьевна. — Однако украл — рук не оставил.

— Будто так трудно поймать вора в деревне?

— Поймать-то можно, да... — Она подняла за концы старенький фартук, близко поднесла к глазам, будто разглядывая вылинявший узор, и засмеялась: — Наши деревенские дела семь судей семь лет суди — не рассудят.

— А Маша — это не Воронкина, не заведующая молочной фермой? — спросила я, вспомнив рассказ Егора Семеновича.

— Воронкина и есть, — радостно подтвердила Катерина Иннокентьевна. — Теперь-то она Бухарова, да по мужу-то мало кто и зовет. Привыкли еще как в первые дни она себя в Широком оказала. Должность же ответственная. Поначалу думали мы: зря ее Владимир Демьяныч туда поставил. А вышло — очень даже к месту! Она старательная, Маша. Чудная только. Мысленное ли дело в деревне без хозяйства прожить?

Чудная? Оказалось, не все в Широком разделяли такое мнение. Я узнала об этом буквально на другой день. В столовую привезли пиво, и почти все мужское население Широкого спешило засвидетельствовать свое почтение буфетчице тете Тосе. Я с трудом отыскала место, чтобы пообедать. Подавая мне суп, молодая официантка демонстративно подвинула совершенно не мешавший ей кирпичик черного хлеба и с явно преувеличенным удивлением спросила потягивавшего пиво красивого чернобрового парня:

— Неужто магазинский хлеб ешь, Валера? Уж мать бы попросил состряпать, раз у тебя жена такая интеллигентная.

— А чего мать просить. Может, ты по старой любви состряпаешь, Тома? — озорно подмигнул ей парень.

— Была нужда для чужих мужей стараться, — обиженно дернула плечом Тома и хотела уйти, но сидевший рядом солидный, лет сорока, дядечка в замасленной куртке механизатора чугунными пальцами схватил ее тонкое запястье.

— Нет, ты постой, Тамара, послушай, что я тебе скажу. — Он повысил гудящий свой голос и уже явно не для одной Тамары продолжал: — Будь у нас таких женщин, как его жена, — кивнул он на парня, — как Мария Александровна, хоть половина, давно бы на

нашем районном хлебозаводе куличи пекли, а не то что хлеб хороший. Но, к сожалению, много еще таких, как ты, Тома.

— Каких это «таких»? — обиделась Тома и не ушла, хотя за руку ее больше не держали.

— А таких, что все к себе гребут, — так же громко пояснил дядечка. — С такими хлеба хорошего, может, и поешь, а жизни путной не увидишь, горшками загородят, тряпками завесят.

— Правильно, дядя Вася! — донеслось из-за последнего столика.

— На свою бы посмотрел, чем чужих осуждать, — покраснела Тома.

— А я потому и говорю, что досконально таких баб знаю, — нимало не обиделся дядечка.

Тамара фыркнула и убежала. Поднялся и красивый парень. Стоя он едва не подпер головой низкий струганый потолок столовой. Злополучный кирпичик хлеба чуть не весь скрылся в его широкой ладони.

— Чего ты расшумелся, дядя Вася. Она же из ревности. Знаешь, как по Валерке сохла, — бросила из-за стойки тетя Тося, когда за парнем захлопнулась дверь.

— Чего я в свои года знаю, Валерка по молодости может и не знать.

— У них с Машей железно. Любовь! — благодушно заметил сидевший за соседним столиком Ваня Сергеев.

— Любовь любовью, петуха в нашем брате, мужике, в любом навалом есть, — глянул на него дядя Вася. — Начни так-то каждый день подзуживать, гляди и испортишь хорошей женщине жизнь.

— Это верно, верно, — отозвалось несколько мужских голосов, а дядя Вася, уже застегивая ватник, сказал внушительно:

— Ты, Тося, так и передай: еще раз услышу, что она Марию Александровну задевает, с мужиком ее, с Костей, поговорю по душам.

— Да он ее убьет, — непритворно ужаснулась тетя Тося.

— Не убьет небось. Поучит только. А дуру и поучить не грех. Что же нам из-за вашей Томки хорошего животновода терять? Ведь она уедет, случись что, Мария Александровна-то.

— Хорошему специалисту везде дорога, — почему-то вздохнула тетя Тося, а молодой басок из дальнего угла заметил:

— В Налюры ее в прошлом году звали, квартиру сулили и оклад сто пятьдесят.

Второе мне принесли только тогда, когда ушел дядя Вася, и, убирая со столов грязные стаканы, бойкая всегда Тома не поднимала глаз. Я поняла, что познакомиться с животноводом Машей Воронкиной-Бухаровой просто необходимо.

Я встречала ее на ферме, в конторе, в клубе, но поговорить по душам как-то не удавалось. Случай свел нас в районной гостинице. Я уже собиралась спать, когда она вошла, легкая, стремительная, по-девичьи хрупкая. Пахнуло морозным воздухом, тонкими какими-то духами, с разрумянившегося лица глянули широко распахнутые серые глаза. Вот так встреча!

Мы проговорили едва не до рассвета. Но не сразу, не вдруг открыла она свое заветное. Больше рассказывала о работе, о колхозе, о своих планах улучшения племенного дела. Затруднения были такие же, как и у всех. Зимой не хватало кормов, ругали за снижение удоев. Летом не было холодильников, ругали за скисшее молоко. Работники маслозавода снижали в документах жирность молока, а учетчики фермы упорно не желали взять на себя дополнительную заботу о проверке этих показателей: мол, колхозное, не мое, сойдет и так. Сколько труда и неприятностей стоило приучить телятниц следить за племенными бирками на ушах молодняка. Телок норовил сбить эту бирку, а без нее о племенной работе не может быть и речи.

Маша не жаловалась, говорила скупо, боясь показаться хвастливой, а передо мной картинами вставали рассказы, уже слышанные о ней в Широком. Виделось, как среди ночи девушка выскакивала из-под теплого одеяла и через всю деревню, через мертвое зимой картофельное поле бежала на ферму, проверить, так ли ночной сторож, ленивый старик Федор Прокопьевич, запаривает солому и запаривает ли вообще. Бежала, замирая от страха перед безлюдной темнотой улиц, шарахалась от шалых деревенских собак, вздрагивала в городском тонком пальто от пронизывающего в поле ветра, особенно чувствительного со сна. А потом до утренней дойки стояла над душой лукавого старика, слушая его обидную воркотню:

— Солома, милушка, она солома и есть, хоть сметаной поливай! С соломы корова жива будет, а теленка не принесет и не жди. И что за девка ты несуразная, Александровна? В твои бы годы с парнем в обнимку, а ты старику спать не даешь. Смотри, и с лица спала, один нос торчит. Наши широковские парни костлявых не уважают, сидеть тебе, милушка, в вековухах, — и добавлял глубокомысленно: — Оно, может, и лучше. Какой это мужик согласится, чтоб жена среди ночи из постели убегала?

Маша слушала и знала — не ей одной говорит это ехидный старик, на всю деревню славит ее, странную, непохожую на всех. И так не одну ночь, не две, а до тех пор, пока Федор Прокопьевич не понял окончательно— кончилась его удача: отоспавшись за колхозные трудодни, шорничать днем для сельпо и управлять свое немалое хозяйство. Не выйдет это при новой животноводке, язви ее!

Я словно слышала пронзительный злой крик Полины Яковлевны: «Валерочка, рожёный мой, брось ее, выдру! Жен много — мать одна. Такую ли мы тебе кралечку найдем, красивому...», когда невестка наотрез отказалась помогать ей в хозяйстве и ушла из богатого пятистенка свекрови в заваливающийся, насквозь промерзающий дом бобылки Дмитриевны.

Впрочем, о трудностях семейной жизни Маша рассказывала подробнее, быть может, потому, что ближе они, больнее ранили душу, и потому еще, что речь здесь шла о прочности чувства, за которое любящая женщина трепещет всю жизнь. Но разве расскажешь в коротком очерке о том, чего стоило городской, одинокой девушке приучить избалованного материнскими заботами единственного сына разогревать самому обед, забирать из яслей ребенка, носить с реки воду... Разве расскажешь на одной странице, как нелегко быть в деревне «белой вороной», не такой, как все. Это для повести тема!

— Я когда в деревню ехала, слово себе дала не опрощаться, жить так же, как живет интеллигентный человек в городе, — негромко, словно размышляя вслух, говорила Маша, калачиком свернувшись под жиденьким гостиничным одеялом.— А мне на каждом шагу: «Чудачка ты, почему от зерна отказалась? Смололи бы и пекли калачи! А куриц чем кормить будешь?» «Ты почему поросенка не выпишешь с фермы? Сама бы и выбрала какого получше. Не наше горе — какого дадут, того и корми!» «Ты в своем уме — от сена отказываться!?» И смотрят, как на блаженную... жалеют даже.

— Вот волейбол еще... — лукаво подсказала я, вспомнив желчную филиппику Яковлевны.

Маша не отозвалась. Я думала, она заснула, как засыпают внезапно дети и очень здоровые люди. Но, приглядевшись внимательно, заметила в рассеянном свете уличного фонаря яркий блеск ее широко распахнутых глаз. О чем она думает?

На улице ветер. Тень голого тополя тревожно мечется по белой подушке, тревожно блестят глаза женщины, тревожно звучит в тишине негромкий вопрос:

— Вы моего мужа видели? Он, знаете, какой сильный? Он меня одной рукой поднимает! — с застенчивым восхищением призналась Маша и уронила едва слышно: — А я некрасивая.

— Вы, Маша, больше, чем красивая. Вы обаятельная...

— Нет, не говорите, я знаю... Если спортом не заниматься, лет через пять стану костлявой. И читать нужно много, и работать очень много, и работать очень хорошо, чтоб ему со мной всегда интересно было, чтоб о жене он только хорошее слышал...

Маша приподнялась, оперев голову на тонкий, изящный локоток.

— Вы знаете, как трудно в Широком жить по-человечески? — спросила она и, не дожидаясь ответа, сказала задумчиво: — Какие мы планы с Владимиром Демьянычем строили, когда я приехала! Мечта! Молочную ферму хотели организовать, картошку садить коллективно, без делянок, пекарню открыть, водовоза поставить для деревни... — Помолчала и сказала потерянно: — Даже на водовоза трудодней жалко, а уж коров вместе свести... и не заговаривай. Вот какой народ!

— Может, вам лучше в город вернуться... — бросила я пробный камушек.

— Нет, — твердо сказала Маша и села на кровати, охватив колени руками. — В город уехать — значит, отступить, значит, Полине Яковлевне колхоз оставить.

Необычайная твердость и гнев звучали сейчас в негромком голосе хрупкой женщины, и я поняла, какая непроходимая пропасть разделяет эту семью. Тут не простые житейские нелады между свекровью и невесткой, тут столкнулись полюса.

А Маша говорила уже задумчиво, с детским каким-то недоумением: — Если по-честному, так у нас в Широком очень-то хорошо только такие и живут, как моя свекровь. Их немного, но они задают тон. Многие и в колхозе не состоят. Прилепились кто в сельпо, кто в больнице, кто в школе. Рублей тридцать-сорок получают, — а живут куда лучше председателя колхоза, не говоря уже о нас. А что им не жить? Неурожаи наши, падеж, бескормица на них не отражаются. Живут единоличники единоличниками. Скота держат полный двор, птицы... Вы весной приезжайте. На Маре чистой воды не видно, такие стада плавают, гуси и утки. Не колхозные, конечно. Сколько они одного зерна съедают — подумать страшно. Колхозного зерна, у нас украденного. Все это знают, но никто и голоса не

поднимет ни против воров, ни против тех, кто скупает. А почему? Потому что все тащат...

— Ну что вы такое говорите, Маша?

— Пусть не все, — поправилась она. — Но ведь даже те, кто не ворует, не считают колхозное своим. Даже государственным не считают. Так, вроде бесхозное, — с горечью уронила она.

— Но почему же? Почему?

— Не знаю. Я ведь недавно в деревне. Поговорите с Владимиром Демьянычем. Он об этом много думает... И деревню лучше знает...

Тяжелый день

Я выбирала денек поспокойнее, а разговорились мы с Владимиром Демьянычем неожиданно, в самый неприятный для него день. С утра в кабинет с криком ворвалась Полина Яковлевна.

— Я в колхозе всю жизнь, а мне работы нету. Я в район поеду! — грозила она и красные пятна бежали по ее остроносому лицу, как облака в ветреную погоду.

Два дня назад на молоканке испортился электромотор, и бригадир Анатолий Дядюшкин поставил крутить сепаратор двух женщин. Работа временная, некорыстная — один трудодень на двоих, но претенденток на эту половинку оказалось неожиданно много. В том числе и хозяйственная свекровь животновода Маши Воронкиной.

— Они же переселенки, ты поимей понятие, тетя Пана, им хозяйство ставить, а у тебя дом — полная чаша, — урезонивал ее Дядюшкин.

— Не ты ли мне ту полную чашу наливал? — не сдавалась Полина Яковлевна. — Я двадцать пять лет на колхоз горбатилась, а они на готовенькое подскочили — дай им!

— Вы бы в страду так на работу рвались, Полина Яковлевна. Цены бы такой колхознице не было, — негромко заметил Владимир Демьяныч. — А в прополку вас на поле не выманишь...

— У меня справка есть! У меня давление признали... — яростно обернулась к нему Полина Яковлевна.

— На своем огороде у тебя давления нету, тетя Пана. Мешков пять луку одного сняли, поди? — спросил Дядюшкин.

— Сосчитал! — уничтожила его испепеляющим взглядом Полина Яковлевна. — А едоков-то не считаешь? У Валерки-то с Машей нет огорода, или я им не мать?

— Ну, хватит, Бухарова, — не выдержал Владимир Демьяныч. — Какая вы им мать, всему Широкому известно...

— Ничего, я найду правду. Я двадцать пять лет в колхозе, не новенькая, — разом успокоившись, поправляя сбившуюся косынку, пригрозила она.

— Жаловаться поедет, как пить дать, — уныло сказал Анатолий Дядюшкин, когда четкие шаги разгневанной женщины отзвучали в коридоре.

— Пусть едет... — Владимир Демьяныч сердито побарабанил пальцами по столу и поднял глаза на вошедшего с бумагами бухгалтера.

— Петр Тимофеевич, сделай на всякий случай выборку лет за пять на Полину Бухарову. Сдается, больше минимума у нее трудодней не бывает, и те зимой вырабатывает...

— Во-во! — обрадовался Дядюшкин. — Любит работать, когда делать нечего.

— А почему на одну Бухарову? — Петр Тимофеевич удобно уселся на диване и начал считать, загибая узловатые ревматические пальцы: — Яковенко Василий, Чурочка Федор, Грибова Татьяна... — Насчитал с десяток фамилий и, сжав кулаки, пристукнул ими по худым коленкам: — Выбрать и на собрание.

— Правильно! — поддержал Дядюшкин и объяснил мне: — Обнаглели совсем. Вырабатают минимум, кто когда изловчится, и оставайся лавка с товаром. Прополка тебе или уборочная — их не касается. Свое хозяйство успевают править... Воздух только портят в колхозе.

— Воздух портят, — подписывая бумаги, раздумчиво повторил Владимир Демьяныч. — Заражают даже. Но ставить этот вопрос на собрании бесполезно. Не пройдет.

— Пожалуй, — согласился Петр Тимофеевич, а Дядюшкин злобно придавил в пепельнице окурок. — Собственническая стихия!

Я хотела спросить, откуда такая безнадежность, но дверь распахнулась и в кабинет, не спрашиваясь, по-хозяйски вошел начальник производственного управления Валежников. Поздоровавшись общим кивком, он сел к столу, не спеша извлек из кожаной папки пачку бумаг и бросил их Владимиру Демьянычу.

— Хотел бы я знать, кто автор этой антигосударственной идеи? — Укоризненно глянул на нас — мы не догадались вовремя выйти — и зловеще понизил голос: — Как вы, Владимир Демьяныч, могли подписать такие, с позволения сказать, документы? Где ваша партийная совесть?

Я глянула и не узнала председателя. Каменный монумент, железобетонный дот с узкими жалами глаз высился за председательским столом.

— Ничего антигосударственного я тут не вижу, Алексей Николаевич, — тоже очень тихо, сдерживаясь, чтобы не сорваться на грубость, отвечал он и, выдвинув ящик стола, достал тонкую, изрядно потрепанную папку.

— Вот тут у нас все расчеты. — Раскрыл на развороте и открыжил ногтем жирно подчеркнутую красным карандашом цифру.—Сейчас наши коровы дают в среднем три литра. Итого полторы тонны. Больше на десяти килограммах силоса не возьмешь. А если оставить триста самых продуктивных и дать им по пятнадцать—двадцать кило плюс концентрат—получим как минимум тысячу восемьсот литров и уложимся в плановую себестоимость. Есть расчет? — поднял он от бумаг злой, напряженный взгляд.

— Я смотрю, поднаторели вы в кабинетных расчетах. Это не запаривание соломы организовать, — язвительно заметил Валежников.

— Солому запариваем. И кормовые дрожжи применяем. Без этого и трех литров не получить. Но три литра — это колхозу удавка! Сплошной убыток. Смотрите... — снова вернулся было к своим расчетам Владимир Демьяныч, но передумал и, захлопнув папку, сказал, не скрывая иронии: — Может быть, вы, Алексей Николаевич, задержитесь у нас на неделю, научите нас, дураков, как без кормов удои поднимать.

— Я за вас работать не собираюсь! — малиново наливаясь краской, высокомерно дернул головой Валежников. — Не хотите работать — скажите прямо! Разберемся и найдем вам место по заслугам. А ревизовать государственный план поголовья вам никто не позволит! — Резким движением застегнул автоматический замок своей папки и сказал, снова зловеще понизив голос:— Я этих актов не видал, а вы не подписывали. По-хорошему советую... — Предупредил, уже застегивая кожаный реглан: — А за снижение надоя ответите на парткоме. Сидите тут в кабинетах, вместо того чтобы мобилизовать кормовые резервы. Расчеты рассчитываете, а на ферме черт ногу сломит: лампочки ввернуть некому!

Больше оставаться в кабинете нам, посторонним, стало невозможно. Один за другим мы вышли в коридор. Мрачный Дядюшкин молча прошел к выходу из конторы. Мы с Петром Тимофеичем отправились в бухгалтерию.

— Говорил вам, Мария Александровна не разрешит. На мое и вышло, — ворчливо сказал бухгалтер животноводу Маше, что-то подсчитывавшей за столом кассира.

— Что, вернули? — живо спросила она, подняв от бумаг большие свои, мохнатые глаза.

— Сам привез. Валежников. Сцепились там с Владимиром Демьянычем — пух летит, а что толку? Хозяин — барин, — пояснил Петр Тимофеевич и сердито придвинул к себе счеты. — Кричи не кричи, а десяти копеек нету.

— Каких десяти копеек? — удивилась я. В кабинете спор шел о коровах, килограммах и литрах.

— Да вот, рассчитывали мы, если малопродуктивных коров на мясо сдадим и удои повысим — по десять копеек на трудодень добавить уже в конце года, — бойко пояснила бухгалтер Люся Намаконова, сидевшая на учете животноводства, и вдруг по-мальчишески свистнула: — Моя путевочка!

Маша убито молчала, опустив голову на тонкую, измазанную чернилами руку.

— И что же, значительную сумму эти десять копеек для колхозной семьи составят?— спросила я.

— Смотря для какой семьи, — едко улыбнулся Петр Тимофеевич. — Такую вот взять, как Полина Яковлевна, так чихала она на эти десять копеек. Ей колхозный заработок только для легальности, чтоб в тунеядцы не зачислили. На двадцать рублей больше или на тридцать меньше — беда не велика. А вот Люся наша, — кивнул он на бойкую бухгалтершу, — на эти десять копеек на Кавказ съездить метила. Сергею, мужу ее, колхоз путевку дает, как лучшему механизатору, вот она и нацелилась, как прикинула, сколько этих гривенников на их тысячу сто трудодней падает...

— Сами-то, Петр Тимофеич, Борьке аккордеон сулились купить... — сердито бросила Люся, и мелкие злые слезинки вскипели в ее голубых, еще детски-чистых глазах.

— Что поделаешь, дурень думкою богат,— вздохнул Петр Тимофеич и обернулся к счетоводу Тоне: — Дай-ка мне кассовую ведомость...

Я вышла на крыльцо конторы, раздумывая, куда бы теперь пойти. За моей спиной распахнулась дверь, и Валежников, твердо ступая начищенными сапогами, быстро сошел к своей машине и резко нажал на сигнал. От стоявшего в стороне председательского вездехода метнулся коренастый, средних лет водитель, и через секунду Валежников уже скрылся в облаке дорожной пыли. А еще через секунду на крыльцо вышел Владимир Демья-

ныч. Остановился. Все теми же до неузнаваемости сузившимися злыми глазами окинул двор и, заметив меня, сказал отрывисто:

— Вы наше хозяйство путем еще не видели... Хотите посмотреть?.. Сейчас на Туру еду... — И уже по дороге к машине объяснил: — Скот выбракованный мы туда на откорм перегнали. Упитанность перед сдачей повысить, да, видно, приходится обратно на голодный рацион ставить...

Шоферу своему сказал, открыв правую дверцу машины: — Иди домой, Сергей Капитоныч. Сам поведу. Она как? — кивнул он на мотор, — в порядке?

— В порядке, — хмуро ответил тот, неохотно вылезая из кабины. Как все хорошие водители, Сергей Капитонович не любил отдавать машину в чужие, особенно в дилетантские руки. «Дороги не чувствует, скорости рвет... За два дня потом не отрегулируешь», — было написано на его насупленном лице. Но Владимир Демьяныч вряд ли это заметил. Давешняя каменная напряженность еще не покинула его. Он вел машину быстро, не очень считаясь с ухабами, и сузившиеся злые глаза смотрели на дорогу, как пулеметные жала.

Не знаю, читал ли Владимир Демьяныч советы невропатологов, но сделал он то, что надо: дал выход клокотавшей нервной энергии, переключил ее на выполнение нелегких обязанностей водителя.

И дорога сделала свое дело, успокоила. Она бежала по укрытым снегом полям, ныряла в прозрачные березовые перелески, взметнулась на горку, чтоб заглянуть за горизонт; а горизонт отодвинулся, расстелив перед глазами отдыхающее поле с бугристыми комьями зяби под тонким слоем снега, с высоким штабелем навоза, свидетелем неусыпных забот земледельца об урожае. Дальше тонкоствольный молодой осинник тесно обступил круглую, как циркулем выведенную луговину с зародом люцерны, ярко-зеленой и, кажется, даже сочной. Ветер сдул со льда тонкий слой снега, и небольшое озеро за луговиной блеснуло, как старое зеркало в богатой серебряной раме из опушенного инеем низкорослого тальника. Неслышный за шумом мотора труженик-дятел увлеченно долбил ствол раскидистой придорожной березы...

И вот уже обмякли напряженные, каменные плечи Владимира Демьяныча, твердо сжатые губы тронула едва заметная, ироническая усмешка.

— Нет, до чего же вовремя человек умеет лампочку заметить! — сказал он. Лицо, все еще злое, оживилось от какой-то мысли, глаза засветились удивлением. — Который год думаю, что нашим колхозам больше вреда приносит — частная собственность или чиновники? Не решил, однако... — Засмеялся, сбавил скорость и заговорил:

— Многое мне простым казалось, когда я четыре года назад в деревню приехал. Ввести помесячную оплату хорошую, не ниже, чем на заводе, механизировать труд, заинтересовать людей — и дело пойдет. Что вам рассказывать? В газетах тогда каждый мой шаг описывали. Как же — директор завода согласился председателем колхоза стать! Не каждый на такое решится. И не ошибался так, чтобы крупно, если не считать высокой оплаты ведущих профессий. На это-то многие мне указывали, да я не согласился, и считаю — прав. Механизатора в деревне возьмите — это же не водитель такси. Квалификация нужна высокая, а работа без нормы — от зари до зари. Или доярку взять. Когда она свободное время видит? Чем-то надо компенсировать такой труд. Нет, в этом я не ошибся. Народ это одобряет. А результаты все равно неважные. Двести тысяч долгов в государственном банке. Люди зарабатывают прилично, но готовы уйти из колхоза на любую работу, лишь бы, как они говорят, на производство.

Помните, я вам говорил, не знаю, мол, почему бегут люди от хорошего заработка? Покривил душой я тогда. Знаю, отчего. Не уверены, что долго так жить будем. Долг растет. Банк тоже не мать родная, без конца пролонгировать ссуды не будет, когда-то начнет снимать со счета, посадит на картотеку... Народ, он бухгалтерии не знает, но считает не хуже нас, да и научен горьким опытом. «Сибирь» наша из трех колхозов слита задолго еще до меня. Так вот, крепкий с отсталыми соединили, обещали долги постепенно взыскивать, а взяли в один год. Технику мэтээсовскую сулили в рассрочку, а взыскали потом сразу...

Обиднее всего что? Не такой уж я дурак, чтобы выхода не найти. Заводом командовал — научился и копейку считать, и перспективу развития видеть. А вот лежит у тебя на дороге такой Валежников и не переступи через него. Кричит: «Государственный план!», «Антигосударственная практика!» Положим, не боюсь я криков его. Так нет, не в страхе одном дело. Связан я по рукам и ногам. Видели давеча: акты на выбракованный скот нам вернул, не подписал. А без этих актов мясокомбинат не примет наших коров. Каких коров, знали бы вы! Хотя сейчас увидите. Сорок восьмого года рождения, красавицы, об трех сосках, по два года яловыми ходят. Но

должен я их кормить, чтоб у Валежникова план поголовья в ажуре был. Ну, ладно, совхозом он так командует. Совхозу государство убытки спишет, хотя тоже за счет чего — подумать надо. Может, на эти деньги лучше вышку телевизионную нам поставить. А у нас-то за счет колхозника этот ажур наводится!

...С заводом своим я связь не порвал, заглядываю, как в городе бываю. Знаю, во что рабочему человеку обошлось повышение цен на мясо. Оттого, что не возражали, подтянули пояса и ждут терпеливо, когда мы в деревне порядок наведем, и — мне же стыднее еще! Ночи не сплю иной раз, думаю, как рентабельным это животноводство сделать, а толку нет. Молоко убыточно, свиноферма убыточна, птица — и не говорить лучше. Давеча озеро проезжали, заметили? Пекинские утки у меня тут летом жили — чистой воды не видать было от них. Сорок тысяч! От репортеров отбою не было: из газеты, из кинохроники, с телевидения... Да что репортеры. Из Читы два председателя колхоза и зоотехник за опытом приезжали. Доходы наши от этой птицы управление заранее подсчитало, и в газете, и по радио прозвонили.

А мы не то что прибыль, — двенадцать тысяч убытка от фермы понесли. И больше чтоб у меня где хоть одна утка крякнула! Расстреляйте меня — не допущу, пока на управлении мощный мясокомбинат не построят. Судите сами — озеро замерзло, птицу на чистое зерно переводи, ее запаренную солому сам Валежников не уговорит есть. А мясокомбинат осенью и с крупным рогатым скотом не справляется. Расчет ли ему с нашей уткой возиться? Осень еще, как на грех, теплая выдалась. Морозы-то вот с неделю всего стоят. Быть, значит, опасно без холодильников, а кормить — опасно для кармана. Что тут станешь делать? Скормил зерна прорву, вагон крови испортил, пока разделался с ними. Вот тебе и подсчитали доходы от неубитого медведя.

Сегодня вот, слышали, кормовые резервы я не мобилизую. Веников, иными словами, не заготовил. А в начале августа, как силосовать кукурузу начали, налетел не хуже, чем сегодня, запретил срезать: «Оставляйте на початки, скоту белковый корм нужен!» Думаете, о скоте душой болел? Как же! Кого-то похвалили за початки, вот и ему выскочить в хорошие захотелось. Сегодня запретил, а через неделю заморозок. Ни початков, ни силоса! Теперь он об этом молчок, а колхоз убытки подсчитывает. Колхоз в убытке — еще ладно — на другом наверстает. А вот кукурузоводы за свой отличный труд дополнительной оплаты лишились — этого уже не наверстаешь. Два-три раза с людьми такие фортели выкинуть и — пиши пропало. Начисто отобьешь охоту к работе. Но разве ему, Валежникову, это втолкуешь? Он тебе опять какую-нибудь лампочку, вроде как сегодня заметит. Поразительная у него эта способность — мелочь какую-нибудь взять, раздуть и через нее тебя бездельником выставить.

В прошлом году с пропашными этими. Сейчас-то, когда машины получили, бороны специальные, я свеклы по триста гектаров сею и горя мне мало, а тогда ведь сеялок свекловичных и тех не было, зерновые приспосабливали. И семена только многоростковые: целый куст в одном гнезде зарождается. С букетировкой потом зашиваешься как швед под Полтавой. И прополка тяпками, как при фараонах. Я для начала наметил посеять сорок гектаров, чтобы животноводам пользу этой культуры наглядно показать. В управлении эту мою наметку на двести переделали. Говорю: не обработаем же как следует. Куда там! Разве Валежников наши доводы слушает? «Не ваше дело! — кричит. — Город обработает». А городским людям за работу, между прочим, тоже платить положено, и ручная обработка — она ручная и есть, убыточная. Какой же, говорю, нам расчет нанимать? Пусть лучше эти полтораста гектаров под паром погуляют.

Что тут началось — вы, наверное, слышали. И травопольщиком я был, и курс партии на пропашные культуры не признавал, и заскорузлым противником нового на каждом совещании крестили... Говорите: если убежден в своей правоте — не страшно? Положим, я не очень боялся, это верно, а только... Жена мне в те дни рассказ Куприна прочла «Анафема». Это, говорит, про тебя! Смеетесь? А мне что-то не очень смешно было. И свекла — по рублю кило — дороже алма-атинских яблок стала...

Или раздельную уборку взять. Ничего не скажешь, хорошее дело в первую неделю жатвы. На Кубани где-нибудь, на Ставропольщине, может, и до конца она применима, там в жару жнут. У нас же с половины августа росы до полдня лежат, а с пяти часов, как солнце на закат повернуло, снова холодок. На земле-то в это время посидишь — и радикулит готовый. Сырая уже земля. День-два хлеб на ней полежит и прорастет. Но поскольку в газетах сказано: раздельная уборка — дело прогрессивное, — наш Валежников до снега раздельно убирать заставляет. Своими руками днище у комбайнов вырезал. Сколько агрономов, управляющих отделениями, директо-

ров совхозов даже ушли из нашего управления из-за этого! Не каждый ведь может эту «анафему» вынести. Разогнал лучшие кадры. Только тех и терпит, которые «будет сделано» вовремя сказать умеют.

Иные это «будет сделано» с хитростью говорят. Делают по-своему. Но это уже обман. В сводках одно показывать, а на деле другое делать—и не к лицу коммунисту, я считаю. А другие, вот вроде Коли Можары из «Рассвета» или Чупрова из «Подкаменного» и в самом деле так живут, как Валежников велит. Зато он их за послушность по головке и гладит: запашка у нас с «Рассветом» одинаковая, лугов чуть не вдвое у «Рассвета» больше, а план поставок и по зерну и по животноводству ниже нашего. Да и того плана не выполняет он путем. Однако ничего, не прорабатывают его на парткоме, как меня, грешного, каждый месяц.

...Помните, вы как-то нашим Широким с моста любовались. Я ваши слова хорошо запомнил. Русский деревенский уклад! А почему запомнил? Я этот уклад с первых дней своего председательства возненавидел. Огороды эти, курятники, сеновалы... В них все зло нашей сельской жизни для меня заключалось.

Прополочную взять. Тут не то день, час роль играет. Сорняки кукурузу, свеклу душат, но пока она свою картошку не протяпает, ничем ее на колхозное поле не выманешь. Так же и в посевную, и в уборочную... А если и выйдет, старается пораньше домой вернуться, на своем огороде, около своей скотины успеть. Хлебы стряпает — значит, полдня ее не жди. Это которые постарше. Молодежь от уклада этого и вовсе в город бежит. На любую работу, лишь бы в город. Я их понимаю, молодых. Им встречаться надо, петь, плясать, футбол пинать. А тут после рабочего дня в колхозе еще один рабочий день на своей индивидуальной ферме. Не затанцуешь!

И чего только я не придумывал, чтобы уклад этот поломать! Картошку предлагал коллективно в поле садить, чтоб машинами обрабатывать,— не пошло. Пекарню колхозную открыть, домашний хлеб выпекать — не пошло. Личный скот на общей ферме содержать, чтоб сено, концентраты по дворам не растаскивали,— не пошло.

Сейчас в деревне, если строго подсчитать, коров ровно столько, сколько на нашей первой ферме. А по молоку — так и обе наши фермы зальют. Индивидуальным-то скотом Валежников не командует, в своем дворе никто корову об трех сосках держать не станет. Сена, видели, какие зароды сложены в каждом дворе? Поставил на собрании вопрос: сдать сено, у кого больше, чем на одну корову. Не пошло!

Сначала крепко на широковцев обижался. Черти, думаю, серые, заскорузли в домашнем навозе, света видеть не хотите! Сорок шесть лет советской власти мимо вас, что ли, обошли? Сердился очень. В сердцах редко кто справедливо судить может.

А сейчас обглядедся — вижу, в чем тут причина. Валежников уклад этот поддерживает! Нет, вы на меня больших глаз не делайте. Знаю, что говорю, хорошо обдумал.

Вы сообразите, кого эти валежниковские художники больше всего бьют? Кто на раздельной уборке да на замороженной кукурузе теряет? Те, у кого трудодней много. Хорошие колхозники, значит. Конечно, Варвару Петровну с сыновьями или такого Егора Семеновича это от колхоза не оттолкнет. Они все равно в колхозное дело душу вложат. Ну, а те, которые ни в тех, ни в сех, на какую сторону они склонятся? У кого жить учиться станут? Уж, конечно, у того, кто получше да побогаче живет. У Полины Яковлевны. Потому и не проходят многие мои предложения на собраниях, что во многих колхозниках добрый кусок Полины Яковлевны сидит.

А почему такое? Почему при советской власти и плохой человек богаче хорошего живет? Я от таких мыслей спать перестал. Пока Валежникову дана такая власть нами как пешками командовать, пока, как говорится, он заказывает, а мы платим, Полина Яковлевна будет богаче Варвары Петровны жить. Понятно? А вы меня в клеветники мысленно записали уже. Видел, видел, по глазам видел. А вот я вас еще больше удивлю. Знаете, я ведь сам Валежникову, быть может, больше других помогаю на плаву держаться. Собственными руками, если хотите. Да, да!

Он ведь чем берет, Валежников наш. Святыми словами берет: «Родине нужен хлеб! Государственный план... Партия требует от нас». Знаю ведь, распрекрасно знаю, для него эти святые слова — ширма одна, Коли Можары да Чупрова — свои, одним словом, прорехи прикрыть,— а сдаю сверх плана, сколько скажет. Потому, что когда он эти слова кричит, Родине, действительно, хлеб нужен. Недостает хлеба! Не один такой Валежников, видать, в сельском хозяйстве у нас людей да землю мордует, если мы хлеб за границей покупаем. Из-за них, из-за валежниковых, эти нехватки происходят, да стране-то, народу-то не легче от моих догадок. Им сейчас, сегодня хлеб нужен...

Вот, скриплю да сдаю. Колхозников урезаю, свиней, птицу на голодный рацион сажу, сдаю. А ему, Валежникову, только того и надо. Сейчас он этим моим сверхплановым хлебом баланс по управлению выравнивает, и вот он уже хороший. А то и передовой.

Вот ведь какой круг получается. Не разорвешь! Другой раз думаю, думаю над этим и рукой махну: мол, плетью обуха не перешибешь. Надо в город уезжать. Так-то хозяйствовать, как я, на таком уровне держать колхоз любой наш бригадир сможет. Варвара Петровна, будь она моложе, и та бы смогла. Незачем было «варягов» вроде меня из города возить.

Только коллектив заводской и удерживает. Как подумаю, ну, что я им скажу, вернувшись? Ничего, мол, в деревне сделать невозможно? Бессильна партия против Валежникова и Полины Яковлевны? Так ведь неправда это. Быть того не может! Где-то я не той дорогой иду, наверное, или не все понимаю...

* *
*

Этот очерк был уже написан, когда газеты принесли к нам в Сибирь постановление февральского Пленума ЦК КПСС. Я читала их с чувством острой радости за Владимира Демьяныча и Машу Воронкину, за Варвару Петровну и ее сыновей. Вот чьи заветные думы подслушала и приняла к сведению партия, вот на чью сторону она стала. Может быть, теперь и не стоит печатать этот очерк? Теперь все беды села Широкого устранятся сами собой?

Я попыталась представить себе, как Алексей Николаевич Валежников выслушивает планы агрономов и председателей колхозов, советуется с ними, как поднять производительность хозяйства, но не смогла. Выражение властной непреклонности на лице Валежникова никак не хотело уступать место вдумчивому вниманию к людям, сомнению, раздумьям.

Нет, Валежникова так скоро не переделаешь. Слишком долго складывалось, каменело в нем «волевое» начало. Эта заливающая лицо малиновой опасной краснотой нетерпимость к критике, эта привычка легко, одними громкими лозунгами достигать видимости благополучия и зловещими ярлыками пресекать всякую попытку доискаться правды. Так вот просто он позиций не сдаст. Ведь это о нем в решениях февральского Пленума ЦК КПСС сказано: «К сожалению, продолжается осужденная партией и правительством практика навязывания колхозам заданий по посевным площадям, урожайности, поголовью скота и другим показателям». Продолжал же он эту практику десять лет, со времен сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Не извернется ли он и сейчас, снова прикрывшись каким-нибудь патриотическим лозунгом? И не столько лозунгом, сколько средней цифрой?

Нет решения Пленума не плацкартный билет к изобилию и счастью. Это оружие в борьбе, и друзьям моим, широковцам, еще немало предстоит повоевать на этом пути.

Дневник Ангары

Л. БОГДАНОВ, С. ПРОХОРОВ

ИНСТИТУТ ТАЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ

В тридцатые годы советский человек повел наступление на тайгу. Зажгли огни романтики в Комсомольске-на-Амуре, появились палатки, а позже и поселки в низовьях Ангары, у подножий Саян, на Лене, Мамакане, Витиме.

Но с первых же решительных шагов штурма стало ясно — мало одного желания победить тайгу. Прежде всего нужна наука. Ведь сразу же встали десятки проблем: об электроэнергии и своем хлебе, вырубке и сохранности лесов, мерзлых грунтах и геохимии тайги.

Стало ясно, что в освоении таежных богатств самое веское слово должны сказать географы. Нужна была солидная научная организация ученых-специалистов. А в Сибири-то как раз и не было ни одного своего географического института.

Все изменил 1958-й год, когда правительство приняло решение организовать в Сибири крупный центр — Сибирское отделение Академии наук СССР.

В число многих институтов, которые создавались в Сибирском отделении Академии наук СССР, был включен и Институт географии Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. Его директором стал ленинградец, ученый-географ с мировым именем, член-корреспондент Академии наук Виктор Борисович Сочава.

Тайга сейчас — плацдарм освоения и создания культурных ландшафтов на многие десятилетия. Это резерв, который должен вводиться в действие постепенно. Цель ученых — последовательно и систематически использовать возможности таежных территорий при рациональном размещении производительных сил. Ресурсы тайги при их плановой реализации явятся одним из многих мощных рычагов, посредством которых можно будет держать на жизненном уровне материально-техническую базу коммунистического общества.

Какие же проблемы решает институт географии Сибири и Дальнего Востока, который иногда называют «институтом таежных проблем?»

Человек в тайге

До наших дней дошло немало литературных источников, легенд из глубокой древности, из жизни древней Греции. И вот, когда мы занимались проблемами тайги, работой института географии Сибири и Дальнего Востока, нам вспомнилась легенда о походах Александра Македонского.

Полмира прошло разноязычное, многотысячное войско, возглавляемое эллинами. Сотни государств пали под натиском завоевателей. Золото, драгоценные камни непрерывным потоком текли в древнюю Элладу.

И вдруг в одной из южных стран гибнут слоны, сотнями умирают воины.

Почему?

В войсках пронесся слух — боги Олимпа отвернулись от нас, им надоели постоянные войны. Горе эллинам!

А в шатре Александра Македонского шли непрерывные советы. Почему гибнут слоны и воины?

А действительно, почему?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте перенесемся в 30-е годы нашего столетия, в дальневосточную тайгу.

Одна за другой уходят в тайгу геологоразведочные партии на поиски полезных ископаемых, возникают таежные поселки лесорубов. Советский человек приступил к разведке и освоению дальних глухих мест.

Но вдруг начинают поступать тревожные сигналы. Словно ожила созданная тысячелетия назад легенда. Тайга выставила против человека свое страшное оружие — болезнь, с которой прежде врачи никогда не встречались. Она была очень опасной. Заболевшим грозила инвалидность, а иногда и смерть. Немедленно на помощь вылетели ученые из Ленинграда, Москвы и других городов страны. Во что бы то ни стало разгадать новое заболевание, причины его возникновения, разработать меры защиты людей от коварных происков тайги — нелегкая задача.

Возглавил экспедицию профессор, ныне академик, Евгений Никанорович Павловский. Шаг за шагом, с риском для собственных жизней, разгадывали ученые тайны тайги. И вот не только названо таинственное заболевание, но и разгаданы его причины. Теперь мы все уже знаем о клещевом энцефалите, или как его раньше называли, «таежном весенне-летнем энцефалите». Причина его — особый вирус, который передается человеку во время укуса клещом.

В настоящее время разработаны надежные средства защиты от этого заболевания.

Мысль ученых не ограничилась разгадкой этого заболевания. Возникла сначала гипотеза, а затем и

стройное учение о природной очаговости ряда болезней человека, являющаяся одним из величайших открытий нашего времени. Суть этого учения в том, что в определенных ландшафтах (тайги, пустыни, степей, тундры) в очень отдаленные времена, по-видимому тогда, когда еще даже не было на земле человека, возникли причины будущих болезней человека. Эти причины сохранились в природе и в настоящее время. Сейчас их объединили в общее понятие — природные или ландшафтные предпосылки болезней. Как только человек попадает в новую для него природную среду, есть опасность заболеть такими болезнями.

Так ученые, борясь с энцефалитом, разрешили вопрос о достоверности событий, происшедших с войсками Александра Македонского.

Что же нужно сделать, чтобы заранее знать, какие опасности таит в себе тот или иной природный ландшафт?

Зная характер природных предпосылок болезней человека, географы-медики, изучая таежные ландшафты, ищут подтверждение этих предпосылок в природе. В результате совместными усилиями специалистов института составляются особые карты, на которые наносятся как опасные по тем или иным болезням ландшафты, так и безопасные.

Первые такие карты переданы учеными института областным медицинским организациям Иркутска.

Нет необходимости доказывать их практическое значение для освоения таежных пространств Сибири и Дальнего Востока. Хочется только отметить, что они нужны врачам не только для того, чтобы ориентировать их, с какими опасностями может встретиться человек в тайге, но и проектным организациям и даже экономистам, оценивающим природные ресурсы. Дело в том, что иногда может быть экономически выгодно разработать именно те природные ресурсы, которые тайга защищает от человека болезнями. В этом случае нужно обязательно учитывать расходы, как правило весьма значительные, на предварительное оздоровление территории.

Всем этим занимается сектор медицинской географии института, руководимый кандидатом медицинских наук Е. И. Игнатьевым.

Так совсем недавно и родился термин «медицинская география». Он был вызван к жизни большим наступлением человека на необжитые пространства.

Людям—плодородие таежных земель

Это было несколько лет назад. Тогда только рождался поселок Железногорск, вызванный к жизни огромными рудными богатствами Коршуновских гор. И на скале одной из сопок рядом с первыми домами строителей стоял еще палаточный городок. С жильем было трудно: палатки заселялись, что называется, под завязку. Но никто не жаловался ни на палатки, ни на тесноту, ни на однообразную пищу во временной орсовской столовке.

Прошел год. От палаток не осталось и следа. Поселок разросся почти вдвое, появились удобные коттеджи, магазин, клуб, вместительная столовая. Казалось бы, все стало лучше. Но разговор почти с любым строителем обязательно кончался жалобой.

— Второй год молока не видим.

— Нет свежих овощей.

— В столовой одно мясо, да и то — солонина...

Год назад со всем этим мирились; считали таким же временным явлением, как и палатки. Но вот палаток не стало, а снабжение не улучшилось.

Первый председатель поселкового совета Михаил Евстафьевич Макаров с гордостью говорил о первой сотне мальчишек и девчонок, родиной которых стал Железногорск. А в будущем городе не было молока для новорожденных.

Начальник отдела рабочего снабжения Коршуновстроя только разводил руками.

— А что я могу сделать? У меня что — овоще-молочный совхоз, что ли?! Конечно, без молока плохо,— соглашался он.— Можно бы цистерну добыть. Но половина прокиснет. А кто за нее платить будет?... Овощи, конечно, тоже нужны. Но где их взять? Мы пока еще домики строим, а в Братске плотину возводят и, наверное, слышали — уникальную — и то овощей не хватает...

И, безнадежно вздыхая, заключал:

— Что поделаешь, дикие края. Одно слово — тайга...

Конечно, в это дело вмешались партийные и областные органы. Питание железногорцев улучшилось. Но в одном начальник ОРСа, бесспорно, был прав. На многие километры вокруг лежит нетронутая тайга. Люди возводят город, строят Коршуновский горнообогатительный комбинат в глухомани. Почему же поблизости заранее было не создать подсобное хозяйство — пригородный совхоз, который и снабжал бы строителей самым необходимым—картофелем, овощами, молочными продуктами?

— Да, — утверждает кандидат географических наук Владимир Перфильевич Шоцкий,— сейчас в связи с интенсивным размещением в Сибири промышленного производства вопрос сельскохозяйственного освоения тайги является актуальнейшим. Правда, находятся руководители, которые считают, что создание совхозов в этой зоне — слишком дорогое удовольствие. Да и неизвестно, что получится. И поэтому всячески тормозят это важное дело.

Действительно, для освоения земель в тайге требуются большие капитальные вложения. Достаточно сказать, что раскорчевка и подготовка под посев всего лишь одного гектара леса обходится почти в пятьсот рублей. Экономисты подсчитали, что если даже все хорошо пойдет, то и тогда окупиться такое хозяйство может не раньше, чем лет через пять-шесть. Что и говорить, создавать совхозы, пусть и в Сибири, но в степной или лесостепной зонах, куда дешевле! А вот выгоднее ли это государству — еще вопрос.

Во что обходятся одни только транспортные расходы, связанные с доставкой продуктов в новые города и рабочие поселки? Но это не все. Когда все привозное и возится за сотни километров, просто неминуемы нехватки то одного, то другого. А это сказывается на бытовых условиях рабочих. И, что греха таить, бывает, что терпит человек, мирится какое-то время с этими нехватками, а потом махнет рукой и уедет. Уедет туда, где, возможно, и денег он будет зарабатывать меньше, но зато можно купить на них что душе угодно.

Если опять вспомнить печальный опыт Железногорска, то там был год, когда приехало на стройку столько же, сколько и уехало с нее. Решающую роль в этом сыграло неудовлетворительное снабжение. А в результате — срыв плана строительства, убытки для народного хозяйства.

Владимир Перфильевич Шоцкий уже почти десять лет занимается проблемой сельскохозяйственного освоения тайги. Во многих экспедициях побывал, накопил богатый материал, проанализировал работы своих предшественников и пришел к выводу, что возможности развития таежного земледелия есть. Да, есть. В Сибири много самой дешевой электроэнергии. Но от ее источников, как правило, построены пока транзитные линии высоковольтных передач. Поэтому процент исполь-

зования электроэнергии в сельском хозяйстве крайне мал. Необходимо же протянуть ответвления от высоковольтных линий несколько меньших напряжений, и тогда в таежных совхозах можно будет механизировать все процессы производства. А это обеспечит невиданную еще производительность труда, удешевит продукцию, даст в конечном итоге экономический выигрыш. Ведь наиболее доступные и пригодные для освоения участки — это сравнительно небольшие массивы и находятся они на значительном расстоянии друг от друга. Правда, на таких площадях надо создавать высокоинтенсивные производства, чтобы они были рентабельными.

Большую роль в повышении интенсивности таежных сельскохозяйственных предприятий должны сыграть опытные станции. Конечно, так же, как и сами предприятия, они должны находиться в зоне тайги. Пока таких опорных научных пунктов нет. Их необходимо создать, и создать как можно быстрее. Ведь все существующие до сих пор рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур применимы на открытых степных и лесостепных территориях. А какими должны быть агроприемы в условиях тайги? Нужны рекомендации и по наиболее целесообразной обработке почв, и по созданию специальных машин и орудий, и по соотношению различных категорий сельскохозяйственных угодий.

Промышленное развитие таежных районов вызывает необходимость и коренного изменения специализации существующего сельскохозяйственного производства. Оно должно обеспечить рабочих новостроек теми видами продукции, которые по своей природе являются малотранспортабельными. Это прежде всего молочные продукты, яйца, свежие овощи, картофель.

В настоящее время в таежных районах Восточной Сибири почему-то все еще придерживаются зернового и мясного направлений. Достаточно сказать, что под картофель и овощи занят всего один процент освоенных земель. Разве урожай с такой мизерной площади может удовлетворить потребности все растущего населения этих районов?! Конечно, нет. Вот почему так трудно бывает с овощами и картофелем в Братске и Железногорске. Их приходится завозить из других районов области, и транспортные расходы дорого обходятся государству.

Сейчас уже идет освоение таежных земель.

— Думается, что следовало бы,— говорит Шоцкий,— организовать специальные машинно-корчевальные станции. Колхозы технически недостаточно подготовлены для производства таких трудоемких работ, не располагают необходимыми механизмами. Создание машинно-корчевальных станций значительно сократило сроки освоения таежных земель и резко снизило затраты.

Пока этот вопрос еще только решается.

Дороги безбрежного океана

Когда будет забит серебряный костыль на железной дороге Тайшет—Абакан, строители сядут в вагоны и поедут по всей трассе — трассе смелых и отважных. И мы уже знаем, каким веселым будет этот поезд. А сколько воспоминаний о радостных и трудных днях вызовет каждый километр.

Но будут на пути три станции, которые тепловоз встретит протяжным гудком и на которых парни и девчата будут застывать в минутном молчании. Это будет на станциях Кошурниково, Стофато, Журавлево. На станциях, носящих имена тех, чьей энергией, мужеством и жизнью была исследована трасса комсомольской магистрали Тайшет—Абакан.

Проедут строители по своей магистрали, а вскоре разъедутся по таежным адресам, туда, где сегодня еще шагают проектировщики.

Много актуальных вопросов предстоит еще решить науке в вопросе освоения тайги. И одной из главных — проблема транспорта.

Громадные пространства, суровые климатические условия, вечная мерзлота и обширные заболоченные территории, горный рельеф, снежные заносы, гнус — очень затрудняют транспортное строительство, повышают затраты и стоимость перевозок.

Зачем в тайге новые железные дороги? Достаточно летних месяцев, чтобы завезти по временным трактам и рекам все нужные товары — так примерно говорили о строительстве здесь дорог. Жизнь отмела эти мнения. Восточной Сибири нужна своя развитая железнодорожная сеть.

Сейчас уже никто не возражает против этого мнения. Но как практически решить эту важную и в то же время трудную задачу? Где и что строить?

Уже много лет в научных кругах муссируется вопрос о строительстве так называемой Северо-Сибирской магистрали, через всю таежную целину от Урала до Тихого океана.

И вот интересы дела прежде всего выдвигают на первый план строительство центрального участка этой магистрали. Это направление Абалаково—Богучаны — Усть-Илим с выходом в районе Хребтовая на уже существующую линию Тайшет — Лена. Затем трасса должна пойти на восток через северные районы Читинской области. Этот участок с двумя выходами на Транссибирскую магистраль по линии Ачинск — Абалаково и Решеты — Богучаны явится транспортной основой развивающегося крупнейшего в Союзе Ангаро-Енисейского производственного комплекса.

Ведь железная дорога Ачинск — Абалаково — Маклаково дает выход к богатейшим лесным запасам, создает условия для формирования лесозаготовок, лесопиления и лесохимических предприятий.

Еще большее значение имеет строящаяся дорога Решеты — Богучаны. Достаточно только сказать, что с ее помощью будет освоено около 300 миллионов кубометров тайги.

И сейчас хочется поговорить о судьбе этой трассы. Она строится, но часть проектировщиков выдвигает тезис — прекратить строительство линии Решеты — Богучаны и начать строительство железной дороги от Абалаково до Богучан.

Мы считаем, что это ошибочное мнение. Ведь Решеты — Богучаны — это выход к четвертой станции Ангарского каскада — Богучанской ГЭС, это уголь, найденный вдоль трассы.

А что даст строительство линии Абалаково — Богучаны? Прежде всего огромные затраты на полевые изыскания. Эта линия длиннее, а это значит, что значительно удорожается строительство и срывается ввод Богучанского лесопромышленного комплекса.

Нам кажется, что институт географии Сибири и Дальнего Востока не имеет еще своего определенного мнения по этому вопросу. А научное обоснование той или другой линии помогло бы избежать годовых споров и значительно ускорило строительство железнодорожных магистралей.

Но это о трассах. А полностью ли оправдывают себя в сложных суровых сибирских условиях линии железной дороги в том виде, в каком мы привыкли видеть?

Перенесемся на несколько лет вперед.

Страшно в эту декабрьскую ночь в тайге. Кажется, злой ветер перемешал все миллиарды снежинок, мгновенно бросая их из одного конца своего царства в другой. Нет, не пройти, не проехать в эту ночь через

тайгу. Метровые сугробы намел ветер на всех тропках, на всех дорогах.

Но что это? На десятиметровой высоте, над верхушками сосен, над скалами и оврагами, сверкая окнами салонов, наперекор пурге проносится состав. Еще секунда — и опять ветер становится полноправным хозяином тайги. Но полноправным ли?

Вы скажете, фантазия? Нет, поезд на высоте десять метров над землей — реальность. Причем очень перспективная реальность.

Идея монорельсовых дорог, то есть движение поездов по одному рельсу на какой-либо высоте, относится ко второй половине XIX века, но до сих пор она не получала широкого распространения в качестве дорог общего пользования. И до последнего времени они использовались в основном на промышленных предприятиях. Но в последние годы идея начинает воплощаться в жизнь. Достаточно сказать, что к концу 1962 года в мире было 11 пассажирских монорельсовых дорог в ФРГ, США, Японии, Франции, Италии. В печати имеются сведения, что сейчас разрабатывается проект еще 20 дорог.

А что дает монорельсовая подвесная дорога в условиях Восточной Сибири?

Ведь основным достоинством этих дорог являются более высокие скорости движения, полная автоматизация поездов, замена трудоемкого процесса строительства транспортной магистрали эффективным методом монтажа дорог.

Те, кто бывал на строительстве таежных железных дорог, знают, каким бичом являются вечномерзлые и заболоченные грунты. Ведь по сути дела строители производят полную замену грунта. А монорельсовые дороги этого не требуют. Наука в наши дни разработала надежные методы обеспечения устойчивости опор, сооружаемых в мерзлых грунтах.

Монорельсовая дорога смело может шагать через речки и овраги. И самое главное, что детали будут изготовляться на заводах, а в тайге только собираться.

Надо сказать, что эта идея в институте долгое время не находила большой поддержки. И лишь сейчас ею заинтересовались всерьез.

Немного цифр. Подсчеты специалистов показывают, что строительство одного километра монорельсовой дороги составит около 100—150 тысяч рублей, а стоимость одного километра нормальной колеи в аналогичных условиях составляет 200—300 тыс. рублей.

И последнее. Сейчас скорость грузовых поездов 60—80 километров в час. А поезда монорельсовых железных дорог в первый период их освоения будут иметь скорость до 200 километров.

Да, монорельсовая железная дорога с закрытой полой путевой балкой, которая надежно защитит ходовую часть вагонов от непогоды, должна стать ведущей в деле освоения таежных пространств.

Е. Э. С.

Это было в 1890 году. Невысокий сутулый человек в пенсне стоял на крутом берегу Енисея. Позади остался многокилометровый путь по Сибири.

По Сибири — дальней, заброшенной части царской империи. Многое пришлось увидеть человеку страшного в этом краю. Но вера в торжество разума и свободы вела под руку Антона Павловича Чехова, когда он писал:

«На Енисее жизнь начиналась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так по крайней мере думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно.

Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».

Тысячи раз оказался прав русский писатель. Новая жизнь, пришедшая на берега могучих сибирских рек, поставила на службу человеку огромные богатства Сибири.

Таежные реки! Раньше они давали жизнь тайге да малым поселеньям отважных людей. Сейчас они дают жизнь энергетическим рекам, чья мощь уже устремилась в Е. Э. С.

Что такое Е. Э. С.? Раньше о сочетании этих трех букв говорили, как о чем-то далеком, будущем. Е. Э С.— еще в тридцатые годы нашего века чаще использовались фантастами, чем учеными. Но прошло время, когда со страниц романов эти буквы перешли в лаборатории ученых, в чертежи проектировщиков, в металл заводов, перешли в романтический труд людей.

Е. Э. С. — это Единая энергосистема Сибири, которая уже сегодня простирает свои владения от Иркутска до Омска. Основой системы стали первые гидроэнергостанции Ангары. А будущее ее — весь Ангаро-Енисейский каскад.

Среди таежных районов Советского Союза Восточная Сибирь занимает исключительно важное место. Это объясняется прежде всего тем, что Восточная Сибирь представляет собой уникальную кладовую энергетических и сырьевых ресурсов.

Огромное значение, которое придается этому району, определено Программой КПСС, где признано целесообразным обеспечить в ближайшие двадцать лет «создание новых энергетических баз на месторождениях дешевых углей и путем освоения гидроэнергоресурсов Ангары и Енисея, организация здесь крупных центров энергоемких производств, освоение новых богатств, рудных, нефтяных и угольных месторождений».

В Восточной Сибири находится до пятидесяти процентов экономически целесообразных к использованию гидроэнергоресурсов страны. А в 1980 году, по предварительным расчетам, восемь станций Ангаро-Енисейского каскада будут вырабатывать 30 процентов всей гидроэнергии, вырабатываемой в стране.

Но в то же время слабая экономическая освоенность Восточной Сибири, неблагоприятные климатические условия для ряда районов, слабая заселенность требуют особо тщательно подойти к вопросам развития экономики и использования энергоресурсов.

Все это заставляет при изучении Ангаро-Енисейского каскада подходить к вопросам комплексно, то есть стремиться не только обосновать пути производства дешевой электроэнергии, но и обосновать направление ее рационального использования.

И можно наблюдать, как контактируются интересы двух научных институтов — института географии Сибири и Дальнего Востока и института энергетики Сибирского отделения Академии наук СССР, которые рука об руку занимаются разрешением этой проблемы.

И понятно, что мнение о Е. Э. С. двух ученых, членов-корреспондентов Академии наук СССР Л. А. Мелентьева и В. Б. Сочавы, схожи.

Энергетика является важнейшим фактором, определяющим масштабы и направления развития производительных сил Сибири. Это определяется исключительной дешевизной и богатейшими запасами угля, в первую очередь в Канско-Ачинском угольном бассейне, и наличием уникальных по мощности гидроресурсов Ангары, Енисея, Лены, Оби и некоторых других рек.

Именно поэтому создание в Сибири общесоюзного центра энергоемкой промышленности и определяет направление развития ее производительных сил.

В Сибири мы строим и будем строить крупнейшие тепловые электростанции мощностью 2—3 миллиона

киловатт, и даже 5—6 миллионов киловатт, и гидростанции мощностью 3,5—5 миллионов киловатт.

Однако экономичность и надежность использования таких электростанций возможна только в том случае, если все они объединены мощными электрическими связями с развитой сетью распределительных сетей. Именно этим создаются предпосылки для плановой электрификации Сибири.

Вместе с тем уникальные электрические ресурсы Сибири целесообразно использовать для пополнения электрического и энергетического балансов европейской части СССР. С этой целью в период 1970—1972 годов предполагается сооружение единственной в мире мощнейшей личии электропередачи на постоянном токе из центральной Сибири на Урал, по которой будут передаваться десятки миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Несомненно, что централизованное энергоснабжение будет являться основным источником энергии для вновь осваиваемых районов Сибири.

При этом, однако, надо полностью учитывать, что достижения техники и экономики передачи электроэнергии внесут существенные изменения в размещение производительных баз Сибири. Так, до последнего времени считалось, что целесообразно сооружение промышленных комплексов непосредственно около гидростанции. Сейчас, когда мы переходим к освоению гидроресурсов, расположенных в северных районах страны, по-видимому, возникают серьезные экономические предпосылки для передачи электроэнергии от северных ГЭС в южные районы страны, где и следует разместить электроемкие производства. Исключение, естественно, составляют северные районы с особоуникальными сырьевыми ресурсами.

Пройдут годы, и на могучих реках Сибири будут стоять восемь гидроэлектростанций — Иркутская, Братская, Красноярская, Саянская, Усть-Илимская, Богучанская, Енисейская, Осиновская. И как из ручейков появляется река, несущая свои воды в океан, так из этих электрорек в Восточной Сибири создастся огромное море электричества, море, называющееся Е. Э. С. — Единая энергосистема Сибири.

От авторов

Тайга! На огромной территории раскинула она свои владения. Владения огромных богатств, владения огромных возможностей.

Сегодня тайга — это резерв жизненных средств человечества, плацдарм освоения и создания культурных ландшафтов на многие десятилетия.

Строительство мощных электростанций в таежных районах, создание ряда новых крупнейших районов и освоение таежных земель занимает сегодня видное место в планах нашего государства.

В своих заметках мы коснулись только нескольких проблем, стоящих перед географической наукой в деле освоения тайги. Их очень много, этих проблем. Ведь в сущности нужно освоить многотысячные пространства со своеобразными суровыми особенностями.

Всеми этими вопросами и занимается институт таежных проблем — Институт географии Сибири и Дальнего Востока отделения Академии наук СССР.

С. Гребельский,
заведующий лабораторией кровососущих насекомых Восточно-Сибирского биологического института Академии наук СССР

ПЛОТИНА УНИЧТОЖАЕТ ГНУС

(История одного поиска)

Лето 1955 года. Первое лето строительства Братской гидроэлектростанции. Еще не тронута тайга, не встревожена Ангара, голубой лентой пробивающая серые скалы. Но не красота сибирской реки, не грозный и неумолчный рев Падунского порога обращают на себя внимание приезжающих, а странная пелена, висящая в воздухе, и непривычные названия: «гнус», «мошка»... «энтомологический участок»...

Что за серая сетка висит в воздухе, вьется около людей, шлейфом следует за ними? Это маленькие кровососущие насекомые — мошки или гнус, как их окрестили сибиряки. Тысячами облепляют они лицо, руки, заползают под одежду, набиваются в сапоги пригоршнями, попадают в нос, уши, глаза. Сосут кровь. Каплю крови высосет одна мошка, но миллионы их, случается, насмерть «загрызают» обессилевшего человека. Их слюна ядовита, и поэтому от укусов распухает лицо, отекают глаза, а иногда повышается температура.

Кое-кто из приезжих падает духом: «Да, разве можно здесь жить и работать? Съест мошка!» И в первых песнях о Падуне, которые сочинили и распевали молодые строители, тоже слышится жалоба на мошек:

**«Толчется, тычется мошка,
Туман над поймой стелется...
Летит мошка, как из мешка,
Как мелкий дождик, сеется...»**

Под таким жалящим дождиком действительно трудно работать; отвлекает мошка внимание — падает производительность труда, увеличивается число несчастных случаев. А после работы — ни отдохнуть, ни подышать воздухом, ни искупаться в Ангаре.

Страдают и животные, замученные нападением мошки. Вдвое снижается удой у коров, и тонны молока не добирают хозяйства.

Руководство стройки вынуждено создать специальную службу для борьбы с этим злом. Так возникает участок с необычным для строителей названием: «Специальный энтомологический» (энтомология — наука, изучающая насекомых). Поставлена сложная задача— разработать меры борьбы с гнусом и осуществить их. Но как уничтожить мириады мошек?

До сих пор нигде в таком большом масштабе борьба с мошками не проводилась. Да и много ли есть таких мест, где бы они так неистовствовали?

Давно известно, что мошки развиваются в быстротекущих реках и ручьях. Самка заползает в воду и там приклеивает яйца к растениям или камням. Летом через 6—10 дней из яиц выходят личинки, а из яиц, отложенных осенью, — только следующей весной. Личинки прикрепляются к подводным растениям и камням и часто сидят так же густо, как щетинки щетки. Под водой личинка превращается во взрослую мошку. В пузырьке воздуха стремительно поднимается она на поверхность воды. Пузырек лопается — насекомое взлетает.

Инстинкт кровожадности появляется только у самок, которые без питания кровью не могут отложить яйца. Самцы же всю жизнь питаются соками растений.

Самка живет в среднем месяц, несколько раз сосет кровь и откладывает несколько сот яиц. Перед нападением самки долго преследуют свою «добычу» — летят за людьми или животными довольно далеко. Они накапливаются около дорог, тропинок, рабочих площадок и мест отдыха. И вскоре в этих местах становится невозможно дышать от обилия мошек.

В Братске было принято решение уничтожить взрослых мошек, скапливающихся около мест, где работают люди, с помощью выпуска ядовитого для мошек тумана. Такой туман (аэрозоль) состоит из мельчайших капелек раствора ДДТ или гексахлорана, которые, проникая в тело насекомых, вызывают их гибель. Получают аэрозоль с помощью специальных машин — аэрозольных генераторов или дымовых шашек. Важно, чтоб волна аэрозоля прошла как можно дальше, стелясь над почвой, и захватила как можно больше летающих мошек. Но как трудно этого добиться.

Подхваченный нагретыми токами воздуха или порывами ветра аэрозоль часто уходит вверх, не принося никакой пользы. Надо было научиться «управлять» аэрозолем, сделать его тяжелее, заставить растекаться

в нужном направлении, определить наиболее благоприятную скорость движения аэрозольных машин. Так начался кропотливый, трудный поиск, с удачами и неудачами, со многими сложными опытами и анализами. Каждое утро и вечер (днем, когда жарко, аэрозоль уходит вверх) около рабочих площадок и поселков появлялись автомобили с аэрозольными генераторами, и клубящийся чуть голубоватый туман кольцом окружал стройку. Аэрозольные машины сопровождали специалисты — энтомологи, одновременно шло уничтожение мошек и исследование тумана. Найдены лучшие составы для получения тумана, определены места, откуда лучше всего расстилается облако выпущенного тумана, выработаны маршруты. На расстоянии до пяти километров удается на отдельных участках «уложить» туман. Все больше становилось на стройке аэрозольных машин. Перед тем как их посылать на обработку, нужно, конечно, знать, где особенно сильно нападают мошки, знать метеорологические условия.

Энтомологический участок в это время напоминает боевой штаб: сюда поступают сводки наблюдателей о нападении мошек в разных районах обширной стройки, собираются метеорологические данные за каждый час; на карте размечаются маршруты, определяется количество требующегося раствора химиката. Раствор приготовляется тут же в специальном цехе. Оборудование цеха сконструировано и изготовлено на стройке. На маршруты вслед за аэрозольными машинами выезжают контролеры-учетчики — нужно проверить ход работ и эффект обработки. Если удается хорошо уложить аэрозоль, облегчение наступает быстро: через 15—30 минут мошки исчезают. Но часто уже на следующий день нападение мошек возобновляется с прежней силой. Почему? Ответ оказался простым: мошки могут разлетаться на 150—200 километров. Понятно, что на освобожденную от мошек территорию вновь залетают новые их партии с соседних необработанных участков. Надо было искать дополнительные методы борьбы.

Многие насекомые массами летят на свет — особенно на свет ультрафиолетовых (кварцевых) ламп. Насекомых, прилетающих на свет, засасывают в ловушку с вентилятором и уничтожают. Может быть, таким путем защититься от мошек? Но привлекает ли их свет, ведь они ночью не летают? Целое лето по ночам на берегу Ангары зажигаются мерцающие зеленовато-голубые огни ультрафиолетовых ламп. Первые опыты дали положительный ответ — да, мошки привлекаются ультрафиолетовым светом. Значит, нужно найти наилучшие условия для их вылова. Какой мощности лампы нужно применять? С какого расстояния их свет замечают мошки и прилетают к нему, а следовательно, сколько ламп нужно будет установить? Сколько можно выловить мошек одной ловушкой? Иногда за час вылавливалось 20—30 тысяч. Но уже в следующий час их попадает очень немного. И еще интересная деталь: большой улов удавалось получать только вблизи Ангары и в очень тихую погоду. А самое удивительное, что много мошек обычно вылавливалось после тех дней, когда их нападений было меньше, чем после тех дней, когда они сильно нападали. Значит, опять новый вопрос и новый поиск. Оказалось, что свет ультрафиолетовой горелки привлекает только тех мошек, которые несколько дней назад уже сосали кровь и собираются откладывать яйца. Следовательно, вылавливая их, не защитить строителей, а метод вылова дорогой и трудоемкий.

Так закончились долгие ночные дежурства у голубых огней на Ангаре — этот путь отпал.

А что если уничтожать мошек до того, как они выйдут из воды? Эта идея давно привлекала исследователей, и в мелких ручьях удавалось уничтожать личинок, выпуская в воду эмульсию ДДТ в очень небольших количествах. Но в такой крупной быстрой реке, как Ангара, в русле которой за каждую секунду протекает более трех тысяч кубометров воды, никто еще не пробовал затравливать мошек. В маленьких ручьях и реках химикат вводили сразу, за несколько минут, и получали хороший результат.

Как ввести в Ангару десятки или сотни тысяч тонн раствора химиката в короткий срок? Как обработать реку, по берегам которой нет дорог и стоит нетронутый лес, а сама река несудоходна из-за грозных порогов. Оставался единственный путь — использовать самолет со специальным аппаратом для опрыскивания. Нужно добиться, чтобы частицы нерастворимого в воде химиката равномерно разошлись по всей глубине и ширине реки, чтобы они как можно дольше не оседали на дно, а попали на личинок. Десятимиллионной доли грамма этих веществ достаточно, чтобы личинка погибла.

Возникает предложение использовать бурлящий поток порогов, в котором частицы будут особенно хорошо перемешиваться с водой. Первая обработка намечена в районе шивера Пьяный Бык, где постоянно наблюдается большое скопление личинок.

Нелегко проложить маршрут самолета между крутых берегов. Летчикам приходится круто пикировать вниз и, пройдя на высоте 5—8 метров над водой, вновь взмывать круто вверх, одновременно разворачивая самолет.

Рядом с летчиком в первых полетах энтомолог — нужно учесть ряд данных: время прохода над рекой, просмотреть, как работает опрыскиватель, рассчитать, с какой скоростью выливается раствор и т. д. Это было серьезное нарушение инструкции полетов: при так называемом «бреющем полете», да еще таком сложном — присутствие на борту кого-либо, кроме пилота, категорически запрещено. Но это было необходимо. Первое опрыскивание проведено. В окно кабины видно, как волна капелек выпущенного раствора сначала шлейфом тянется за самолетом, потом ровной полосой оседает на воду и втягивается в бурлящий поток. Контроль результатов опыта будет проведен через двадцать четыре часа.

Долгими показались эти сутки и энтомологам и пилотам. Эффект превзошел все ожидания: там, где на квадратном метре в среднем насчитывалось 1004 личинки, после обработки они исчезли полностью. Только в одном месте было обнаружено... 4 личинки. Новый метод сразу был введен в план работы. Один за одним обрабатываются пороги Оки и Ангары и продолжаются постоянные наблюдения. Но проходит 7 дней, и на Братском пороге вновь появляются личинки, сначала единичные, потом их становится все больше, и через несколько дней число их не меньше, чем было перед обработкой. Это крупные личинки старшего возраста. Следовательно, они не вылупились из яиц, которые могли остаться невредимыми (на яйца мошек ДДТ не действует). Откуда же они взялись? Новая серия опытов вносит поправку во взгляды ученых. Личинки вовсе не обязательно заканчивают свое развитие на одном месте, там, где были отложены яйца. Они часто предпринимают далекие «путешествия» вниз по течению. Приспособлений для плавания у них нет, и плавать они не умеют. Их несет течением, как всегда несет массу мелких взвешенных в воде частиц.

Течение несет личинку до тех пор, пока она не наткнется на какой-нибудь предмет, к которому может прикрепиться. Тогда понятно, откуда появились личинки на Братском пороге: их принесло течение, ведь выше этого места обработки не проводились. Значит, чтобы получить хорошие результаты, нужно обработать русло Ангары и Оки на большом расстоянии выше по течению. Но и вниз по течению нужно провести обработку на расстояние не менее 200 километров, то есть на такое расстояние, которое могут преодолевать взрослые мошки.

Возможно ли обработать 400—500 километров реки? И энтомологи решают применить разные методы борьбы, дополняя один другим, и продолжать поиск метода, который позволил бы радикально, навсегда уничтожить мошек по всей Ангаре. Эта задача диктовалась планом строительства Ангарского каскада гидроэлектростанций. На первый взгляд такая задача кажется фантастической. Но она была обоснована твердой уверенностью в том, что биологическая наука способна овладевать самыми скрытыми закономерностями и тем самым участвовать в коренной переделке природы. Эта уверенность подкреплялась твердым и точным планом последовательного научного поиска.

Исследователей давно интересовал вопрос, почему именно на Ангаре из года в год наблюдается исключительное изобилие мошек. Какие условия способствуют их массовому размножению? Познание этих закономерностей — главный ключ к решению проблемы уничтожения мошек.

Оказалось, что в Приангарье развивается и живет более 50 разных видов мошек, но нападают и сосут кровь человека и животных только немногие, главным образом один вид — мошка Холодковского. Этот вид назван в честь крупнейшего нашего энтомолога (кстати, известного переводчика гетевского Фауста).

Только в немногих реках бассейна развиваются личинки мошки Холодковского, обильнее же всего в самой Ангаре. А ведь еще очень недавно, в сороковых годах, ученые считали, что в Ангаре личинки мошек не живут! Что же делает Ангару таким благоприятным местом для развития личинок мошек?

Ответ пришел не сразу, и нужно ли описывать извилистый, медленный путь исследования? Ошибки и удачи, находки и срывы?

Массу яичек откладывают мошки в реку, но не из всех выплаживаются личинки и не все личинки выживают и превращаются во взрослых насекомых. Что же губит их?

При понижении уровня реки яйца мошек часто оказываются вне воды. Опыты показали, что, высыхая, они гибнут. Оказавшись вне воды, гибнут многие куколки, развитие которых только началось. Интересно, что когда на суше оказываются зрелые куколки, они быстрее заканчивают свое развитие — быстрее превращаются во взрослых мошек.

Было замечено, что после паводков, колебаний уровня и увеличения мутности воды изменяется распределение личинок в русле реки и общее их число уменьшается. Опыты показали, что изменение режима реки побуждает личинки открепляться от тех мест, где они сидят. Начинается снос их по течению — миграции. Для решения вопроса о причинах уменьшения численности личинок следовало изучить закономерности миграций.

Так возникло исследование на грани двух очень далеких отраслей науки: биологии и гидродинамики (отрасль науки, изучающая движение твердых частиц в потоке жидкости).

Выяснилось, что личинка под влиянием сил течения может длительное время оставаться во взвешенном состоянии, то есть сноситься (мигрировать) на очень далекие расстояния. Миграция заканчивается, когда личинке удается прикрепиться на каком-либо подводном предмете. Если условия на этом новом месте отвечают жизненным требованиям личинки, она закрепляется и развитие ее продолжается. Если условия оказываются неблагоприятными — личинка вновь открепляется и миграция продолжается.

Для того чтобы личинка оставалась во взвешенном состоянии, нужно определенное сочетание условий в реке — наличие достаточной, так называемой срывающей скорости течения. Если она недостаточна, личинка опускается на дно и гибнет. Оказалось, что личинки разных видов и разных возрастов имеют различные гидродинамические свойства и их миграции протекают различно. Личинки старших возрастов чаще опускаются на дно. Более того, оказалось, что личинки некоторых видов очень слабо удерживаются во взвешенном состоянии и действительно — у них миграции не наблюдается. При длительных миграциях личинки могут погибнуть от голода, так как захватывать пищу они могут только в прикрепленном состоянии. Стало понятным, что если миграция длится долго и если большая часть личинок в это время достигла старшего возраста — происходит их массовая гибель. Гибнет тем больше личинок, чем резче наступают гидрологические изменения, чем они дольше протекают.

Следовательно, личинок в реке тем больше, чем менее изменчив ее гидрологический режим. Но ведь именно постоянство, ровность гидрологического режима — характерны для Ангары, сток которой зарегулирован Байкалом. На территории всей Азии это единственная река с таким ровным режимом и чистой водой. В период весеннего ангарского паводка еще не закончилось развитие яиц мошек, а во время летнего паводка большинство мошек находится во взрослой фазе и частично в фазе яйца. Личинок в это время мало. Поэтому-то в Приангарье всегда исключительно много мошек.

И вот возникает мысль нарушить ровность, зарегулированность режима Ангары, вызвать искусственные кратковременные колебания уровня. Возможно ли это? Энтомологи знакомятся с проектом пуска Братской ГЭС, консультируются с гидрологами, гидротехниками и приходят к выводу: да, с началом наполнения Братского моря это станет возможным.

Так триумф советской энергетики должен стать началом небывалого энтомологического эксперимента. Энтомологи с нетерпением ждут рождения моря. Ведь в верхнем бьефе с остановкой течения развитие мошек станет невозможным. Умолкнет шум Ангарских и Окинских порогов, и навсегда они утратят свое значение поставщиков гнуса. А в нижнем бьефе? Некоторые специалисты считают, что там условия для развития мошки могут даже улучшиться. Энтомологи Братска возражают — они предсказывают резкое уменьшение численности мошек.

Наступает осень 1961 года — начало наполнения водохранилища. Закрыты глубинные отверстия плотины, идет борьба за воду — в нижний бьеф сбрасывается только жизненно необходимый объем воды. Мелеет за плотиной Ангара, обнажаются мелководные участки русла. Отложенные мошками яйца усыхают и гибнут.

Весной 1962 года в нижний бьеф сбрасывается холодная вода из не успевающей прогреться толщи водохранилища. Термический режим реки нарушен. Прогрев воды идет медленно, и необходимые для развития личинок температуры воды на ближних участках реки отмечены с запозданием до 81 дня. И действительно, личинок здесь нет. Ниже по реке вода прогревается быстрее, но не так быстро, как в прошлые годы, — развитие личинок запаздывает, и здесь их намного меньше, чем в предыдущие годы, когда на 1 квадратном метре поверхности камней, растений или затопленных бревен насчитывалось в среднем до 700 личинок.

Почему меньше? Но ведь именно в июне месяце, в наиболее важный период развития личинок, строители резко меняли сброс воды. Колебания уровня ниже плотины достигали более метра. Диктовалось это технологией возведения плотины, но удивительно совпало с желаниями энтомологов и было аналогично разработанному ими графику пропусков воды. Резкие повторяющиеся колебания уровня в течение относительно длительного времени вызвали интенсивные миграции и гибель среди личинок, выплодившихся из немногих яиц, переживших осеннюю усушку. Наконец была еще одна причина катастрофической гибели личинок в Ангаре: сильное развитие микроскопических водорослей. Обра-

зованные ими хлопья разной величины густо несла река. Они осаждались на всех подводных предметах, обволакивали и личинок. Такое заиливание само по себе способно вызвать массовую гибель личинок.

И все же в 1962 году, вопреки всему сказанному, мошки появились в положенный им срок, почти точно совпавший со средней многолетней датой их появления. На первый взгляд это казалось невероятным!

Но энтомологи знали — это мошки, развивающиеся в незатопленных частях Ангары и Оки и в некоторых притоках, например в Илиме. Ведь они легко преодолевают расстояние в 200 км.

И действительно, в это время среди тех немногочисленных личинок, которые обнаруживались в Ангаре, далеко вниз от плотины, не было ни одной достигшей старшего возраста и совсем не было куколок. А вскоре мошки стали исчезать. Это случилось именно тогда, когда в прошлые годы их бывало особенно много — когда наблюдался пик численности. Во вторую половину лета мошек практически совсем не было. Это тоже было понятно. Все увеличивающееся Братское море остановило течение уже на таких расстояниях от Братска, которое не могли преодолеть даже хорошие летуны — мошки Холодковского.

А в нижнем бьефе продолжалось пагубное воздействие колебаний уровня, заиливания и, наконец, сказалось и то обстоятельство, что весной мошками было отложено значительно менее, чем обычно, яиц. Еще меньший запас яиц был отложен осенью, поскольку мошек в это время было совсем мало. А затем? Аналогичный цикл гидрологических изменений: осенью 1962 года — осушение русла такое же, как и в 1961 году. Летом 1963 года — медленный прогрев воды, заиливание, колебания уровня.

И уже даже населению казалось закономерным, что мошки не появились летом 1963 года совсем и так на всем протяжении Ангары — вплоть до устья. Только в некоторых местах замечалось изредка небольшое количество мошек — из притоков. Да и как могло быть иначе, ведь гидрологический режим реки изменился на протяжении всей Ангары от плотины до устья. Так плотина Братской ГЭС вынесла приговор ангарским мошкам. Правильность смелой гипотезы подтвердила сама жизнь, ее проверили десятки тысяч облегченно вздохнувших людей.

Дневник Ангары

В. Титов

ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ГОРОДОВ

„Еще недавно здесь шумел лес...“

Эту печальную и тревожную историю нам поведал давний знакомец Глеб Сергеевич Авдеев, слесарь одного из ангарских предприятий, большой природолюб. Разговор у нас шел о нерачительном, а подчас варварском отношении к зеленым насаждениям, к деревьям и кустарникам, растущим на городских и поселковых улицах, на площадях и парках, об истреблении лесов в пригородных зонах. Глеб Сергеевич с горечью рассказывал:

— Когда-то наш Ангарск справедливо назывался городом-парком, городом, в котором живет тайга, где у каждого дома густо толпятся сосны, а улицы и кварталы наполнены бодрящей прохладой и смолистым запахом хвои. Было и не стало. Не сберегли мы лесной благодати, красоты. Притухает в городе зеленый шум. Далеко не в каждое окно заглядывают сосны. Их становится все меньше и меньше. Все заметнее редеют и пятятся от жилых кварталов чахлые лесные полосы. И дышим мы уже не благотворным таежным воздухом, а смрадным, дымным, пыльным.

В достоверности рассказанного Глебом Сергеевичем сомневаться не приходится. Но возникает вопрос: один ли только Ангарск не смог полностью уберечь в городской черте оставленные в период строительства гряды, вкрапления, участки естественного леса и сохранить в целости таежные окрестности? Нет, Ангарск не одинок. Такие же тревожные явления и процессы наблюдаются в Братске, в Усолье, в Байкальске, в Железногорске, в Тайшете и других городах и рабочих поселках.

Еще хуже, неблагополучнее выглядит в этом отношении Иркутск. Несмотря на ежегодные подсадки, зеленый наряд его улиц и площадей, скверов и парков стареет и изнашивается. На виду у всех исчезают деревья и кустарники в городских окрестностях. А окружающее город кольцо лесов, состоящее в большинстве своем из молодых березняков и осинников с незначительными по площади вкраплениями соснового и лиственного подроста, подвергается систематическому уничтожению, рубке, порче.

Кто же так жестоко преследует Зеленого друга? Виновник лесного разбоя известен: это, в основном, человек с топором.

Человек с топором

Конечно, речь идет не о честных тружениках наших лесхозов и леспромхозов — работниках лесной промышленности. Нет, человек с топором совершенно другого роду-племени. Он — хищник и хапуга, норовящий жить за счет разорения и прикарманивания природных богатств, лесной красоты ради личного обогащения. «Ведь это — ничье», «не я — так другой попользуется», «на наш век хватит», «тайга не обеднеет» — вот те антиобщественные правила, которым следуют алчные лесные грабители, самые опасные враги Зеленого друга. Если судить по последствиям их хищнических набегов на леса, особенно в пригородной зоне, то людей с топором не так уж мало. Правда, своим черным делом они предпочитают заниматься чаще всего в одиночку, скрываясь от людских глаз.

Вот далеко не полный перечень подлых

дел, совершенных человеком с топором. За последние годы окрестности Иркутска недосчитываются многих и многих живописных зеленых уголков, служивших горожанам местом отдыха. Исчезли без следа красивейшие черемуховые рощи на Иркуте в районе Мельниково, Максимовщины и Смоленщины, на Ушаковке — у Косого брода и по дороге в «Лагери». Не пощадил топор здесь и соснового бора. Словно косой, выкошены березняки за поселками Лисихой и Кузьмихой. Последние дни доживают изреженные сосняки по речке Кае. Облысела и гора близ Иркутской ГЭС, где растительность выдрана с корнем. Год от году тает сосновый лес возле санатория на Синюшиной горе, в районе Ново-Ленино, у станции Батарейная. От начисто вырубленного подлеска заканчивают свою жизнь последние сосны на Кайской горе. Давно ли по левобережью речки Олхи, начиная от Иркута и вплоть до алюминиевого завода и дальше, тянулся сосняк с хорошим густым подростом, имевший все виды стать чудесным бором. Какую оздоровительную роль он мог бы сыграть для трудящихся города Шелехова! Но, увы, сосняк попал под топор и только жалкие крохи спаслись, укрывшись за оградой. Испакостил топор лес в пади Топка, у деревни Худяково и в других местах, прилегающих к городу.

Нет поблизости от Иркутска и красивейшего кустарникового растения багульника. Его выломал и вырубил человек с топором. Такая же судьба постигла «камфарное дерево» — душистую пихту. Вокруг Иркутска она уничтожена во всех речных долинах и распадках. С ожесточением преследует человек с топором ель, иву, кедр, черемуху, рябину, боярышник, выдирает с корнем ценные ягодные и декоративные кустарники и растения, оголяет от цветов лесные опушки, поляны, лужайки. В этом не трудно убедиться, побывав весной, летом в поймах Ангары, Иркута, Ушаковки, Куды, на берегах речек, впадающих в Иркутское водохранилище, или в распадках и падях, тянущихся вблизи Якутского, Александровского, Байкальского, Култукского и Московского трактов.

Человек с топором круглый год не вылезает из тайги. То он вырубает самые стройные с пирамидальной кроной елки-подрост для новогодних вечеров и сбывает их покупателям на окраинах города. Появился спрос на метлы, топорища, веники, циновки, корзины — он в желаемом ему месте сводит березняк, тальниковые заросли. Требуются душистые пихтовые и еловые ветки — он бросается кромсать пихтовые деревья, ельники. Весной человек с топором заваливает рынок связками еще не распустившегося багульника, черемухи, выдранными с корнем кустами черной смородины, жимолости, рябины, побегами лесной малины, букетами полевых и таежных цветов. Позднее он будет таскать коробами и горбовиками черемшу, первые грибы, ягоды, орехи, добывая их варварскими способами (ягоды — железными совками, сбивающими у растения зарождающуюся новую цветочную почку; грибы — вскапыванием грибниц; орехи — таранящими колотами, от которых пораненные деревья на некоторое время перестают плодоносить, просто топором, сваливая кедры).

Конечно, среди недругов наших лесов, особенно в пригородной зоне, немало людей, которые попадают в эту разбойную компанию не корысти ради, а лишь по своему недомыслию, неведению или беспечности. Но Зеленому другу от этого не легче. Последствия те же самые: порча, уничтожение лесных богатств, красоты земной.

Каждую весну, например, во время посадки картофеля, овощей приходится наблюдать, как на пригородных индивидуальных огородах интенсивно вырубается подрост, кустарники для огораживания участка от скота, для вех при размежевке, для приращивания делянок. Еще больший ущерб наносят Зеленому другу индивидуальные застройщики, загородные домовладельцы и хозяева дач, обнося свои земельные участки, «мое», даровыми древесными высокими частоколами, на что уходит масса деревьев, особенно подроста. Нередко в дачных окрестностях можно обнаружить зрелые лиственницы, сосны, у которых подрублены корни и в нижней части стволов кольцом снята кора. Все это аккуратненько замаскировано мохом, землей. Расчет простой: деревья постепенно высохнут, а в непогоду их свалит ветер. Как сухостойный бурелом, они без порубочного билета перекочуют во двор «заготовителей»-браконьеров, превратившись вскоре в новые прирубы, сени, бани, летние кухни.

Подчас даже такие полезные, нужные, интересные мероприятия, как коллективные выезды рабочих и служащих, студентов и школьников за город, на берега рек, в лес, на пикники, за грибами и ягодами, походы и экскурсии туристов, если они проводятся непродуманно, безалаберно, сопровождаются невзгодами и бедствиями для березовых рощ, сосновых боров, речных пойм.

Сошлемся на один характерный пример.

Излюбленное место отдыха и пикников иркутян — живописнейшие окрестности по речке Олхе в районе станции «Дачная» — настоль-

ко обезображено, что потеряло былое очарование и вместо удовольствия приносит сплошные огорчения. Объясняется это тем, что некоторые отдыхающие, видимо, посчитав себя собственниками здешней природной красоты, пакостят на каждом шагу и варварски расправляются с красивейшей растительностью. Срублены сотни, если не тысячи, столетних с пышной кроной берез, лиственниц, сосен, окаймлявших чудесные опушки. На уцелевших деревьях содрана кора и чуть ли не до самой маковки обрублены сучья. Муравейники разрыты. Было немало случаев, когда отдыхающие, отправляясь домой, забывали гасить разведенные костры, возникшие пожары загубили значительные площади молодого леса, грибных мест, ягодников.

Таковы факты, нетерпимые, горькие, возмутительные!

Защитим Зеленого друга!

Великое зло не замечать этих фактов, проходить мимо них. Мы не должны и не можем терпеть безудержного уничтожения, порчи и расхищения лесов, окружающих Иркутск и другие города, крупные промышленные поселки нашей области. Лес поставляет городскому населению величайшие блага для жизни и труда: чистейший воздух, свободный от пыли, дыма и вредных примесей, целительный отдых и силу для борьбы с недугами, свои щедроты в виде грибов, ягод, орехов, пищевых растений. Лес благотворно влияет на микроклимат городов, смягчает его, защищает от жары и преграждает дорогу суховеям, холодным ветрам и непогоде. Но особенно он дорог нам тем, что учит понимать прекрасное, дивную красоту природы.

На наш взгляд, одной из неотложных и действенных мер защиты, сохранения и восстановления лесов, окружающих наши промышленные центры — Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье, Тайшет, Тулун, Слюдянку, Железногорск, Байкальск, — является создание в них режима заказников, превращение их в леса заказные. Эта разумная мера означала бы, во-первых, что в пригородных лесных зонах воспрещается всякая рубка и сведение леса, кроме рубок ухода и санитарных, проводимых под контролем государственных и общественных организаций. Во-вторых, было бы четко и ясно сказано о правилах отдыха городского населения в прилегающих лесах и на берегах рек, предметно перечислено, что воспрещается и что позволяется и какие обязанности возлагает Закон на тружеников города по бережению и защите родной природы.

Все это вполне осуществимо и согласуется с требованиями Закона об охране природы Российской Федерации. В статье десятой Закона говорится, что исполнительные комитеты областных и городских Советов депутатов трудящихся устанавливают «в наиболее посещаемых местах отдыха трудящихся охранные зоны с режимом заказников».

Какая это была бы действенная мера! Один тот факт, что пригородные леса берутся под особую защиту, становятся заказными, неприкосновенными, позволил бы предотвратить много зол, причиняемых людьми Зеленому другу подчас по неведению и легкомыслию. А злостных врагов растительного и животного мира — хапуг и браконьеров — в заказных лесах с головой выдадут следы: стук топора, визг пилы, треск ломаемых сучьев, шум падающих деревьев, выстрелы и другие приметы их хищнической деятельности. Этих опасных недругов березовых и черемуховых рощ, кедровников, сосновых боров и речных пойм помогут обуздать совместные решительные действия государственной лесной охраны и общественной лесной стражи—зеленых дружин, патрулей, караулов, дозоров, общественных инспекторов из числа природолюбов — туристов, охотников и рыболовов.

Нужно со всей силой подчеркнуть великое значение общественности — этой могучей действенной силы — в бережении и охране родной природы. Все мы помним большой взволнованный разговор, который вели ученые, писатели, художники, врачи и многие другие ревнители Зеленого и Голубого друга в защиту бесценной жемчужины Восточной Сибири — озера Байкал. Веские пожелания и требования общественности не остались незамеченными. Советом Министров РСФСР было принято развернутое постановление об охране и использовании природных богатств в бассейне озера Байкал. Нынешней весной друзья лесов и рек одержали новую победу: специальным решением правительства был положен конец хищническому лову рыбы в истоке Ангары. Теперь настало время поднять в полную силу голос в защиту пригородных лесов, со всей решительностью ополчиться против врагов зеленого ожерелья городов, спасти места отдыха и прогулок трудящихся и взять в добрые и умные руки озеленение городских и поселковых улиц, площадей, пустырей и окраин.

Много ценных и важных предложений для осуществления этой задачи было высказано

на недавней областной конференции Общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов. Не будем касаться всех пожеланий и рекомендаций, остановимся лишь на одном, на наш взгляд, самом насущном вопросе.

Все мы страстно желаем, чтобы Иркутск и другие наши города утопали в зелени живописных парков, садов, газонов. И надо сказать, что сил и средств для этой цели тратится немало. С каждым годом все больше высаживается на улицах и площадях, в скверах и усадьбах разных деревьев, декоративных кустарников, цветов. Но вот беда: что-то не заметно, чтобы зеленые насаждения, скажем, в Иркутске, удивляли кого-либо буйным ростом, пышной кроной, густой тенью и своим зеленым шумом. Нет, молодые посадки чаще поражают своей худосочностью, медленной приживаемостью, слабой сопротивляемостью болезням. Нередко саженцы гибнут то от древесных вредителей, то от недостатка влаги, то от чуждой почвенной среды, то от плохого ухода или злых рук. Причин много, и самая главная та, что работам по озеленению недостает целенаправленного научно обоснованного плана, который бы определял направление и характер древонасаждения и методику посадок и ухода за растениями, вытекающую из науки о лесе. Пока этого нет. Зато процветает кустарщина и вкусовщина, наносящая большой вред озеленению.

Возьмем для примера Иркутск. Известно, что воздух в городе загрязнен. Концентрация в воздухе вредных примесей превышает допустимые нормы. Казалось бы, чего проще: продвигай смелее, шире на городские улицы и площади, во дворы и усадьбы те виды и породы деревьев, которые, обладая пышной лиственной и хвойной кроной, служат и естественным фильтром по очистке воздуха от пыли и вредных примесей и увлажняют его, и обогащают кислородом, и создают бодрящую прохладу. Таких деревьев и кустарников у нас много. Это душистый тополь, кедр, лиственница, сосна, пихта, черемуха, береза, карагана, даурская яблоня, боярышник, можжевельник, шиповник, болотный багульник и другие растения. Причем немалая часть из них, помимо щедрого насыщения воздуха кислородом, очищения его от углекислоты, дыма и вредных примесей, распыляет особые летучие вещества, способные убивать болезнетворные микробы и вирусы. Благодаря действию фитонцидов, например, воздух в сосняках и кедровниках славится свой стерильностью. А какой природной лабораторией здорового воздуха являются заросли можжевельника, красивейшего декоративного растения. Опыты свидетельствуют, что гектар можжевельника в течение суток вырабатывает около 30 килограммов летучих органических веществ — фитонцидов. Этого количества вполне достаточно для очистки от бактерий воздуха большого города. Этим же славится во время цветения черемуха, болотный багульник, некоторые цветы (пижма, северная гвоздика и другие растения).

Теперь пройдемся по улицам, скверам и паркам Иркутска. Много ли мы найдем указанных деревьев и кустарников? Единицы, в лучшем случае десятки, а требуются их тысячи и тысячи. Вот почему нужно всячески приветствовать инициативу и почин иркутской школы-интерната № 16, где директором тов. Алферов. Здесь на пустыре, на месте когда-то вырубленного леса, учащиеся разбили парк, основную массу деревьев которого составляют представители сибирской флоры: сосны, кедры, лиственницы, пихты, тополи, черемухи, березы, ивы, багульник, даурские яблони и другие виды и породы деревьев и кустарников, издавна ценимых и любимых в Сибири. Парк так и называется «Сибирский лес». Юные лесоводы и садоводы также озеленили ближайшие к школе улицы, тщательно охраняя посадки. Пример, достойный подражания! Примечательно, что школа-интернат не одинока. Со знанием дела занимаются озеленением и учащиеся иркутских школ № 18 и № 2, украшая окрестности деревьями и кустарниками, полезными для жизни и здоровья людей.

Хочется думать, что озеленение Иркутска и других наших городов получит самый широкий размах и нужное направление. Будут созданы лесные парки и сады, тенистые скверы и уличные аллеи, которые могли бы служить и защитной зоной, и «фабриками и цехами» чистого воздуха, местом отдыха, и давали бы представление о красоте сибирской флоры, являлись бы украшением жизни горожан. Нам нужно сблизить, сомкнуть кольцо естественных пригородных лесов с зелеными насаждениями, созданными в городах и населенных пунктах.

Мы строим коммунистическое общество. И оно не за горами: уже нынешнему поколению советских людей предстоит жить при коммунизме. И чем зримее расцвет этой прекрасной, счастливой поры, тем ближе должна быть к человеку природа, ощутимее ее красота.

Е. Островская

ИСААК ГОЛЬДБЕРГ

(К восьмидесятилетию со дня рождения)

Имя Исаака Григорьевича Гольдберга — одного из крупнейших зачинателей сибирской советской литературы — почти незнакомо молодому поколению.

А между тем имя это достойно того, чтобы его помнить.

И не только потому, что Ис. Гольдберг творчеством своим сделал очень многое для развития советской литературы. Не только потому, что он был активным деятелем по собиранию и объединению культурных сил Сибири, но и потому, что вся его жизнь— пример честного служения народу, краю своему. Познакомившись с произведениями Ис. Гольдберга, молодые люди многому у него научатся — жизнелюбию, гуманности и умению писать, писать хорошо, добротно и по-своему.

Существует афоризм:«Сколько людей — столько судеб». Судьба Ис. Гольдберга опровергла этот афоризм. Его судьба повторила судьбы тысяч людей, погибших в период неоправданных репрессий культа личности.

Именно это горькое обстоятельство послужило причиной тому, что имя писателя, отдавшего тридцать пять лет жизни литературе, создавшего много подлинно художественных произведений, было забыто почти на двадцать лет.

Литературная деятельность Ис. Гольдберга началась очень рано: первые его литературные зарисовки появились в газетах Восточной Сибири (легальных и нелегальных) в 1903 г. (Ис. Гольдберг родился в Иркутске в 1884 году в семье рабочего-слесаря и в течение всей жизни трудился в нашем городе).

В этом же, 1903 г., в Иркутских губернских ведомостях было опубликовано первое его произведение— «Кол Нидрэ» — повесть о судьбе еврейского мальчика, ставшего знаменитым скрипачом.

В 1906 г. в «Первом литературном сборнике сибиряков» опубликовано крупное произведение — «Исповедь», в 1914 г. — «Тунгусские рассказы», в которых Ис. Гольдберг показал себя большим знатоком жизни народов Севера, человеком большой души, посмевшим в условиях царского режима и политики национальной розни встать на защиту угнетенного народа и утвердить мысль, что эвенки, якуты, буряты, национальные меньшинства нашей страны — люди. Люди умные, способные к прекрасным порывам души, отличающиеся высокой моралью, до которой далеко представителям цивилизованного капиталистического мира.

Не удивительно поэтому, что М. Горький считал «Тунгусские рассказы» произведением «весьма умным» (из письма к Ис. Гольдбергу, июль, 1933 г.).

В 1916 г. в сборнике «Северные зори» вышли очерки «Темное». Это скорее повесть о дореволюционной жизни глухой сибирской деревни. «Темное, многоликое и многоголосое» — суеверия, предрассудки, вера в бога, утвердившиеся веками, — держат деревню мертвой хваткой, и нет у нее сил выйти из оцепенения.

Дореволюционная общественная жизнь Ис. Гольдберга не протекала гладко, по раз избранному пути.

Одно время, особенно после ссылки на Нижнюю Тунгуску, он принимал активное участие в деятельности партийной организации эсеров.

Порою на его рассказах лежит печать одностороннего восприятия жизни: пренебрегая выяснением причин социального зла, он сосредоточивает внимание на индивидуальной борьбе человека за существование, ограничивая при этом роль этой борьбы биологическим смыслом — «побеждает тот, кто сильнее».

«Разве не всегда так в тайге: медведь подстерегает сохатого, а тот со всех своих последних сил отбивается от врага. Волки кидаются на добычу, и она, спасая жизнь свою, идет на все. Два коршуна бьются из-за утиных птенцов, и тот, кто половчей да посильней, одолевает... Так всегда и в тайге. Русский сделал зло Бигалтару. Русский поднял ружье на него и хотел стрелять и убил бы его. Разве худое что сделал Бигалтар, защитив себя». («Закон тайги»).

Однако даже в ранних произведениях Ис. Гольдберг неизменно оставался гуманистом и приветствовал борьбу за новый мир.

Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война стали для писателя источником творческого подъема и вдохновения. Перекроившая мир, Великая Октябрьская социалистическая революция перекраивала и жизни и взгляды людей.

Борьба народов нашей Родины за свою свободу, независимость, борьба не на жизнь, а на смерть за становление нового, подлинно народного режима рождает

много новых тем, образов, мыслей. Они волнуют Ис. Гольдберга, и он весь отдается волнующим впечатлениям партизанских событий. Рождается сборник «Путь, не отмеченный на карте», в котором тема партизанской войны раскрывается через образы людей, оказавшихся в сложных, порою трагических обстоятельствах. Нередко таким человеком становится женщина, ищущая своего места в бурных революционных событиях.

Погибает разведчица Наташа («Цветы на снегу», 1930 г.) от руки другой женщины — партизанки Лукерьи, заподозрившей в Наташе врага. Своей женской честью Парунька («Бабья печаль», 1924 г.) жертвует во имя дела борьбы народа. Придя в партизанский отряд просто из страха перед белогвардейцами, простая сибирская женщина, человек глубокой мужественной души, превращается в лютого врага белогвардейцев и бьет их наравне с мужчинами.

Противоречие и сложность отношений в деревне первых лет советской власти трагически сказались на судьбе бывшей партизанки Ксении («Сладкая полынь», 1927 г.) Изуродованная белогвардейцами (они вырвали ей глаз, исполосовали тяжелыми рубцами половину лица), она уединяется в своем хозяйстве, отстраняется от общественных дел в деревне и, углубленная в свои переживания, связанные с невозможностью женского личного счастья, кончает жизнь самоубийством.

С образом другого героя этого рассказа Васютки — сына партизана Архипа, крестьянского парнишки, поехавшего учиться в город, связана важная мысль автора о всем светлом, что принесла революция народу.

Далеко в тайгу, где «в морозном небе полыхали Столбы», в чум к бедному тунгусу Юхарце врываются бури революции и гражданской войны. «В редкие выходы свои в деревню» он слышал, как говорили о «новой жизни, идущей на смену старой...

— Обожди, Юхарца, скоро хорошо будет! Шибко хорошо! Тебе и нам!»

Но очень скоро понял Юхарца, что хорошая жизнь сама не придет, надо бороться за нее.

Путь борьбы Юхарце указал русский его брат — Андрей, и повел его по этому пути. А пойти по пути борьбы трудно, ох, как трудно... После больших внутренних колебаний приходит Юхарца в отряд к партизанам, он «осветился широкой улыбкой... произнес твердо новое для него русское слово, в котором чувствовал он горячую нежность, твердую верность и неизменную дружбу:

— Товарисс!..»

Так Юхарца пошел по новым тропам. («Как Юхарца пошел по новым тропам», 1932 г.).

Воле героизму, высокой нравственности борцов революции в творчестве Ис. Гольдберга противостоят люди вражеского лагеря — офицеры разгромленной армии («Гроб подполковника Недочетова»), для которых не осталось в жизни ничего святого, чистого и честного.

Многопланово, романтично изображена история борьбы за советскую власть в повести «День разгорается» (1935).

В 30-е годы, когда основным содержанием советской литературы было отражение труда народа, строящего социализм, Ис. Гольдберг создает «Поэму о фарфоровой чашке». Со страниц этой лирической повести приходят к нам люди труда, люди чистой совести и высокой морали. Люди, руками которых создается все прекрасное на земле. «Солнце, бушуя за окном, ударило в блестящий гладкий край чашки, и она засверкала».

«Поэма о фарфоровой чашке» начинается именно здесь, на фабрике...», а «...закончат ее неутомимые руки, роющие жирную глину в сердце земли, мнущие эту глину, заставляющие ее принимать живые формы, творящие из нее вещи.

Ее закончит живой, радостный, всепобеждающий труд».

Значение этой повести совершенно точно определил М. Горький, который в письме к Е. С. Добину говорил: «О социалистическом заводе нужно писать не только по авторам, Вами названным, а еще взять «Соть» Леонова, «Борель» Петрова... «Поэму о фарфоровой чашке» Гольдберга» (М. Горький. Собр. соч. Гос. пед. худ. лит. М., 1955 г. т. 30, стр. 292).

Мастер острого сюжета, емкой фабулы, сочного, эмоционального языка, Ис. Гольдберг и в наши дни остается одним из самобытнейших советских писателей.

Он принес советской литературе свое видение Сибири. Это сказалось не только в характерах сибиряков, героев его произведений, но и, особенно, в изображении родной природы.

Мы видим «хребты и на хребтах зеленой, бурой щетинистой шкурой» тайгу, мы видим распадки, которые «лелеют студеную воду горных хребтовых ручьев». Видим, как «...по распадкам кудрявятся кустарники, гнутся ягодники, верески, тальники...» («Бабья печаль»).

И кажется — живые, зоркие глаза художника увидели это все, как видим мы, любящие Сибирь.

Ис. Гольдберг всегда верил в торжество правды. И эта правда — реабилитация безвинно осужденных людей — вернула нашей литературе имя и творчество Ис. Гольдберга.

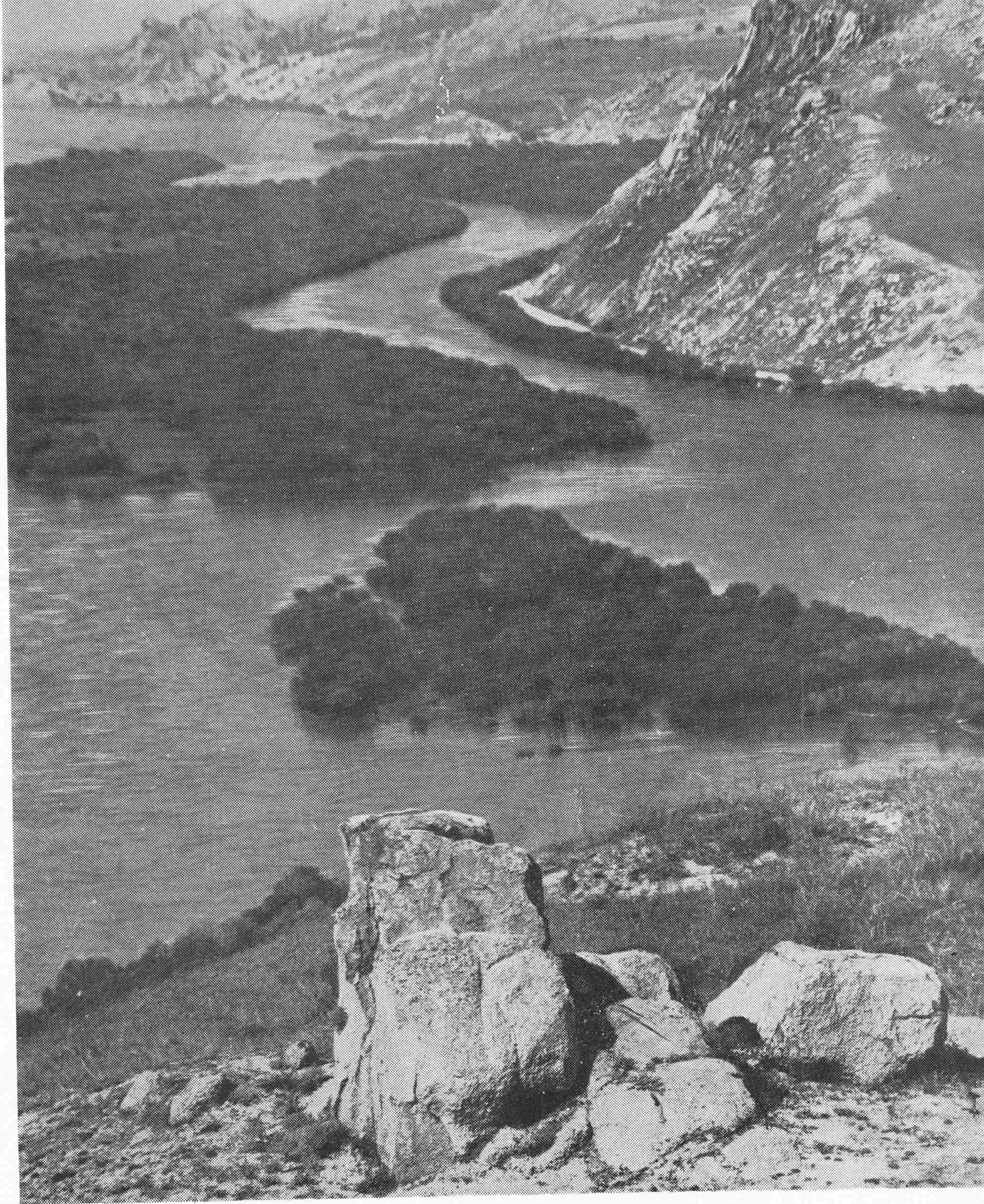
После двадцатилетнего перерыва в 1958 г. были изданы сборник рассказов «Путь, не отмеченный на карте» Иркутским книжным издательством и «Поэма о фарфоровой чашке» — в библиотеке сибирского романа (Новосибирским книжным издательством).

Ко дню 80-летия со дня рождения Исаака Гольдберга (9 ноября 1964 г.) Восточно-Сибирское книжное издательство выпустит в свет сборник рассказов «Сладкая полынь» (в него вошли лучшие рассказы из сборников «Закон тайги» и «Путь, не отмеченный на карте»). Этим до некоторой степени мы выполняем пожелание М. Горького «...почтить заслуженного писателя изданием его книг»... (из письма к Ципину, от 19 июля 1934 г.).

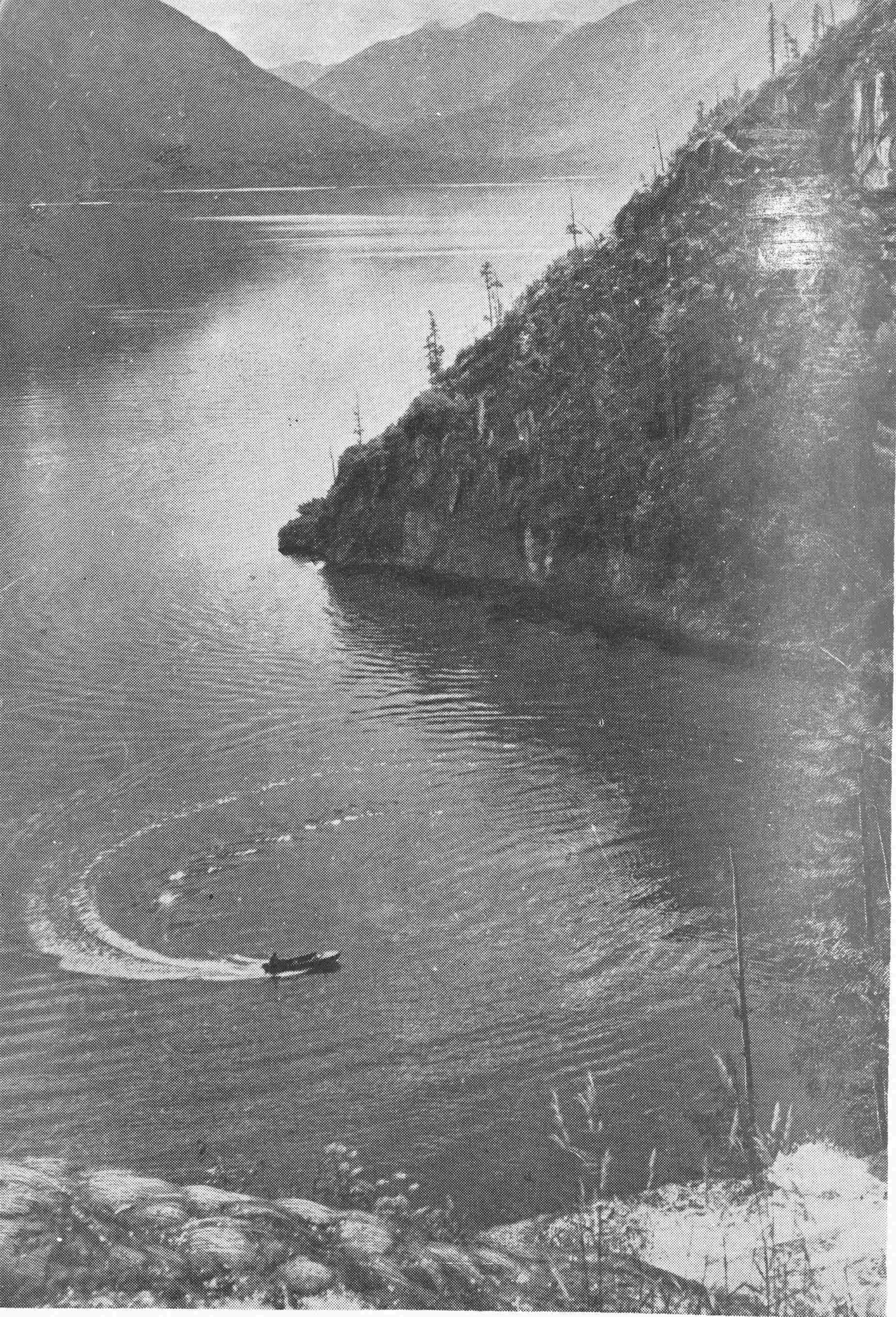


Навстречу утренней заре


ПОЛЯРНАЯ
АВИАЦИЯ



Селенга



Витим — Угрюм-река

Портрет

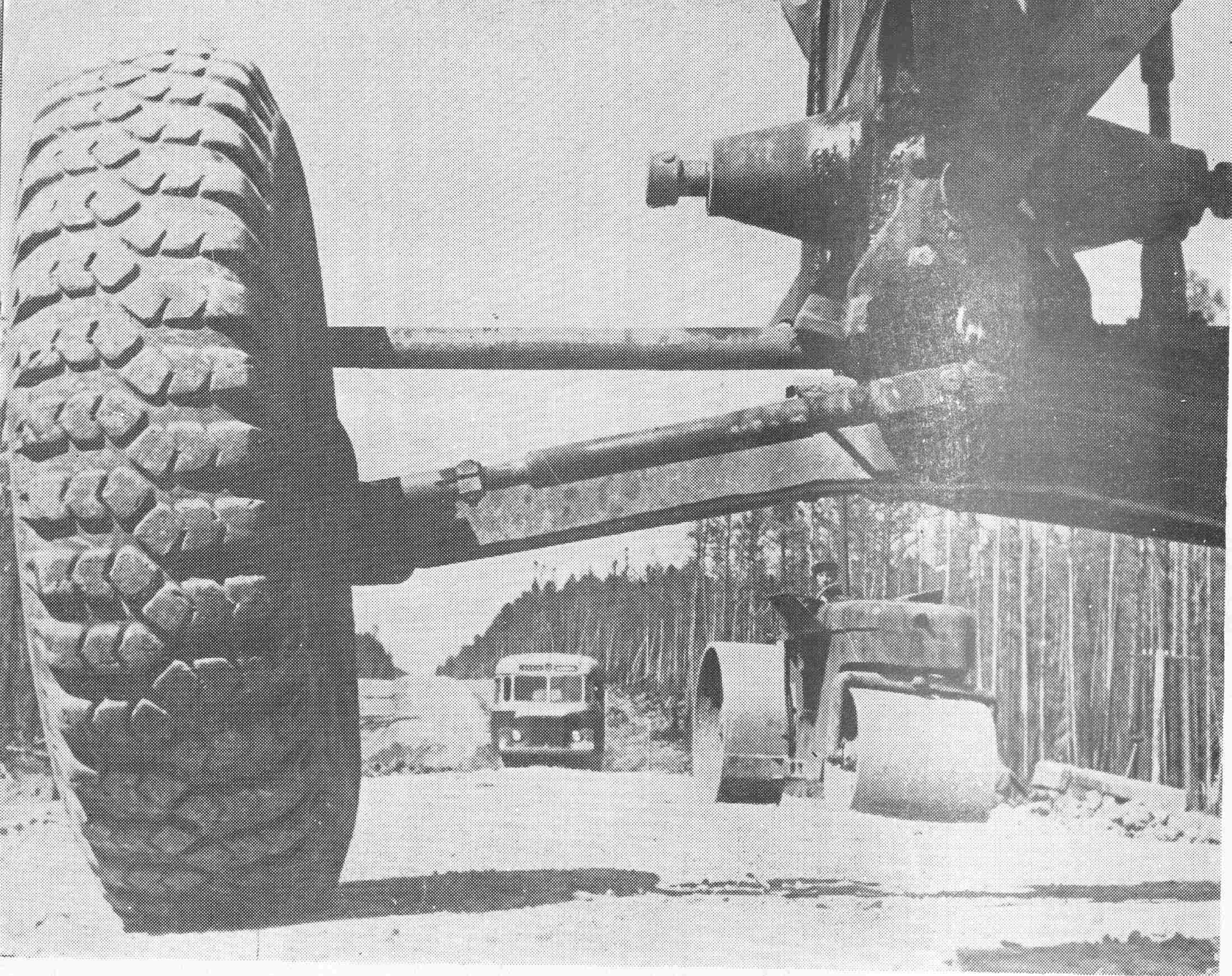




Мамакан



Якутские алмазы



День рождения дороги

В. Коркин

НА ФРОНТ УХОДИЛИ ПОЭТЫ

ИОСИФУ УТКИНУ

(К 20-летию со дня гибели)

Войной обоженное лето.
Тревога... Воздушный налет.
Но снова над бронзой поэта
Всесильное солнце встает.

Восход был неистово розов,
И в самый рассветный разгар
Я видел, как белую розу,
Принес мой собрат на бульвар.

По-женски красивый и стройный,
Один на один с тишиной,
Он вышел, и стало спокойней
От мирной походки такой.

В папахе густой шевелюры,
В любимом своем апаше,
Он не был ни грустным, ни хмурым,
Но что-то таил на душе.

Из чащи молчащей аллеи,
Пока де природа тиха,
Пришел на поклон к чародею,
К бессмертному магу стиха.

Певец моего поколенья,
Российских просторов и рек,
Он встал перед ним на колени,
Гражданский еще человек.

И вот миновала угроза,
Ушла предрассветная мгла,
И свежая, белая роза
К подножью поэта легла.

Сегодня, под новым рассветом,
Я солнцем его осенен...
На фронт уходили поэты
И к Пушкину шли на поклон.

Дневник Ангары

НОВЫЕ КНИГИ

«Происхождение географических названий Иркутской области»[1]. Сибирь, Иркутск, Зима, Сердце, Идеал, Постоянный, Лена, Мама, Саяны, Бодайбо, Кровавая, Погромная, Ангарск, Шелехов, Коршуниха, Марково, Братск, Веселая гора, Кутузова падь и т. д. Мы здесь перечислили лишь несколько названий географических местностей Иркутской области, многие из которых хорошо известны не только жителям нашей области, но и далеко за ее пределами.

Но, произнося или слыша эти привычные и знакомые нам слова, часто ли мы задумываемся над тем, как, когда и при каких обстоятельствах возникли эти то загадочные, то веселые, то трагические имена городов, сел и деревень, рек, гор, озер и долин нашего края! Кто дал им названия, с какими событиями прошлого и настоящего связаны они?

Ответы на все эти вопросы вы найдете, прочитав недавно изданную Восточно-Сибирским книжным издательством работу М. Н. Мельхеева «Происхождение географических названий Иркутской области». В небольшой по размерам, но интересной книге дается объяснение происхождения наиболее крупных и значительных географических объектов Иркутской и частично сопредельных с ней областей — Красноярского края, Якутии и Бурятии. Свыше 330 географических названий!

Написана она в научно-популярной форме на основе данных лингвистики, устных народных преданий, исторической и географической наук и рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся историей родного края.

Книга расскажет вам, например, о том, что название широко известной станции Зима ничего общего не имеет с зимой как явлением природы и происходит от бурятского слова «зэмэ», означающего поступок, провинность. Согласно легенде, некогда бурятский род, обитавший в этом районе, в чем-то и перед кем-то провинился и с тех пор местность называется «местом провинных» — «зэмэ», впоследствии переделанного русскими на созвучное их языку слово «зима».

Подобным же образом возникло и название «Мама» — притока р. Витима и поселка в Бодайбинском районе. Оно является видоизмененным эвенкийским словом «мома»: мо — дерево, ма — суффикс, обозначающий принадлежность к материалу и цвету. «Мома — значит деревянный, лесистый.

А как произошло название самого Бодайбо?

Оказывается, что старожилы объясняют это название, связывая его с мольбой старателей в прошлом: «Подай, бог!», «Бодай ее (землю, не приносящую фарта), бог!» или «Потайбо» — потаил бог золото.

Знаменитая ныне на всю страну Коршуниха, на базе рудных залежей которой создается крупнейшая металлургическая база на востоке, была основана в 50-е годы XVII в. русским рудознатцем Ш. Коршуновым, который производил здесь первые плавки железной руды.

Интересно происхождение названия Кутузовой пади в Куйтунском районе.

Когда-то это была безымянная падь. Но однажды охотники на привале обнаружили у себя газету с портретом великого русского полководца М. И. Кутузова, бережно расправили листок и прибили его к сосне. С тех пор падь и зовется Кутузовой.

Многие населенные пункты Иркутской области выросли и получили свое название за годы Советской власти.

Село Идеал в Аларском районе. Оно возникло в 1920 г. на пустыре как одна из первых коммун в Иркутской губернии, ставшая затем очагом коллективизации деревень Аларской долины.

На основании изучения топонимики Иркутской области автор приходит к весьма важному выводу о взаимоотношениях русского населения с коренными жителями края. Автор указывает, что русские не вытесняли отсюда бурят и эвенков, как в свое время трубили буржуазные националисты, а заселяли преимущественно порожние места или же селились среди бурят, не меняя названия местностей. Этим объясняется то, что все географические названия бурятского и эвенкийского происхождения сохранились вплоть до наших дней.

Следует отметить, что подобная книга издается в Сибири впервые, и поэтому вполне естественно, что в ней встречаются отдельные ошибки и неточности.

Так, к примеру, датой основания Балаганского острога в книге считается 1653 г. На самом деле он был построен в 1654 г.[1] Нижнеудинский острог был основан не в 1748 г., а в 1648 г. Неправильно датируется также и основание Верхнеудинского острога — 1689 г. Как показывают документы, его постройка относится к более раннему времени и, во всяком случае, не позднее 1680 г.[2] Название села Олонки автор выводит от собственного имени бурятского князца Ойланка (Иланка). Действительно, такой князец существовал в XVII в. в «Братской землице», но не в районе современного с. Олонки, а где-то близ Нижнеудинска.

---

[1] М. Н. Мельхеев. Происхождение географических названий Иркутской области. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1964.

[1] Сборник документов по истории Бурятии. 17 век. Вып. I. Улан-Удэ, 1960, стр. 200.

[2] Там же, стр. 247.

Так, в документе за 1647 г. русские казаки доносили в Томск, что «... и в Ойланковой землице мочно бить острожку на реке Уде»[1].

На наш взгляд, имена русских землепроходцев, основателей острогов, заимок, зимовьев и деревень следует писать не так, как писали в 17 — 18 вв. в нарочно унизительной форме, как, например, Мартышко Васильев, а правильно — Мартын Васильев. Ведь нельзя забывать, что книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, не всегда искушенных в подобных «тонкостях».

[1] Сборник документов по истории Бурятии. 17 век. Вып. I. Улан-Удэ, 1960, стр. 97.

Многие населенные пункты Иркутской области в прошлом были местом политической ссылки. Поэтому краткое указание на пребывание в них политических ссыльных придало бы книге еще больший интерес. В работе встречаются и другие отдельные неточности, однако не умаляющие ее общего значения.

Книга может служить прекрасным пособием для учителей истории, географии и языка, ее с большим вниманием прочитают школьники, студенты, рабочие, служащие и колхозники. Она вызовет несомненный интерес многочисленных туристов.

Н. КИМ.

САТИРА И ЮМОР

Марк Сергеев

О чем только теперь не пишут стихов! О шагающих экскаваторах и летающих тарелках, о поющих песках и визжащих пилах, о вечной мерзлоте и тропической жаре. И вот однажды я просто не знал: за какую науку бы мне приняться, чтобы о ней не было ни строки. Физика? Но там гремят раскаты боя с лириками, бой пустопорожний, но гремит! Геология? Но там всё остиховано. Биология? Но даже об искусственном человеке уже написаны стихи.

И тут мне попался под руки старый школьный учебник геометрии. Это было как открытие, как знаменитый крик „Эврика", который помнят даже те, кто ни слова не слышал об Архимеде.

Но будучи человеком обстоятельным, я сперва проверил: у Евгения Евтушенко есть? Нету. У Евгения Долматовского есть? Тоже нету. У Евгения Храмова есть? Отсутствует. И даже у самого философичного из Евгениев—у Евгения Винокурова эта тема никак не отражена, не воспета геометрия. И тогда я, обобщив опыт проникновения поэтов в науку, написал поэму, которая называется...

ГЕОМЕТРИЯ

(Пять криков души!)

1. ТРЕУГОЛЬНИК

О, треугольник! Три угла!
Остры они иль прямы,—
но в каждом остром — корень
зла
или начало драмы.
В тупом увидишь, сверх того,
и фабулу тугую:
«Одна любила одного,
а он — любил другую».
Прямой укажет глубину
всей каверзной фигуры:
«Жил-был один,
любил одну.
Ей третий строил куры».
О, три угла, как три коня,
в кино, в театре кружат...
И даже в жизни у меня.
А это много хуже!

2. ТОЧКА

Точка была
не точкой на плоскости.
Точка была
точкой на площади.
Киоском,
в котором
газ-вода.
Девчонкой,
в которой
моя беда.
Я выпил с сиропом
всего полглоточка.
В глаза этой точки
взглянул —
и точка.

3. ЛИНИЯ

Любовь — она не хвост
павлиний —
есть третий — значит, не зевай!
...Он не любил волнистых
линий,
ему — прямую подавай.
Весь год я воду пил упрямо,
боясь признаться,
полужив,
а он пришел
и с ходу прямо
на стойку сердце
положил.
И тотчас же полез ручищами
в ее сомнений полумрак...
Сияло сердце, как начищенный,
как полустершийся пятак.
...Ушли в прохладный вечер
ливневый,
не видя площадей и троп.
А сердце там,
среди двугривенных,
в тарелке,
где налип сироп.
Я их догнал,
я лужи синие
крушил,
как хрупкую эмаль!

Он трус. Его прямая линия
похожа стала на спираль!

4. КВАДРАТ

Любовь. То дождики, то пурги,
солнцеворот и звездопад!
О, где вы, где вы,
драматурги!—
В моей судьбе, в моей судьбине
не треугольник, а квадрат,
и — пустота посередине.
Мы жили только друг для
друга,
и счастлива была супруга,
внезапен поворот крутой:
она нашла четвертый угол,
а я остался за чертой.

Между четвертым и пятым криком

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!!!

5. ОКРУЖНОСТЬ

Слушай, сын, и слушай дочка,
что вам скажет ваш родитель:
«Никогда к торговым точкам
вы за счастьем не ходите».
Сын принял совет, как милость,
спрятав правду фразой ловкой.
Дочь сказала:
— Я влюбилась.
Он торгует газировкой.
И людей такой наружности
я доныне не встречала...

Круг замкнулся.
У окружности
нет конца
и нет начала.

ВСЁ!

Ким Айзенштейн

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Радиогазета «Крикодел».

* * *

Бокальный квартет.

* * *

Наилучший способ борьбы с пылью — не пылить.

* * *

Продавщица работала, не жалея себя — к каждому весу она прибавляла свой палец.

* * *

В детском саду висит табличка: «Не курить. Не сорить».

* * *

Если твои произведения не печатают, постарайся сначала прославиться другим способом. Ну, скажем, стань знаменитым шахтером или футболистом. Тогда обязательно напечатают. Если такой путь не подходит, постарайся написать хорошую вещь. Тогда тоже, возможно, напечатают. Но вероятности меньше.

* * *

Лепетесса.

* * *

Поэт-моринист. Его стихи вызывают симптомы морской болезни.

* * *

К млекопитающимся он, безусловно, не относился, ибо пил только «столичную».

* * *

Столичный паровоз отмахивался от периферии всеми шатунами.

* * *

Шпала была совсем старой. Даже костыли уже не могла держать.

* * *

Светофор считал себя самой яркой личностью на перегоне и кокетливо подмигивал всем проходящим мимо электричкам. Тем, кто останавливался возле него, светофор жаловался: «Ох, уже эти поезда! Так и смотри за ними. Ни на секунду глаз не закроешь!».

* * *

Контролер, как удав, гипнотизировал «зайца» взглядом.

Альманах Ангара № 4

Редактор С. Н. Маневич

Худож. редактор Е. Г. Касьянов

Техн. редактор А. В. Пономарева

Корректор Л. В. Глаголева

Сдано в набор 27 августа 1964 г. Подписано к печати 23 октября 1964 г. Объем 11,48 п. л. Уч.-изд л. 14,41. Бумага 84 X $108^{1}/_{16}$. Тираж 2000. Заказ № К-507. НЕ 00553. Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.

Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

Алла Конова. **«Осколки тяжести».** Фантастические повести. 1964 год. Восточно-Сибирское книжное издательство.

Полеты к звездам становятся реальностью. Но фантазия человека всегда стремится вперед, всегда зовет его в грядущее, которое видится прекрасным, в котором наука достигнет небывалых высот, торжество разума будет полным.

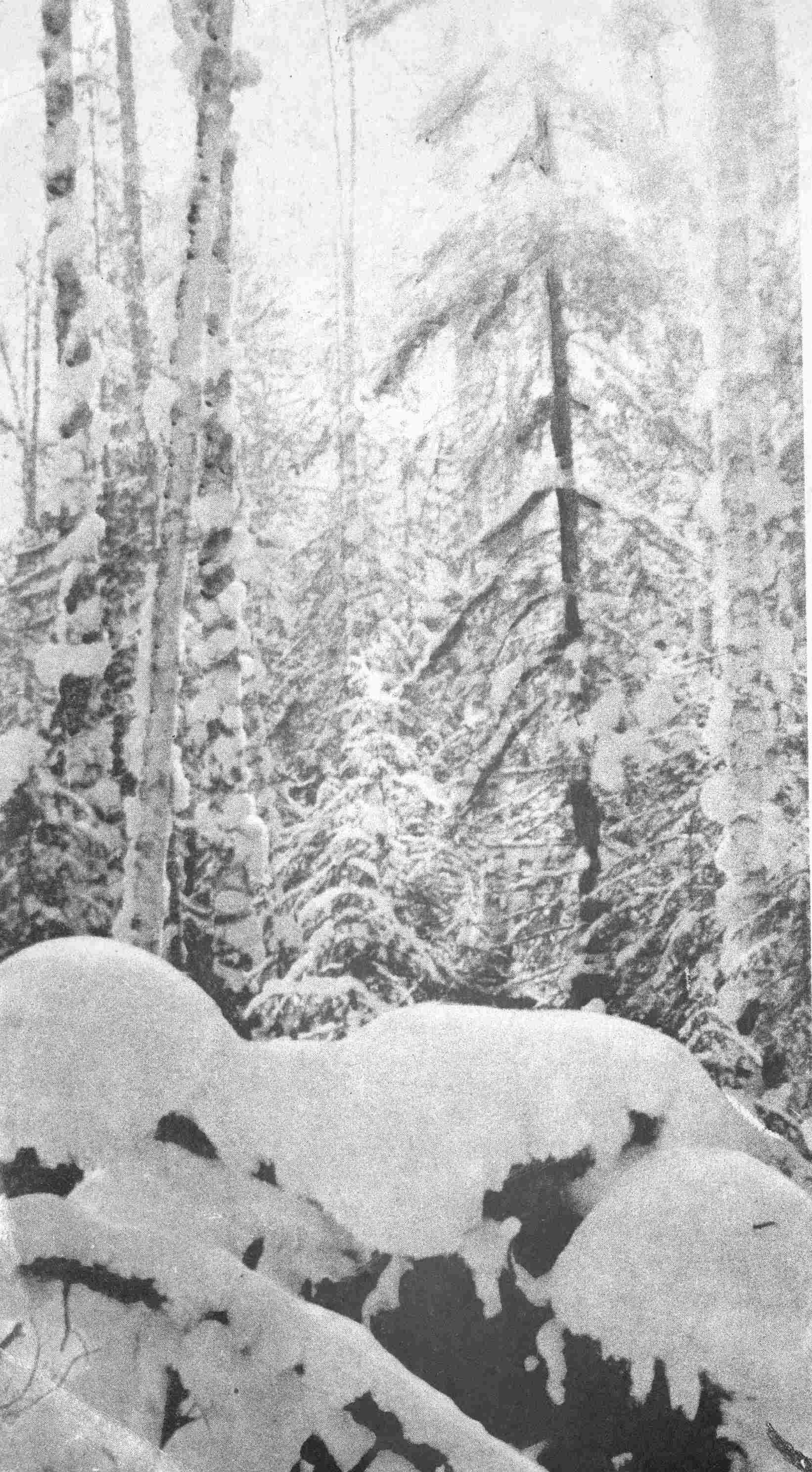
К далеким звездам летит корабль с Земли. Через шестьсот лет полета в космос планетоплан возвращается на Землю. Как изменилась она за это время, что видели люди на других планетах, что стало с командиром планетоплана, ученым Павлом Зарецким, вернувшимся на родину — об этом читатели узнают, прочитав научно-фантастическую повесть инженера-спектроскописта Аллы Коновой.

Книжка Коновой получила название второй повести «Осколки тяжести». Здесь автор в увлекательной форме рассказывает о природе еще малоизученных космических излучений, о мощном источнике получения небывалых энергий, о новых неожиданных формах проявления Разума на других планетах.

В поле антитяжести к Земле прилетел космический корабль от звезды Проксима Центавра. Вся поверхность планеты, где живут проксимианцы, покрыта водой, и живут там существа, приспособившиеся к той среде, наделенные большим разумом.

В повести показана еще одна планета Оринда, пережившая атомную войну. История, рассказанная об этой планете, звучит предупреждением землякам.

Интересна судьба героини этой повести Ирины Северцевой, попавшей на космический корабль проксимианцев.



60 коп.